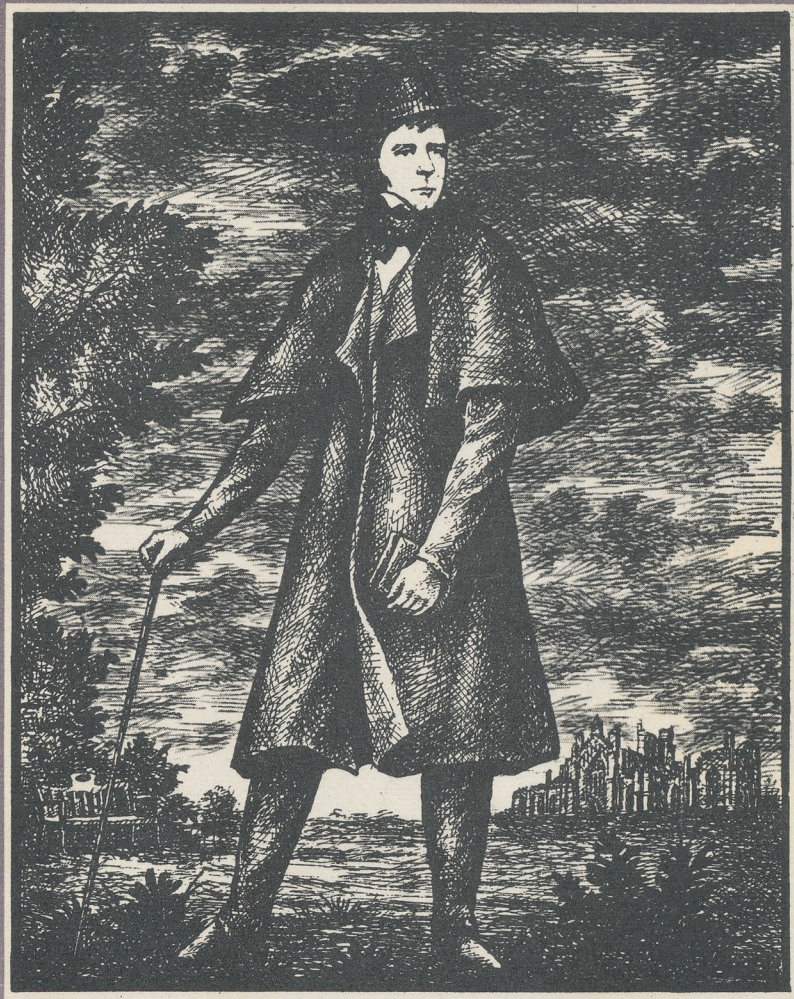


Х. ПИРСОН Вальтер Скотт



Х. ПИРСОН
Вальтер Скотт

Москва
«Книга»
1983



Х. ПИРСОН

Вальтер Скотт

*Перевод с английского, послесловие
и комментарии В. Скороденко*

Издание второе

МОСКВА
«КНИГА»
1983

84 (4Вл)
П33

Hesketh Pearson
Walter Scott:
His life and personality.
London, Methuen and C° Ltd, 1954.

Художник А. Г. Антонов

П $\frac{4703000000-011}{002(01)-83}$ 71-83

© «Молодая гвардия», 1978

© Оформление, с изменениями
Издательство «Книга», 1983



Глава 1

Овеяно славой

Питай мы к предкам Вальтера Скотта тот же интерес, что питал он сам, первые главы нашей книги мы посвятили бы его генеалогическому дереву. Но сложная личность нашего героя столь примечательна сама по себе, что выяснять, какие именно свойства наследовал он от того или иного лица, не так уж и важно: прародители Скотта могут претендовать на наше внимание лишь постольку, поскольку без них он бы никогда не появился на свет. Поэтому ограничимся тем, что сказал он сам, когда в 1820 году Геральдическая палата попросила его набросать щит герба: «Это было совсем нетрудно — ведь до Унии Королевств мои предки, подобно другим джентльменам Пограничного края, триста лет промышляли убийствами, кражами да разбоем; с воцарения Иакова и до революции подвизались в богохранимом парламентском войске, то есть лицемерили, распевали псалмы и т. п.; при последних Стюартах преследовали других и сами подвергались гонениям; охотились, пили кларет, учили мятежи и дуэли вплоть до времен моего отца и деда».

Самого его ожидала жизнь, не менее богатая событиями, однако куда более романтическая, чем выпала любому из его нелюбимых предков. На страницах своего «Дневника» Скотт беглым взором окинул 54 прожитых года: «Что за жизнь у меня была! — Предоставленный самому себе недоучка, до которого почти никому не было дела, я забивал себе голову невообразимой чепухой, да и в обществе меня долгое время мало кто принимал всерьез, — но я пробился и доказал всем, кто видел во мне только пустого мечтателя, на что я способен. Два года проходил с разбитым сердцем — сердце-то недурно склеилось, а вот трещина останется до последнего часа. Несколько раз менял богатство на бедность, был на грани банкротства, однако же всякий раз изыскивал новые и, казалось бы, неиссякаемые источники дохода. Ныне обманут в самых честолюбивых своих помыслах, сломлен едва ли не окончательно».

Ему было безразлично, что в его жилах течет — как ни неуместно звучит в данном случае эта метафора — «голубая кровь»: он происходил из рода Баклю, состоял в родстве с Мюрреями, Резерфордами, Суинтонами и Хейлибертонами, видными семействами Пограничного края. Среди его предков были Скотты из Хардена и Рэйберна; жившего в его время Скотта из Хардена он неизменно признавал главой своего клана. Кровь Мак-Дугаллов и Кемпбеллов давала ему право считать себя кельтом, но он гордился тем, что ведет род от вождей пограничных кланов — грабителей, головорезов, фарисеев и выпивох, чьи подвиги обеспечили ему право на фамильный герб.

Его отец, Вальтер Скотт, сын фермера, был адвокатом весьма примечательной разновидности — столь твердых принципов и такой кристальной честности, что многие клиенты зарабатывали на нем больше, чем ухитрялся заработать он сам, защищая их интересы. Рвение, с каким он вел их дела, обходилось ему в приличные суммы, которые он занимал, но забывал возвращать. Простота и прямота мешали ему содержать в порядке деловые бумаги. Чтобы уладить после его смерти все расчеты, понадобилось пятнадцать лет, причем многие долги так и остались невыплаченными. К несчастью для собственных детей, он был ревностным кальвинистом, и каждый воскресный день превращался для них в епитимью. Манеры его отличались чопорностью, а привычки умеренностью; для развлечения он читал отцов церкви и ходил на похороны. Представительная внешность делала его желанным гостем на погребальных церемониях, которыми он, по всей видимости, от души наслаждался, ибо весь личный состав дальних родственников находился у него на строгом учете с одной-единственной целью — не упустить удовольствия проводить их в последний путь; проводы эти иногда осуществлялись под его персональным руководством, а то и за его счет. Его жена Анна, дочь доктора Джона Резерфорда, профессора медицины Эдинбургского университета, была маленькой, скромной, безыскусной и общительной женщиной. Она любила баллады, всяческие истории и родословные. Сын Вальтер, которого и в дни его славы она продолжала называть «Вальтер, ягненок мой», был ей предан. «Добрее матери невозможно представить, и если я

чего-то достиг в этом мире, то главным образом потому, что она с самого начала меня ободряла и следила за моими занятиями», — в таких словах вылилось сыновнее чувство к умирающей матери.

Справив свадьбу в 1758 году, фермерский сын и дочь профессора поселились в узком грязном переулке под названием Якорный конец, а затем перебрались в столь же непрезентабельный Школьный проезд, что рядом со старым зданием Эдинбургского колледжа. Адвокат прилично зарабатывал, а жена одного за другим произвела на свет десять младенцев, из которых шестеро умерли в нежном возрасте. Это даже по тем временам считалось выше среднего уровня смертности, и в 1773—1774 годах переживший утрату отец, выбрав на площади Георга, рядом с Луговой аллеей, более полезный для здоровья участок, построил дом, где у него появились еще двое детей. Наш Вальтер, девятый по счету, родился в Школьном проезде 15 августа 1771 года. По странной иронии судьбы в этот же день, хотя двумя годами раньше, на Корсике родился мальчик, нареченный Наполеоном Бонапартом, которому предстояло оставить столь же глубокий, но менее стойкий след в истории, как нашему шотландскому младенцу — в литературе. Однако несколько лет казалось, что Вальтер не жилец на этом свете: раннее его детство — это бесконечные несчастные случаи, болезни, а также лекарства и процедуры куда более смертоносные, чем преследовавшие его недуги.

У первой его няньки был туберкулез, о чем та умолчала. Мальчик не преминул бы от нее заразиться, однако няньку своевременно разоблачили и рассчитали. В полтора года он уже проявил самостоятельность: как-то ночью удрал от ее преемницы. Его с трудом изловили и, несмотря на шумный протест, водворили в кроватку. Он капризничал — у него резались коренные зубки — и на другое утро проснулся с высокой температурой. Три дня его продержали в постели и только тогда обнаружили, что он не может пошевелить правой ногой. Пригласили врачей и начали лечение по рецептам того времени: ставили мушки и т. п. Однако, вняв совету деда со стороны матери, доктора Резерфорда, отправили мальчика к другому деду, Роберту Скотту, на ферму в Сэндиноу, под Келсо, в надежде, что от чистого воздуха ему будет больше пользы, чем от патентованных снадобий.

Его вверили заботам няньки — женщины во всех отношениях подходящей, но свихнувшейся на почве несчастной любви. Можно предполагать, что она сама ожидала ребенка; и уж конечно, она рвалась к любовнику в Эдинбург и видела в мальчике ненавистную причину постылой ссылки в деревню. Решив, что устранение питомца возвратит ей свободу, она в один прекрасный день отнесла Уотти* на болота, уложила его на кучу вереска, извлекла ножницы, и только нежная улыбка младенца помешала ей осуществить жуткий замысел — перерезать ему горло. Вернувшись на ферму, она повинилась экономке и мгновенно обрела вожделенную свободу куда более легкой ценой, нежели собиралась.

Обитатели фермы не только уповали на целительное воз-

* Уотти — уменьшительная форма имени Вальтер.

действие деревенского воздуха. Кто-то предложил, чтобы всякий раз, как в Сэндиноу будут резать овцу, голенького Уотти заворачивали в жаркую и еще дымящуюся овечью шкуру. Мерзкий запах и ощущение от прикосновения к телу чего-то липкого стали его первым воспоминанием, «первым осознанным восприятием бытия». Даже незадолго до смерти он все еще помнил, как на третьем году жизни, упакованный в шкуру, лежит на полу и дедушка чем может соблазняет его, чтобы заставить поползть, а другой родственник преклонных лет стоит на коленях и тянет по ковру за цепочку часы — в надежде, что мальчик за ними потянется. Его болезнь оказалась детским параличом, который наградила Вальтера атрофией мышц правой ноги и пожизненной хромотой. Но чистый воздух Сэндиноу, а также доброта и терпение д-да, помноженные на отречение мальчика к собственной немощи, не замедлили сказаться самым благотворным образом. В хорошую погоду его выносили из дому и оставляли под надзором пастуха, пасшего стадо в ближних холмах. Там Уотти часами валялся и катался по траве среди овец, и семейство вскоре привыкло к тому, что его подолгу не видно на ферме; привыкло так основательно, что однажды его хватились в самую грозу. Когда тетюшка Джэнет Скотт примчалась спасать ребенка, она увидела, что он лежит на спине лицом к небу, при каждой вспышке молнии от восторга хлопает в ладошки и кричит: «Еще! Еще!»

Постепенно он снова научился владеть своим телом — сперва стоять, а после ходить и бегать. У мальчика обнаружился живой ум. Тетя Джэнет читала ему старинную балладу, и он запомнил из нее большие отрывки, чем доставил местному священнику немало неприятных минут: Уотти постоянно вмешивался в его беседы, принимаясь читать наизусть с неистовым рвением. Священник не выдержал: «Разговаривать при этом дитяти — все равно что пытаться перекричать гром пушек». Бабушка рассказывала ему о делах смешных и серьезных, что случались в Пограничном крае, и зимними вечерами он слушал песни и истории про деяния своих предков и других удалцов, занимавшихся тем же, чем промышляли Робин Гуд и его веселые молодцы. Он проявил пылкий интерес к Войне за независимость в Америке — она началась, когда ему исполнилось три года, и все ждал, что вот-вот услышит о разгроме Вашингтона от дяди, капитана Роберта Скотта, который приносил им еженедельные сводки о ходе военных действий. Таким-то манером — дедушка в кресле по одну сторону камина, бабушка с прялкой по другую, а в перерывах между рассказыванием историй тетя Джэнет читает им вслух — зима кончалась так же незаметно, как лето, и мальчик копил знания, набираясь сил. От рождения он был наделен феноменальной памятью (помнил себя во младенчестве) и чувством юмора, которое проявилось у него в том возрасте, когда другие дети только начинают понимать, как что-то может быть смешным и потешным. Например, уже зрелым человеком он вспоминал одну из дедушкиных историй, едва ли подобающих для детского слуха, — про солдата, раненного в битве у Престонпанса. Неприятельское ядро вогнало тому в желудок кусок алого сукна. Под-

лечившись после ранения, солдат как-то справлял большую нужду и выдал этот самый кусок, причем свидетелем одного примечательного опорожнения был один из шотландцев, его товарищей по плену, обобранный до того чуть ли не догола. Несчастный принялся умолять солдата сделать ему одолжение — потужиться еще и, коли получится, выдать материи на пару штанов.

Общее улучшение здоровья мальчика позволяло надеяться, что со временем удастся вылечить и его хромоту. Уотти повезли в Келсо на электрические процедуры. Во время сеансов он читал наизусть все ту же балладу. Доктор заметил, что он чуть-чуть шепелявит, и поправил дело одним взмахом ланцета. Врач также посоветовал отправить мальчика в Бат полечить ногу на тамошних водах, что и было исполнено преданной тетушкой Джэнет, когда Уотти пошел четвертый год. Они отбыли морем и плыли двенадцать суток. Попутчики нашли, что Уотти, доставивший им много веселых минут, — милый и занятый парнишка. Как-то раз они подговорили его выстрелить в одного из пассажиров из игрушечного ружья. Он выстрелил, и, к его ужасу, тот рухнул на палубу, сраженный по всем признакам напавал. Малыш разревелся, и «мертвец» тут же воскрес.

По пути сделали короткую остановку в Лондоне, и мальчика повели посмотреть Тауэр, Вестминстерское аббатство и другие полезные с общеобразовательной точки зрения достопримечательности. Все это настолько его заворожило, что, осмотрев те же памятники через двадцать пять лет, он подивился, как точно тогда все запомнил. В Бате они прожили год, меньшую часть которого заняли уроки родной речи в подготовительной школе, а большую — питье каких-то непонятных вод и купания в них же. Однако гвоздем сезона был приезд дядюшки, капитана Роберта Скотта, который взял его с собой в театр на «Как вам это понравится» Шекспира. Пережитое в тот вечер осталось со Скоттом навсегда, и до конца жизни он вспоминал сказочное мгновение, когда взвизгивший занавес открыл ему новый мир — призрачный и вместе с тем более реальный, чем настоящий, тот, который он знал; вспоминал и горчайшую минуту, когда занавес опустился в последний раз, вернув его к не столь уж захватывающей действительности. Он пришел в ужас от ссоры между Орландо и Оливером и громко выразил свое возмущение: «Они ведь друг другу братья!» Вскоре ему предстояло усвоить, что в детстве и родные братья порой ладят друг с другом не лучше чрезмерно драчливых зверушек.

Зиму 1777 года он провел с семьей в Эдинбурге, на площади Георга, где различие между ним и его собственными братьями обнаружилось довольно быстро. Старший, служивший тогда во флоте, куражился над малышом: сперва повергал того в изумление красочными небылицами о чудесных спасениях и ледяных душах авантюрах, а после задавал ему немилосердную трепку. Второй брат, судя по всему, был парнем грубым. Единственная сестра отличалась своим «особенным» нравом: вероятно, она огрызалась на Уотти и осаживала его не реже, чем братья преследовали и высмеивали. И только младшего брата Тома, добродушного и жизнерадостного мальчугана, он по-настоящему

любил. Ко второму младшему братцу, ленивому зануде Дэниелу, Уотти не мог относиться серьезно. В их компании он чувствовал себя одиноко, главным образом из-за своей хромоты. У мальчишек, как у зверей, не принято жалеть калек; с Уотти же, чье умственное превосходство к этому времени стало очевидным, обходились вдвойне жестоко. Он горько переживал свое телесное убожество и, видимо, поэтому так же мало был расположен сближаться с братьями, как те — принимать его в свои игры. На склоне лет он привел лишь один пример своих тогдашних мучений, а так как себя он жалеть не привык, то легко представить, сколько подобных минут выпало ему в детстве: «Он еще цел, тот перелаз, где сердитая нянька, пеняя на мою беспомощность и с грехом пополам подхватив меня на руки, грубо перетащила меня через кремнистые ступеньки, которые мои братья одолели с веселым криком во мгновение ока. Не забуду душившей меня обиды и смешанного чувства, в котором слились гнев на собственное убожество и зависть, с какой я следил за гибкими раскованными движениями моих ладно скроенных братцев».

Мы можем, однако, сказать с уверенностью, что за дурное обращение он платил той же монетой. Уже пяти лет он отличался вспыльчивостью, что подтверждается реакцией мальчика на жестокость, проявленную его родичем Скоттом из Рэйберна. Когда Уотти гостил в старом поместье Рэйбернов Лессадене, там устроили облаву на скворцов: от птиц никому не стало житья, и уничтожить их было просто необходимо. Слуга подобрал одного скворчонка и отнес его «хроменькому малышу». Приручение шло успешно, но тут птенец попался на глаза лэрду*, и тот свернул ему шею. Мальчик набросился на него дикой кошкой и так крепко вцепился в глотку, что его с трудом удалось оттащить. С тех пор родственники недолюбливали друг друга.

Умственное развитие Уотти было засвидетельствовано гостьей, посетившей дом на площади Георга. При ней он с отменным выражением читал матери какую-то балладу, по ходу чтения обсуждая содержание. Наконец он остановился, сказав: «Она очень грустная, давайте я почитаю вам другую, повеселее». Гостья предпочла разговор и выяснила, что он поглощен «Потерянным раем» Мильтона. «Адама только-только сотворили, откуда же он знал про все на свете? Это поэт придумал», — заявил он, но не стал спорить, когда ему объяснили, что Творец создал Адама совершенным. Ложась спать, он сказал тете Джэнет, что гостья ему понравилась, и отозвался о ней: «виртуоз вроде меня». На вопрос, что значит слово «виртуоз», он ответил: «Это кто хочет и будет знать все на свете». Другим его увлечением в то время был Гомер в переводе Попа**»; гомеровский эпос и поэма Мильтона показывают, что для своих шести лет он далеко продвинулся в чтении. Взрослые тем не менее считали, что до подлинного наслаждения игрой великих актеров он еще не дорос. Однажды вечером родные передевались к театру, и кто-то пред-

* Лэрд — в Шотландии крупный землевладелец.

**Комментарий к ряду исторических и литературных имен см. в конце книги.

ложил взять его с собой, на что мать возразила: «Незачем, Уотти не оценит игры несравненного Гаррика». Он услышал ее слова и был глубоко уязвлен подобной несправедливостью.

К большой радости Уотти, его снова отвезли пожить в Сэндиноу. Здесь его страсть к песням и преданиям Пограничного края, к шотландской истории и ее героям нашла благодатную почву. С башни Смальгольмского замка (от фермы до него было с полкилометра) открывался вид на поля бесчисленных сражений и стычек; земля, которой предстояло вдохновить его на столько трудов и свершений, лежала перед ним как на ладони. Долины Тивиота и Твида, усадьбы харденских и рэйбернских Скоттов, аббатства Драйбург и Мелроз, Эльдонские холмы, Ламмермур, горы по берегам Галы, Этрика и Ярроу, дальний Чевиот* — и каждая гора хранила свое предание, каждая речка — песню, а каждый замок — тайну. Пройдут годы, и увечный мальчик, что зачарованно озирается, забравшись на скалы, или, погруженный в себя, слушает вой ветра в каминной трубе, вернет Сэндиноу свой долг, представив Шотландию на страницах своих книг романтическим краем.

Хотя батские воды и не принесли ощутимой пользы, надо было попробовать, не помогут ли воды Ферт-оф-Форта, и на седьмом году жизни он несколько недель провел с тетей Джэнет в Престонпансе, где каждый день купался в море. На его дальнейшую судьбу эти недели оказали почти такое же сильное воздействие, как и Сэндиноу; для нас же они особенно важны. Тетя сняла домик, откуда он уходил в дюны играть — раскладывал по траве собранные на берегу раковины и пускал в лужах кораблики. Для смешных розыгрышей и забав у него нашлась и подружка — миловидная веселая девочка, которую он полюбил, как любят друг друга дети. «Я был ребенком, — писал он, через полвека побывав в тех же местах, — и, понятно, не мог питать страсти, кои якобы терзали в этом возрасте Байрона, однако память о милой подружке моих детских лет для меня — все равно что память об утренних грезах».

Безоблачную жизнь омрачали воскресные дни, когда приходилось сидеть в церкви и зевать под унылые проповеди зануды священника. А так он либо играл со своей хорошенькой подружкой, либо с удовольствием проводил время в компании двух взрослых друзей. Одним был отставной лейтенант, живший на половину пенсионера и в одиночестве предававший шагистике на «плацу» — так он окрестил небольшую площадку рядом с одной из луж. Все звали его капитаном Дальфетти, и беседы он вел почти исключительно о собственных воинских подвигах в германских войнах. Своими разговорами он давно замучил всех соседей и чувствовал, что его популярность сходит на нет. Поэтому он до смерти обрадовался, заполучив свежего да еще такого благодарного слушателя, а разница в возрасте его не смущала. Их задушевные беседы могли бы продолжаться до бесконечности, но Уотти, не подумавши, ляпнул, что генерал Бергойн способен и проиграть американскую кампанию, — это после того, как капитан

* Чевиот — холмистый край на границе Шотландии и Англии.

яснее ясного доказал, что экспедиция Бергойна завершится триумфальной победой. Известие о пленении генерала под Саратогой привело к взаимному охлаждению, однако малыш Уотти успел достаточно послушаться и налюбоваться, чтобы имя и многие характерные качества капитана Дальгетти всплыли потом в прозе писателя Скотта.

Другим приятелем мальчика в Престонпансе стал давний друг отца Джордж Констебл, человек, наделенный желчным юмором и даром великолепного рассказчика. У него было поместье неподалеку от Данди, там он обычно и жил, но в это время он «питал чувства» к тетушке Джэнет, старался быть к ней поближе и всячески угождать предмету своего обожания, отчего мальчику вышла прямая польза. Констебл познакомил юнца с Шекспиром, рассказав о Фальстафе, Хотспере и других персонажах, и приобщил его к тому, что со временем сделалось занятием самого Скотта, — к созданию разнообразных драматических характеров. «В детстве — да, пожалуй, и в юности тоже — я развлекался, придумывая разных людей и сцены, где они себя по-разному показывают. Я и по сей день помню, сколь безошибочно работало мое детское воображение». Эти строки и то, о чем мы сейчас повествуем, разделяют полвека. Несомненно, однако, что Шекспир в большей степени, нежели любой другой автор, «проявил» заложенное в Скотте от природы влечение и пробудил к жизни самые стойкие и отличительные стороны его творческого гения. Впоследствии он часто встречался с Констеблом за столом у отца и отблагодарил его за первое знакомство с Шекспиром тем, что обессмертил в образе Монкбарнса (роман «Антикварий»).

В Сэндиноу Уотти вернулся окрепшим, и дядя подарил ему маленького шетлендского пони, на котором тот носился по склонам Смальгольма к вящему ужасу тети Джэнет. Пони заходил в дом и ел прямо из рук мальчика. Непривычная прелесть прогулок верхом, литературные открытия, обретенное здоровье и пробудившееся воображение — все это делало жизнь прекрасной, и дни мелькали сплошной чередой.

Но в 1778 году безмятежным временам пришел конец: семи лет он познал невзгоды школы, бессердечие мальчишек и смертную скуку воскресных дней в кальвинистской семье.



Глава 2

Оттенки тюремной жизни

По счастью, юный Вальтер от природы был наделен силой воли. Мальчик проявил ее, когда ему не было и шести лет, — отказался слушать страшную сказку, чего очень хотелось. Но он знал, что долго не заснет от страха, и поэтому натянул одеяло на уши и приказал себе спать. Став взрослым, он точно так же отказывался читать злые рецензии на свои книги и безмятежно засыпал под критическую канонаду. Телесные немощи уравновешивались в нем силой духа. Балованный внучек у бабушки с дедушкой, он с трудом привыкал к новому своему положению — хилыка в живом энергичном семействе, где никто, за исключением матери, и не думал считаться с его странностями. Одна мать принимала его увлечения близко к сердцу, поощряла его страсть к поэзии и стремилась привить ему вкус к более мирным страницам, нежели те, на которых живописались войны и прочие ужасы. Он, однако, до конца жизни продолжал питать к этим страницам вполне понятную слабость: скованный телом, мальчик приучился жить в романтическом мире сказаний

и песен Пограничного края. Поначалу он спал в мамином будуаре, где ему попались на глаза несколько томиков Шекспира. «Никогда не забыть, с каким упоением я, скорчившись в одной ночной рубашке перед маминым камином, читал их, пока шум отодвигаемых стульев не возвещал, что семья отужинала и мне пора возвращаться в постель, где, полагали домашние, я обретался в целости и сохранности еще с девяти часов».

После должной подготовки с репетиторами его отдали в Эдинбургскую среднюю школу; особыми успехами он там не отличался. «Кто хоть чего-то добился в жизни, — записал он однажды, — собственным образованием в первую голову обязан самому себе». Если мальчик не такой, как все остальные, школа для него — понапрасну загубленные годы; разве что общение с другими ребятами отучит его от застенчивости. Как для всякого незаурядного паренька, бездумная рутина уроков была для него равно бессмысленной и постылой. Он ненавидел то, что приходилось исполнять по принуждению и не раздумывая. Если предмет его не интересовал, он не мог на нем сосредоточиться; а дар заинтересовать мальчика предметом, к которому тот питает равнодушие или даже неприязнь, отпущен очень немногим педагогам. Впрочем, одно он от своих наставников все же усвоил, а именно: «Нет такого школьного учителя, в котором бы не таился непочатый кладезь дремучей глупости». Впоследствии он было решил, что нашел исключение из этого правила, однако быстро убедился в своей ошибке и сразу покаялся: «Да простит меня Бог за крамольную мысль, будто школьный учитель способен быть вполне здравомыслящим».

Вспоминая прожитое, он как-то задумался, бывал ли он настоящему несчастен несколько дней или даже недель кряду, и — пришел к заключению, что единственный долгий период жалкого прозябания во всей его жизни — школьные годы. Школу он ненавидел всеми фибрами души, потому что чувствовал в ней себя узником. И все же беспроблемные часы занятий, когда ему вдалбливали бесполезные знания, порой оживлялись вспышками интереса. Так, в их классе был мальчик, который успевал немного лучше Вальтера, и тому — непонятно зачем — захотелось во что бы то ни стало его обставить. Он старался как мог, но ничего не получалось. «Наконец я заметил, что он, когда отвечает, всегда крутит предпоследнюю пуговицу на жилете. Тогда я понял, что добыть своего, устранив эту пуговицу, каковое злодейство и было учинено посредством перочинного ножичка. Мне не терпелось убедиться в успехе своего замысла; увы, я преуспел даже слишком. Когда мальчика вызвали, он сразу потянулся к пуговице — и не нашел ее. В замешательстве он покосился на жилетку: глаза сказали ему то же, что и пальцы. От изумления он потерял дар речи, и я занял его место, с которого ему уже не удалось меня вытеснить. Боюсь, он так и не заподозрил истинного виновника несчастья». Скотт был человеком совестливым; впоследствии он не раз и с готовностью возмещал причиненный им ущерб, но открыто покаяться в своей вине было бы для него непосильным унижением. «Знакомства с ним я не возобновлял, но часто сталкивался — он подвизался на какой-то мелкой должности при одном

из эдинбургских судов. Бедняга! Он рано пристрастился к бутылке. Боюсь, его уже нет в живых». Разумеется, между пьянством и пуговицей связь слишком уж отдаленная, чтобы из этого эпизода можно было извлечь мораль.

Вальтеру не удалось приятно удивить своих наставников, но у ребят он быстро завоевал популярность — развлекал их рассказами, когда погода не давала играть на воздухе. Став старше и сильнее, он превзошел многих своих товарищей в искусстве альпинизма и тем самым превозмог собственное увечье. Со временем он прославился как один из отважнейших скалолазов в школе. Он облезил Девятикаменку — отвесный обрыв, над которым высится Эдинбургский замок, и Кошачью Шею в Солсберийских холмах. Для него не существовало ничего недоступного или слишком опасного; над безднами и провалами он чувствовал себя уверенней обезьяны. Принимал он участие и в кровопролитных баталиях между мальчишками враждующих улиц, когда в ход пускались булыжники, палки и даже ножи, а бойцы нередко получали серьезные травмы. Он устраивал фейерверки на площади Георга, пока несчастный случай не положил этой забаве конец, — ракета сорвалась и пошла по земле, а в толпе кто обжегся, а кто так перепугался, что с тех пор Вальтер навеки потерял благодарных зрителей. Выступая в качестве рассказчика, альпиниста, вояки и пиротехника, он понемногу снискал расположение сверстников, которые восхищались его умом, ловкостью, мужеством и безрассудством и за всем этим были готовы не замечать его увечья.

Тем временем он неплохо успевал по латыни: ему нравился язык, не ученье. Отец, взиравший на систему преподавания в Эдинбургской средней с разумным недоверием, взял в семью репетитора, весьма серьезного и ревностного молодого пресвитерианина по имени Джеймс Митчелл, рукоположенного в священнослужители. Под его присмотром юный Скотт изучал арифметику и письмо, французский и латынь, историю и богословие; с ним он вел бесконечные, хотя и дружеские, словопрения по вопросу о ковенантах*. Мальчик защищал роялистов, считая, что на их стороне было благородство; молодой священник выступал за круглоголовых**, веруя, что на их стороне была истина. Митчелл сразу же стал у Скотта чем-то вроде домашнего пастора, и воскресные дни приносили ему столько же радостей, сколько мук — его маленькому приходу. По воскресеньям все семейство вместе со слугами отправлялось к службе в церковь Серых Братьев, и «зрелище сие было столь любезно и примерно, что многожды согрело и утоляло сердце» Джеймса. А вечером мистер и миссис Скотт в окружении чад и домочадцев усаживались в гостиной своего примолкшего полутемного дома. Глава семьи читал долгую и мрачную проповедь.

* Ковенантеры — сторонники «Ковенанта», союзного договора 1643 г. между английским парламентом и шотландскими пресвитерианами, предусматривающего введение в Англии пресвитерианства и совместную борьбу с роялистами, то есть сторонниками низвергнутой английской буржуазной революцией династии Стюартов.

** Круглоголовые — прозвище сторонников парламента, то есть врагов монархии, в эпоху английской буржуазной революции.

Она сменялась другой, столь же мрачной и долгой. За ней следовала третья, долгая в такой же мере, как и мрачная. От скуки и развлечения ради самые младшие щипали и пинали остальных, чтобы не дать тем уснуть. Потом пастор проверял, хорошо ли дети и слуги усвоили воскресный урок, а попутно гонял их по катехизису;* нудные сидения завершались молитвой. Воскресный стол тоже отличался постоянством: на первое — бульон из бараньей головы, на второе — сама голова, приготовленная еще в субботу, чтобы не утруждать кухарку в день господень. Не исключено, что скудная эта трапеза была отчасти призвана противодействовать тяге ко сну во время описанных религиозных упражнений. Если и так, то Вальтеру это не помогало. Он не только засыпал в самом начале проповеди, будь то дома или в церкви, но непостижимым образом умудрялся после этого пересказать ее содержание с большим успехом, чем его братья. Джеймс Митчелл объяснял это чудо тем, что Вальтеру достаточно было «услышать название библейского текста и определение темы, а там уже здравый смысл, память и дар Божий сами подсказывали ему ход мысли проповедника».

На свою беду, сам Джеймс этим здравым смыслом не обладал. Когда в Монтрозе понадобился священник, отец Вальтера порекомендовал Джеймса Городскому совету. Митчеллу надлежащим образом вручили приход, и он мог бы сохранить место до конца жизни, не подведи его избыток фанатизма: он попробовал запретить морякам этого портового города выходить в море по воскресеньям. А так как у тех считалось доброй приметой пускаться в плавание в день господень, никто его запретов слушать не стал, и Джеймсу пришлось уступить приход другому. Потом он сделался священником пресвитерианской церкви в нортумберлендском городке Вулере. Весьма вероятно, что Скотт не раз вспоминал о нем, работая над образом почтеннейшего Дэви Динса из «Эдинбургской темницы».

Незадолго до окончания школы Вальтер резко прибавил в росте и несколько ослабел, так что перед поступлением в колледж ему пришлось провести несколько месяцев у тетушки Джэнет, которая после смерти родителей уехала из Сэндиноу и сняла домик в Келсо. Там Вальтер ходил в грамматическую школу, во главе которой стоял Ланселот Уэйл, знаток античной филологии, не лишенный к тому же чувства юмора, однако решительно неспособный оценить каламбуры своих питомцев по поводу собственной фамилии**. Намеки на Иону и библейского кита приводили его в бешенство. Вальтер пришелся ему по душе, и он ухитрился привить мальчику интерес к латинским авторам, что пошло тому на пользу. Большую роль в жизни Скотта предстояло сыграть и двум его новым школьным друзьям — сыновьям местного купца Джеймсу и Джону Баллантайнам. Первый сразу же подпал под обаяние

* Катехизис — книга, популярно излагающая христианское вероучение в форме вопросов и ответов.

** Уэйл (англ. *whale*) значит кит. По библейской легенде, пророк Иона был проглочен огромным китом и трое суток находился «во чреве китовом».

Вальтеровых рассказов и внимал ему, замирая от восторга, и в школе, и в свободное время, когда они гуляли вдоль Твида. «Лучшего рассказчика я не встречал ни до, ни после», — подытожил Джеймс Баллантайн незадолго до смерти.

Но большая и самая приятная часть пребывания в Келсо прошла в тетушкином саду, где Вальтер зачитывался Спенсером и впервые открыл для себя старинные баллады из «Наследия древней поэзии» Перси. «Хорошо помню место, где я в первый раз прочитал эти томики, — под огромным платаном, что возвышался над останками старомодной зеленой беседки... Летние часы убежали так быстро, что я — учтите здоровый аппетит тринадцатилетнего парня — совсем забыл об обеде: меня бросились искать и нашли с головой погруженным в пиршество воображения. Эту книгу я не просто прочел — я ее выучил и после ошарашивал своих школьных приятелей и всех, кто был готов мне внимать, душевными отрывками из баллад, собранных епископом Перси. Как только я сумел наскрести несколько шиллингов, что случилось тогда отнюдь не часто, я купил комплект этих драгоценных томов и, если не ошибаюсь, отдавал им столько времени и денег, сколько и вполнину не отдал никакой другой книге». Нынешние туристы, попав в Келсо, едва ли смогут представить себе тот сад, где он, бросив товарищей по играм, уединялся, чтобы читать романы Филдинга, Ричардсона и Смоллетта, декламировать строфы Спенсера и, следуя за древними бардами, погружаться в реальный для него мир собственного воображения. В ту пору сад, разбитый в голландском стиле, занимал семь или восемь акров*. Там были «длинные прямые дорожки, ограниченные высокими плотными стенами подступавших тисов и грабов; заросли цветущего кустарника, павильончик и зеленая беседка; чтобы в нее попасть, нужно было одолеть путаницу кривых тропок, гордо именуемую лабиринтом. Посреди беседки рос роскошный платан — огромный холм листьев... По всему саду были разбросаны декоративные растения, красивые, разросшиеся и весьма внушительные, а на фруктовом участке было полно плодовых деревьев самых лучших видов. Еще имелись скамейки, крутые тропинки и даже домик для приемов в саду».

В Келсо, несомненно, самом привлекательном из городков Пограничного края, ему выпало и другое знаменательное переживание: он впервые причастился красоте зримого мира. Памятные места, связанные с историей и преданиями, уже будили в нем чувства — в своем воображении он видел эти места и их обитателей такими, какими те были во времена своей славы. Теперь же он постиг очарование природы помимо исторических и мифологических ассоциаций, и сочетание того и другого — прекрасных ландшафтов и древних развалин — повергало его «в глубочайшее благоговение, от которого замирало сердце».

Один из школьных наставников Вальтера как-то сбил его с ног и извинился, сказав, что не рассчитал своей собственной силы; пострадавший принял это объяснение как должное. Зная, каковы были его детство и юность, назовем самой отличительной чертой

* Один акр равен примерно 0,4 гектара.

его характера неспособность мальчика плохо думать о жизни и таить злобу против отдельных людей. Он всегда говорил о своем радостном детстве, снисходительном отце и превосходных наставниках, но мы-то понимаем, что физические его недостатки, оказавшись на его месте другие люди, многим бы отравили всю жизнь, что фанатизм и чопорность Скотта-старшего превратили бы других юношей в пьяниц и атеистов, а мелочность и душевная глухота его учителей у большинства школьников до конца дней отбили бы всякую любовь к книге.

В ноябре 1783 года Вальтер поступил в Эдинбургский городской колледж, и уже на исходе первого триместра преподаватель греческого заявил ему, что Вальтер — тупица и останется таковым. Подобные случаи так типичны для биографий людей выдающихся, что можно с полным основанием заключить: если наставники не махнут на ученика рукой как на безнадежную бездарь, мальчик рискует вырасти посредственностью. Но Вальтер со свойственным ему несокрушимым милосердием и здесь винил себя за то, что не сумел удостоиться похвалы отъявленного кретина. Врожденная доброта и беззлостность направляли его гений; они помогли бы ему преуспеть и не будь у него великих талантов.

Закадычным другом Вальтера по колледжу был Джон Ирвинг, разделявший его любовь к романтической героике и ставший впоследствии присяжным стряпчим. Во время триместров — по субботам, а на каникулах и того чаще они уходили за город, взяв с собой книги из библиотеки колледжа. Понимая, что со стороны их времяпрепровождение может показаться смешным, они выбирали самые малолюдные и труднодоступные места — Трон Артура, Солсберийские кручи или Блэкфордский холм — и там на пару зачитывались рыцарскими романами, причем Вальтер читал раза в два быстрее, а понравившиеся куски запоминал так крепко, что мог и через несколько месяцев цитировать их наизусть целыми страницами. Раньше Вальтер специально занимался французским языком, чтобы расширить свое знакомство с рыцарским эпосом; теперь друзья с той же целью взялись за изучение итальянского. Они много бродили по окрестностям Эдинбурга, облазили все старые замки на десять миль в округе, а на ходу развлекали друг друга, придумывая рыцарские истории, в которых бранные подвиги мило уживались с откровенными чудесами. Для Вальтера фантазировать было так же естественно, как дышать, но Джону взбежать, не переводя дыхания, на гору и то было легче. Больше всего они любили прогуляться до Росслина, где обычно останавливались перекусить, а затем берегом до Лассуэйда, откуда спешили домой как раз к обеду. Вальтер шел, одной рукой опираясь на плечо Джона, другой — на крепкую палку. Увлечение замками так их захватило, что им захотелось научиться рисовать; они стали посещать класс рисунка, а Вальтер даже начал брать частные уроки. Но энтузиазм не мог заменить способности, и после нескольких серьезных попыток он отказался от этой затеи.

Не проучившись и года, он заболел и вернулся в Келсо, где продолжал читать то, что ему нравилось (латинские классики сюда не входили), и умудрился начисто забыть даже буквы греческого алфавита. В конце 1784 года на него обрушилось еще одно

несчастье — он перенес кровоизлияние в толстый кишечник. Лечение оказалось страшной недуга. Его заставляли голым лежать на морозе при распахнутых окнах под одним одеялом и до полусмерти заморили кровопусканиями и мушками, как называли тогда вытяжной пластырь. Есть ему давали только овощи, причем ровно в таком количестве, чтобы он не умер от голода. Ему запретили разговаривать, и стоило ему открыть рот, как на него коршуном налетала дежурившая у постели сиделка. Вальтера навещал Джон Ирвинг, с которым они часами играли в шахматы, однако главным развлечением были рыцарские романы, сборники стихов, Шекспир, Спенсер и старинные баллады. «Мальтийские рыцари» Верто так его пленили, что на склоне жизни, начав роман, он вдруг обнаружил, что пишет точное переложение этой книги, читанной им срок шесть лет тому назад, когда он был прикован к постели. Если же он уставал от шахмат и чтения, то хитрая система зеркал позволяла ему, не вставая с постели, разглядывать прохожих на Луговой аллее. Он перенес один или два рецидива, чего следовало ожидать, принимая во внимание методу лечения, но после долгой борьбы природа наконец одержала верх над лекарями, и он начал поправляться. Кто-то из врачей назвал его выздоровление чуть ли не чудом. Чудом оно и было, если подумать о всех стараниях, положенных на Вальтера представителями медицинской корпорации.

Несколько месяцев его продержали на строгой вегетарианской диете, от которой он сделался нервным, мнительным, раздражительным и капризным. На поправку он уехал под Келсо, на берег Твида, где его дядюшка, капитан Роберт Скотт, приобрел славный домик под названием Роузбэнк (Розовый берег). До самой женитьбы Вальтера Роузбэнк оставался для него вторым домом, более родным, чем даже отцовский: дядя Роберт любил книги, с пониманием относился к увлечениям племянника, поощрял его литературные опыты; от дяди у Вальтера не было никаких тайн. Здесь, в Роузбэнке, он восстановил здоровье и отсюда в марте 1786 года вернулся в Эдинбург, чтобы начать ученичество в отцовской конторе, вступив, по его словам, «в бесплодную выжженную пустыню формуляров и юридических бумаг». Конторская рутина была для него ненавистней тюремного заключения, и, когда отец отлучался по делам, Вальтер не упускал случая и садился играть в шахматы с другими учениками. Однако у него появилась возможность самому зарабатывать на книги перепиской судебных документов; за один присест он, бывало, справлялся со 120 большими листами, получая за это около полутора фунтов.

На тридцать восьмом году жизни он пожалел не о том, что много лет убил на изучение права, а о том, что не потратил нескольких лет на изучение античных авторов: «Я не колеблясь отдал бы половину известности, какую мне посчастливилось обрести, если бы взамен смог подвести под оставшуюся половину твердый фундамент эрудиции и научных знаний». Это было сказано еще до того, как он начал писать романы, но, видимо, он считал так до самой смерти. Слова эти выдаются в нем дух юности, что из века в век взыскует невозможного, выдают честолюбивого мальчика, которому хочется все получить и быть всем на свете. Отзвук таких желаний мы

распознаем в набившем оскомину суждении Бернарда Шоу о том, что, не будь, Шекспир своей актерской профессией и низким происхождением отрезан от дел нации и государства и обречен водить компанию с завсегдатаями таверны «Русалка», «он, по всей вероятности, стал бы одним из виднейших государственных деятелей своего времени, а не остался всего лишь виднейшим его драматургом». Здравый смысл сам подсказывает возражения: от скольких бы государственных деятелей отказался мир ради одного Шекспира, от скольких ученых-филологов — ради одного Скотта, от скольких социалистов — ради одного Шоу и от скольких звезд — ради одного Солнца! Разрешение этой проблемы мы находим у доктора Джонсона: «Природа располагает дары свои по правую и по левую руку». Мы вольны выбирать. Чрезмерной щепетильностью или, напротив, алчностью мы ничего не добьемся. Скотт выбрал здраво: литературу, а не науку. Служение словом он предпочел активному действию.

Впрочем, что касается действия, то соблазн пойти в армию был для него очень велик. «У меня от рождения любовь к солдату и солдатской службе, которую я предпочел бы любой другой, не помешай хромота», — признавался он, когда Бонапарт хозяйничал в Европе. Однако исход наполеоновских кампаний натолкнул его на размышления иного порядка: «Когда я был помоложе, мне нравилась война и я всем сердцем тянулся в солдаты; теперь же заветнейшая моя молитва — «Ниспошли, Господи, мир на наш век!» С трех лет, признавался он, в голове у него стоял барабанный бой, происходили кавалерийские учения и вступали в перестрелку враждующие кланы. Служба в отцовской конторе имела для него одну-единственную светлую сторону — воспоминания клиентов, принимавших в свое время участие в якобитских восстаниях 1715 и 1745 годов.

Один из них был частым гостем на площади Георга и так же любил рассказывать, как Вальтер — его слушать. Александр Стюарт из Инвернейла, фанатик якобит, зеленым юнцом сражался у Шеррифмура в 1715-м. Вальтер спросил, бывало ли ему когда-нибудь страшно. «Святая правда, Вальтер, дружок, — ответил старый вояка, — как я первый раз попал в дело да увидел красные мундиры*, а наши ребята стащили береты, чтоб помолиться, а после нахлобучили их покрепче да поперли быками на противника, подгоняя друг друга, и принялись палить из ружей и махать палашами, так я зараз готов был тыщу монет выложить тому, кто б не дал мне удрать с поля боя». Стюарт на спор дрался с самим Роб Роем — кто кого одолеет — и в 1746 году был в битве при Куллодене. Многие из того, что он порассказывал, Скотт использовал потом в «Уэверли» и других романах. Якобит заразил нашего отрока преклонением перед Стюартами, а рано привитые ему симпатии Скотт так до конца и не вытравил.

В Горную Шотландию Вальтер впервые попал по судебным делам, но после этого несколько лет подряд приезжал туда отдыхать. В первый же раз он увидел озеро Катрин и Тросакс, когда прибыл туда проследить за исполнением судебного решения о вы-

* * Английские солдаты носили мундиры красного цвета.

селении непокорных арендаторов; его сопровождали сержант и шестеро рядовых из полка шотландских горцев, расквартированного в Стерлинге. Арендаторы сами удрали, но для Вальтера поездка оказалась весьма плодотворной: от сержанта он наслушался историй про Роб Роя, а пленившие его места со временем прославились в «Деве озера».

Таким образом он по мелочам копил материал для своих будущих произведений, когда в доме профессора Фергюсона, отца его школьного приятеля Адама Фергюсона, случай свел его с великим поэтом тех дней Робертом Бёрнсом. Огромные темные глаза Бёрнса, выдававшие страстную натуру, пронизательное выражение его живого лица, уверенная повадка и внешность крепкого фермера былых времен, что сам ходил за своим плугом, навсегда врезались в память Вальтера, и он запомнил все обстоятельства этой встречи. Бёрнса до слез тронула висевшая на стене гравюра. Он спросил, кому принадлежат стихи, напечатанные под изображением. Из всех присутствующих ответить сумел один Вальтер, и Бёрнс, к неистовой радости подростка, поблагодарил его словом и взглядом. Вальтеру тогда было всего пятнадцать, но ему хватило наблюдательности подметить, что Бёрнс слишком уж расхваливает достоинства менее одаренных поэтов вроде Алана Рамзея. Через много лет Скотт уподобил эти завышенные оценки «ласкам, которые знаменитая прелестница на глазах у публики расточает девушкам, много уступающим ей в красоте и «по сей причине ей тем более любезным».

Скотт, вероятно, постарался бы встретиться с Бёрнсом снова, но его отпугнули слухи о революционных взглядах, шумных попойках и низменном окружении эйрширского поэта. Человек, приказывающий в гостях у друзей, чтобы ему перед отходом ко сну подали бутылку виски, едва ли годится в приятели тому, кто в сходном случае предпочтет захватить в постель томик стихов. Да и одного британского патриотизма, которым пылал Скотт на исходе XVIII века, было вполне достаточно, чтобы остеречь его от хмельного санкюлотства* посетителей дамфризской таверны.

* Санкюлотами называли революционеров-французов в эпоху Великой французской революции.



Глава 3

Любовь, закон и стихи

«По весне, — отмечает Теннисон, — молодые мысли устремляются к любви». На семнадцатом или восемнадцатом году жизни, когда он в очередной раз гостил у дядюшки в Келсо, мысли Скотта к ней и устремились. Чувство оказалось неглубоким, но сам он отнесся к нему вполне серьезно. Способен ли юнец, не имеющий ни опыта, ни зрелости эмоций, ибо все это дается жизнью, вообще испытать любовь, страсть сложнейшую, — вопрос особый. Однако почти все молодые люди склонны путать с любовью внезапно проснувшееся в них половое влечение, что повергает их либо в поэзию, либо в отчаяние. Из-за своей хромоты Скотт, конечно же, был робок в общении со слабым полом, но по той же причине и переоценивал любой знак внимания девушек к своей особе; его воображение с готовностью превратило бы простую симпатию в привязанность, а последнюю — в чувство более сильное, да еще и взаимное. Возмужавший едва ли не чудом, наделенный к тому же разгорающимся поэтическим даром, он был особенно восприимчив к женским чарам и

ласке, и дочка лавочника из Келсо, которую мы знаем только по имени — Джесси, — пробудила в нем все симптомы юношеской любви.

Сперва его пленило в ней дружелюбие: «Нет слов, чтобы выразить, как глубоко запал мне в сердце Ваш дивный образ, но я твердо знаю, что он пребудет там навеки», — писал Скотт, благо-разумно начиная свое признание с восхищения ее внешностью. «Ваша нежность, Ваша доброта, Ваша отзывчивость исполнили меня нежных чувств, каких мне не доводилось испытывать, — продолжал он, выдавая, что именно привлекало его к ней на самом деле. — Когда б я мог надеяться, что не безразличен Вам, я бы обрел ни с чем не сравнимое блаженство». Видимо, они обменялись еще несколькими чувствительными посланиями, потому что накануне возвращения в Эдинбург он писал:

«Я не знаю, как пережить время, которое должно миновать, прежде чем я смогу вновь обрести драгоценное милое счастье быть рядом с Вами, однако верьте, что при первой же малейшей возможности я примчусь в Келсо на крыльях любви, уповая, что Ваша доброта щедро вознаградит меня за томительные часы, проведенные в ожидании этого сладостного мгновенья. Мои и Ваши родные, кажется, не подозревают о нашей любви... Я долго присматривался и вижу, что дома Вам едва ли уютно; здесь я могу Вас понять, как никто другой, ибо слишком знаю по собственному опыту, что это такое — никудышный домашний очаг. Нам не удастся приохотить родных к простым радостям жизни, так не станем хотя бы сами бежать этих радостей, коль скоро их пошлет нам судьба... Если б я убедился, что владею Вашими мыслями пусть вполовину так безраздельно, как Вы — моими, я бы утешился сердцем. Но надеюсь на лучшее! Вы удостоили меня лестным признанием, которое я так жаждал услышать, и, полагаясь на неизменность Вашей любви, что дороже мне всего золота и всех почестей мира, я в эту минуту говорю Вам: до — близкого, да поможет нам Бог! — свидания! Бесконечно преданный Вам и любящий Вас Вальтер».

Когда Джесси приехала в Эдинбург навестить больного родственника, Скотт жил с семьей, работал у отца в конторе и развлекался прогулками в обществе приятелей-учеников. С Джесси он виделся тайком, а так как ей нельзя было выйти из дому, им приходилось рисковать: в любую минуту в комнату могли войти и обратить Вальтера в бегство. Ему, похоже, доводилось подолгу сживать в шкафу, сочиняя стихи, когда ее отзывали в другую комнату или чье-то присутствие в этой заставляло его прятаться. Все эти хитрости и увертки порой их даже веселили: в его письмах появляются юмористические нотки. «Я... взывал к луне — самому воспетому из светил — так часто, что ныне стыжусь взглянуть ей в лицо. А соловьям посвятил столько од, что достанет на всех пернатых, какие есть и были». Он сообщал ей, что пишет «эпическую поэму и на много сотен строк», и послал балладу, которую слышал от лакея-ирландца, когда пяти лет приезжал с тестушкой в Бат. Вальтер был осторожней Джесси: «Опасаясь, как бы Ваши письма не попались на глаза человеку постороннему и любопытствующему, а наша верная любовь не столкнулась с еще

большими испытаниями, я, скрепя сердце, сжег их все до последнего. Надеюсь, Вы уже последовали или последуете моему примеру, и тогда нам нечего будет бояться». Поступи она так, нам бы пришлось пожалеть. Но к этому времени она, вероятно, увлеклась им даже сильнее, чем он ею; она начала поощрять его писать стихи. «То, что Вы похвалили мои поэтические опыты, придает мне храбрости на новые пробы пера» — этой фразой открывается одно из его писем, которое он кончает так: «Надеюсь, Ваша нежная и безграничная щедрость станет для Вашего бедного «Рифмача» заслуженной наградой за его радение в Вашу честь. Ваш верный Вальтер».

Но верным Вальтер ей не был, и, когда это стало заметно, она так и не смогла ему простить его поведения, хотя, очевидно, немного утешилась, выйдя замуж за студента-медика, который впоследствии стал практиковать в Лондоне. Во всяком случае, из жизни Скотта она исчезла, оставив, правда, след в его прозе: отголосок этого увлечения можно уловить на страницах «Приключений Найджела», где повествуется о женитьбе молодого лэрда на дочери торговца, очаровательной девушке и к тому же одной из самых правдоподобных героинь в книгах Скотта. Однако в конце романа автор дает понять, что считает такой брак безответственным: рассказывая о свадьбе, он единожды поминает о присутствии новобрачных, а затем обходит их молчанием. Пригодились и воспоминания о том, как он скрывался в шкафу, хотя в романе король Иаков попадает в сходное положение по собственной воле.

О том, что Джесси ему не пара, он, видимо, начал догадываться, когда стал вхож в столичное общество. Семнадцати лет он был уже вполне светским молодым человеком и посещал разного рода клубы, где юношеский задор, компанейский дух и чувство такта быстро снискали ему популярность. Среди его близких друзей этих лет стоит упомянуть Чарлза Керра, Вильяма Клерка, Джорджа Эйберкомби и Вильяма Эрскина. У двух первых он впоследствии позаимствовал кое-какие характерные черточки, наградив ими Дарси Латимера из романа «Редгонтлет». Его приятели разительно отличались друг от друга и по свойствам личности, и по выпавшим им судьбам, а это свидетельствует, что Скотта уже тогда интересовало, как проявляют себя различные характеры в различных жизненных обстоятельствах.

Чарлз Керр входил вместе со Скоттом в узкий круг единомышленников, объединившихся в колледже в «Поэтическое общество». С семьей Керру не повезло. Суровые родители его не любили, денег ему не давали и чинили ему всяческие препоны. Он влез в долги, отец отказался за него заплатить, он занял еще больше, удрал от кредиторов на остров Мэн, там вступил в брак, на который родители никогда бы не дали своего благословения, не смог содержать жену и отправился на Ямайку, где стал работать на какого-то стряпчего. В конце концов он вернулся на родину, чтобы вступить во владение родовым поместьем: отцу так и не удалось лишить его права наследования. Он продал поместье, пошел в армию, стал казначеем, потом занялся охотой на лис, наплодил детей и обрек их на бедность, скончавшись в 1821 году. Скотт был единственным, кто помог Керру в годы юношеских эскапад и кому тот писал

с острова Мэн: «Если ты меня любишь, вложи в письмо прядь своих волос; верь, я буду носить ее на сердце». Скотт считал его натурой исключительной.

Другой исключительной натурой, хотя и уступавшей Керру в самозабвенном безрассудстве, был Вильям Клерк. Этот столь же последовательно обожающий словопрения, сколь не терпел настоящего дела. На любую тему он умел порассуждать с толком и занимательно; подобно многим своим соотечественникам, любил от души поспорить и никогда не поднимался из-за стола, пока не укладывал оппонента на обе лопатки. Он пребывал неизменно в прекрасном настроении, отличался всеобъемлющим чувством юмора, блестящим остроумием и прямолинейностью. Но ленив он был до чрезвычайности и не сделал ровным счетом ничего, чтобы преуспеть на адвокатском поприще или обзавестись женой. Большим заработкам, на которые можно было бы содержать семью, он предпочел скромное жалованье и холостяцкий образ жизни — снимал комнаты, столовался в ресторациях и трактирах, обожал посплетничать со старухами и поболтать с закадычными друзьями, принес карьеру в жертву удобствам и разменял свою жизнь на пустяки, многим другим скрасив существование. Скотт говорил, что ему не доводилось встречать человека, более наделенного способностями, и стоило им сойтись, как шуткам и смеху не было конца.

С такими друзьями — в основном будущими адвокатами, юношами совсем другого социального круга, чем его соученики по отцовской конторе, — Скотт вошел в эдинбургское общество, коротал вечера за беззаботным застольем и совершал долгие вылазки за город. Он начал следить за своей внешностью (раньше он одевался неряшливо, теперь же стал выглядеть вполне прилично) и обнаружил, что хромота не мешает ему пользоваться успехом на танцах: «В том возрасте, когда парню особенно хочется блеснуть перед девушками, я, бывало, завидовал на танцах ребятам, которые умели поработать ногами; однако потом убедился, что стоит мне оказаться в обществе прекрасного пола — и я, как правило, добиваюсь того же самого своим языком». Новые друзья были ему много ближе, чем приятели по отцовской конторе: они умели порассуждать о поэзии и истории, принадлежали к одному с ним классу, воспринимали жизнь и вели себя примерно так же, как он. И, понятно, с ними он встречался чаще, чем со старыми приятелями-учениками, которые почувствовали, что их третируют, и дали ему об этом понять на очередном ежегодном ужине. К концу ужина Скотт потребовал объяснить такое к себе отношение, и один из учеников ответил: «Раз уж ты сам начал об этом, так вот: ты *рвешь* со старыми друзьями ради таких, как Клерк и другие твои из колледжа, которые нас и за людей не считают». Скотт и не подумал оправдываться: «Господа, — заявил он, — я *реу* с человеком лишь в одном случае — если он оказывается негодяем; однако я никому, в том числе и любому из вас, не позволю указывать мне, с кем водить дружбу. Если кому-то здесь пришло в голову, что я кого-то обидел, так лучше было переговорить со мною с глазу на глаз. Но раз уж разговор пошел по-другому, так вот что я вам скажу: многих тут я люблю и всегда любил,

но уверен, что один Вильям Клерк стоит всех вас, вместе взятых». Собравшимся пришлось обратить все это в шутку.

Выбор профессии окончательно их развел. Скотт-старший догадывался, что Вальтер создан не для конторской рутины. Заявляя, что готов взять молодого человека в партнеры (если тот этого пожелает), он намекал, однако, что тому лучше заняться правом. Вальтер не стал долго раздумывать. Несколько его лучших друзей учились на адвоката, так что совместная работа должна была сблизить их еще больше. К тому же профессия адвоката приличествовала джентльмену. Итак, в 1789 году он взялся за изучение гражданского и местного права и при всем отвращении к зубрежке усердно занимался им до 1792-го. Больше того, он каждое утро ходил за две мили будить Клерка к семи часам, чтобы усадить того за учебник; в результате оба сдали положенные экзамены и были допущены к практике.

Впрочем, эти годы были отданы не только работе. Совершались долгие вылазки за город для осмотра замков и полей сражений, происходили и длительные словопрения с друзьями в тавернах, не обходившиеся без обильных возлияний. По натуре Скотт не был склонен к беспутству, и если он много пил, то лишь за компанию и чтобы доказать — из чистой бравады, — что он другим не уступит. Взбодрить себя он умел и без выпивки. В часы безделья «дивные и глупые фантазии всплывали в моем воображении подобно пузырькам газа в бокале шампанского — такие же пьянящие, пленительные и мимолетные». Однако вино или виски, несомненно, позволяли ему в любой подвыпившей компании чувствовать себя непринужденно. Лет тридцать спустя он рассказывал герцогу Баклю, как один старый тори из числа его собутыльников любил распевать куплеты о судьбе шотландских королевских регалий после заключения унии с Англией при королеве Анне. Каждый символ шотландской королевской власти употреблялся в этих куплетах по самому непотребному назначению; корона, например, превращалась в

Поганый жбан,
Чтоб крошка Нан
Лила в него, упившись.

Столь же неподобающая участь ожидала и прочие регалии, а хор тем временем подхватывал:

Прощай, бывшее царство,
Прощай, бывшее царство,
Ведь англичане-торгаши
Тебя купили за гроши —
О, черное коварство!

С Клерком и другими приятелями он к вящей пользе для собственного здоровья отправлялся на дальние озера или в горы, где они развлекались рыбной ловлей или альпинизмом. Ходил он не хуже других, хотя и медленней: за час он покрывал три мили, но и тридцать миль в день не были для него пределом. Он отличался огромной физической силой — утром для разминки «одной рукой подымал наковальню» и мог выдержать любые лишения и любое перенапряжение. Уже тогда приятели обратили внимание на два его

характерных свойства: упрямство и любовь к одиночеству. Когда они собирались в очередной совместный поход, ему было все равно, куда отправиться, и он соглашался с любым предложением. Но если спрашивали его совета, а потом этим советом пренебрегали, он «откальвался» от остальных и шел туда, куда ему хотелось. И это его ничуть не тревожило — ему нравилось бывать наедине с самим собой. Еще в ранней юности он страстно полюбил одиночество; он часто удирал от других, чтобы без помех предаваться мечтам и строить воздушные замки, воображая себя то всемогущим владыкой, то сказочным богачом. Правда, с восемнадцати лет обновленное здоровье и обостренное честолюбие толкали его в объятия света, однако же он всегда с облегчением покидал общество, находя в сокровенных своих грезах источник безмерного наслаждения. Во время своих одиноких прогулок он так глубоко погружался в себя, что нередко забредал в самые неожиданные места. Родные сначала волновались, когда он исчезал на несколько суток кряду, но потом привыкли к его отлучкам. «Упрекая меня в таких случаях, отец любил говорить, что я родился бродячим торговцем. Сие пророчество было призвано уязвить мое самолюбие, но мысль о таком будущем не очень меня ужасала». На самом же деле отец пенял ему: «Страшусь, премного страшусь, сэр, что вам на роду написано стать *подзаборным бродягой*». Не приходится сомневаться, что будущие успехи Вальтера на литературном поприще снискали бы у строгого стряпчего мало поддержки, а одобрения и того меньше.

Когда Вальтер учился на адвоката, он каждый год проводил несколько недель из своих летних каникул у дядюшки в Келсо. Отрывочные свидетельства сообщают нам, что он бывал в Сэндиноу, гонял зайцев, стрелял диких уток, посещал бега, ловил рыбу в Твиде, разъезжал верхом по окрестностям и читал все, что попадалось под руку. Вечерами он обычно уделял час-другой охоте на цапель: дядюшкин сад спускался прямо к реке. «Выстрелишь в цаплю — она обязательно переберется на тот берег, выстрелишь снова, — как правило, вернется назад, и так несколько раз, пока не поднимется в воздух. Отменный спорт, тем более что цаплю не так и легко подстрелить: она не подпускает к себе близко. А пока она снует туда и обратно, можно вдоволь полакомиться крыжовником». В дядюшкином саду одно раскидистое дерево нависало над самым Твидом, и Вальтер устроил себе сиденье среди ветвей. Другу Клерку он сообщил: «Больше всего мне нравится читать вот так, примостившись на суку, особенно если западный ветер, как сейчас, раскачивает ветви, а внизу река катит свои мутные волны цвета крови. Я даже проделал в листе бойницу и теперь могу стрелять в чаек, бакланов и цапель, когда они с криком пронесутся над моим гнездом». Погода, однако, слишком часто бывала «самая рассобачья».

Последние летние недели в 1791 и 1792 годах он великолепно отдохнул с дядюшкой в Нортумберленде, где они осмотрели развалины Римской стены, побывали на полях сражений во Флодене, Оттерберне, Чиви-Чейс и т. д., а большую часть времени посвятили охоте, рыбной ловле и прогулкам пешком и верхом. Как-то они остановились на ферме в шести милях от Вулера, в самом серд-

це Чевиота. Скотта поразило невежество деревенских жителей по английскую сторону границы: он выяснил, что местные скотоводы и барышники относят все адресованные им письма в приходскую церковь, где по окончании службы дьячок читает им эти письма и пишет ответы под диктовку получателей. На ферме не нашлось ни одного писчего пера, и Скотт разжился таковым, подстрелив ворону. Дядя для поправки здоровья пил сыворотку из козьего молока; Вальтер последовал его примеру, как только обнаружил, что сыворотку «каждое утро ровно в шесть подает прямо в постель хорошенькая молочница».

Тем временем он забросил учебники и проявлял куда больше интереса к балладам Пограничного края и немецкой поэзии, чем к тонкостям судопроизводства. В 1792 году Керр познакомил его с Робертом Шортридом, исполнявшим обязанности главного судьи Роксбергшира; но не за юридическим советом обратился к нему Скотт. Он надумал заняться собиранием баллад, которые сохранились в изустной передаче среди обитателей дикого и труднодоступного округа Лиддесдейл, хорошо знакомого Шортриду. Семь лет рядом Скотт и Шортрид совершали вылазки в доли и горы Лиддесдейла, ночуя у пастухов, в домах приходских священников или под открытым небом. Во всем округе не было ни одного постоянного двора, а тропинками служили высохшие русла, совладать с которыми было не под силу никакому колесному экипажу. Друзья записывали слова и мелодии баллад у местных жителей, благо Скотт быстро находил с ними общий язык, — один из них так и сказал про него: «Свой парень». Путникам нередко приходилось делить постель (если постель вообще находилась), и Шортрид весьма высоко отозвался о своем товарище-компаньоне: «Я обнаружил в нем неисчерпаемый кладезь юмора и добродушия! Стоило нам проехать десять ярдов, как мы принимались смеяться, дурачиться или горланить песни. Где бы мы ни останавливались, он к каждому умел подойти!.. Каким только я его не видал во время наших поездок — сумрачным и веселым, серьезным и легкомысленным, трезвым и пьяным; но пьяный ли, трезвый ли, он всегда оставался джентльменом. *Подшофе* он выглядел тупицей и тугодумом, однако никогда не терял хорошего расположения духа».

Напивался Скотт преимущественно из вежливости. Он боялся обидеть воздержанием своих хозяев, особенно когда последние прилагали столько хлопот, чтобы разжиться спиртным. Однажды после нескольких дней гостеприимных возлияний они наконец смогли перевести дух: в каком-то из горных кланов им оказали весьма трезвый прием. Ужин с вином из бузины завершился религиозной церемонией, ублажившей хозяйку дома, но повергшей хозяина в сон. Однако в самый разгар молебствий хозяин, пребывавший, как и все, в коленопреклоненном положении, неожиданно вскочил с воплем: «Хвала господу! Вот и бочонок!» — два пастуха втащили бочонок контрабандного бренди, за которым их успели послать. Пока жена и духовная особа приходили в себя от столь нечестивого завершения церемонии, хозяин многословно извинялся за то, что до сих пор был вынужден оказывать любезным гостям столь скудный прием, и распорядился водрузить бочонок на стол — просидели до третьих петухов.

За первые годы своей адвокатской практики Скотт урывками смог повидать и Горную Шотландию, и Пограничный край: с Адамом Фергюсоном он съездил в Пертшир, еще раз побывал на озере Катрин, наслушался новых историй про Роб Роя и рассказов о восстаниях 1715 и 1745 годов. Были они и в Форфаршире, где на кладбище в Донаттаре Скотт познакомился с Робертом Патерсоном, который вменил себе в обязанность уход за эпитафиями на могилах павших в бою ковенантеров и которого будущий писатель впоследствии обессмертил в «Пуританах»*. Однако свободное время Скотта не уходило целиком на собирание старинных баллад и преданий. Он был ревностным антикваром, осматривал множество исторических мест и памятников и даже занимался раскопками. Помимо этого он познакомился с немецкой поэзией и изучал немецкий заодно со своими друзьями, главным образом с Вильямом Эркином. Вернее, изучали друзья, а он, как всегда в раздоре с синтаксисом и грамматикой, сумел как-то овладеть языком, используя знание шотландского и англосаксонского диалектов английского языка.

Было бы преувеличением утверждать, что он приобрел известность в судебных кругах или что его адвокатских услуг так уж домогались. Ему, разумеется, перепали кое-какие дела от отца и от отцовских друзей; но если он и был незаметной фигурой в зале суда, то за его стенами пользовался у законников большой популярностью как рассказчик. Они имели обыкновение толпиться вокруг него в кулуарах, и тогда работа уступала место смеху и шуткам. Прохихикав все утро в суде, они, понятно, испытывали необходимость подрепиться и отправлялись на поиски кларета и устриц. Так проходили дни, недели, месяцы, и молодой адвокат понемногу забывал право, которому его учили, закладывая основу для будущего литературного успеха, о котором тогда и не подозревал.

Здесь уместно вспомнить об одной из его защитительных речей, поскольку в ней мы найдем пару весьма характерных высказываний. Некого священника из Галлоуэя по имени Мак-Ноут обвиняли помимо прочего в регулярных попойках и пении непристойных куплетов. Скотт поехал в Галлоуэй собирать показания в защиту клиента, но мало что обнаружил в пользу последнего. Однако он смог доказать, что за четырнадцать лет священник бывал пьяным всего три раза и что в каждом из этих случаев употреблял в высшей степени неподобающие выражения исключительно по подначке собутыльников. «Стоило ему утратить разум, — аргументировал Скотт, — как он превращался в одушевленную машину, столь же неспособную сознательно отвечать за свои проступки в речах или деяниях, как попугай или автомат... ибо считать человека завзятым сквернословом или бесстыдником лишь на том основании, что в состоянии опьянения он вел соответствующие речи, так же нелепо, как полагать его идиотом, поскольку, напившись, он нес бессмыслицу». Мак-Ноута все же лишили сана: высокоморальный суд не смог переварить две песенки из тех, что он распевал в пьяном виде. На выездной сессии суда в

* Кладбищенский Старик в первой главе романа.

Джедбурге Скотту повезло больше — он добился у присяжных оправдания старика браконьера, промышлявшего кражей овец. «Твое счастье, мошенник», — шепнул он своему подзащитному. «Благодарствуем вашей милости, — ответил клиент, — утречком пришлю вам косо́го». Обещанный «косо́й», то есть заяц, наверняка был бы изловлен в чужих угодьях.

Однажды Скотт и сам попал на скамью подсудимых. Французская революция взбудоражила Ирландию, и в 1794 году компания ирландских студентов-медиков повадилась ходить в театр, где, расположившись в задних рядах партера, они своими воплями заглушали государственный гимн*, горланили революционные песни и шумно приветствовали любую произнесенную со сцены реплику, коль скоро ее можно было истолковать в бунтарском духе. Их поведение пришлось не по вкусу молодым тори из судейских, и как-то вечером в театр заявили Скотт и несколько его друзей-адвокатов, вооруженные дубинками и полные решимости пресечь всяческие эксцессы при исполнении гимна. С первыми же аккордами ирландцы, напялив шапки, принялись орать и размахивать тростями. Вспыхнула баталия, и после знатной потасовки мятежников с разбитыми носами и головами выдворили на улицу, и гимн был сыгран без помех. Скотт и четверо его приятелей предстали перед судом, который обязал их уважать общественное спокойствие, причем многие друзья выразили готовность поручиться перед судом за их примерное поведение в будущем. Скотт несколько возгордился, когда трое из неприятельского лагеря показали, что именно он прошелся по ним дубинкой.

Столь безответственные действия не могли не шокировать его степенного батюшку, хотя временами тот и расставался со своей чопорностью. Было решено, что, когда отец скончается или уйдет на покой, дело наследует младший и самый любимый брат Вальтера, Том. Впоследствии Вальтер утверждал: «Более добродушного человека и приятного собеседника, чем Том, мне не доводилось встречать». Роберт Шортрид вспоминает о семейном укладе Скоттов в эти годы: «Я в жизни так не смеялся, как с ним и его братцем Томом, когда навещал их в доме отца в Эдинбурге... Другого такого забавника, как Том, не сыщешь на свете... Их батюшке это, видно, было весьма по душе — он потворствовал нашему веселью и сердечно оное разделял, покатываясь со смеху в своем кресле». Из этого можно сделать вывод, что старый законник размяк с возрастом. Трудно представить его хохочущим над шутками своих сыновей — разве что он окончательно расстался с мыслью призвать их к порядку. Но если он и впрямь поддавался веселью, то уж никогда бы не изменил своего отношения к рифмоплетству, которое в его глазах было скорее всего синонимом лени, похоти и богохульства. Ему бы и в голову не могло прийти, что Вальтер был теперь занят не столько правом, сколько поэзией.

«За всю жизнь я не мог ничего исполнить с тем, что именуется степенностью и осмотрительностью», — признавался Вальтер при-

* В то время перед началом представления в театрах исполнялся английский национальный гимн, что задевало чувства и национальную гордость ирландцев.

ятелю, тогда как его отец был не способен за что-либо взяться без упомянутых атрибутов. За единую ночь наш легкомысленный поэт перевел поэму Бюргера «Ленора» — ту самую, которую, по странному совпадению, перевел на французский язык знаменитый галльский последователь Скотта Александр Дюма. Прочитав мрачно-торжественным голосом свой перевод другу, Вальтер задумался, а потом воскликнул: «Как бы раздобыть череп и пару берцовых костей?» Друг тут же свел его к хирургу, у которого Скотт и разжился этим внушающим суеверный ужас товаром. С тех пор он держал кости и череп на шкафу как подобающий символ германской музыки. Перевод «Леноры» и еще одной баллады Бюргера он потом анонимно напечатал. Книга распродавалась плохо и пошла в основном на хозяйственную бумагу, однако начало было положено, и Скотт признался на склоне лет: «Я обрел радость в литературных трудах, к которым пришел едва ли не волей случая и которыми занялся не столько в надежде доставить кому-нибудь несколько приятных минут, — хотя отнюдь не ставил перед собой и противной цели, — сколько открыв для себя свежий и восхитительный источник развлечения».

Но с двадцати до двадцати пяти лет Скотт был погружен в дела куда более мучительные и захватывающие, нежели кропание виршей. Как-то осенью 1791 года паства расходилась из церкви Серых Братьев после воскресной утренней проповеди. Пошел дождь, и Скотт под своим зонтом проводил до дома незнакомую девушку, которая жила недалеко от площади Георга. На ней была зеленая накидка, а когда она отбросила капюшон, его поразила ее красота. Он провожал ее несколько воскресений кряду в любую погоду и наконец узнал, что ее зовут Вильямина Белшес. Это не помешало ему влюбиться, и большую часть времени, выделенного на занятия правом, он проводил у окна, высматривая, не мелькнет ли она на улице. Если Скотт говорил правду, утверждая, что Матильда в его «Рокби» — это попытка обрисовать Вильямину, она и в самом деле была красива. У нее были темно-каштановые кудри, карие глаза и черные ресницы. Волнуясь, она краснела, но обычно на ее бледном лице были написаны смирение и безмятежность, причем выражение это подчеркивали высокий лоб, задумчивый вид и опущенный долу взгляд. Вероятно, она обладала тем, что свет именуется высокоразвитым чувством нравственности, которое, однако, частично смягчалось в ней врожденной живостью характера. Женщины подобного типа всегда привлекали Скотта как в жизни, так и в литературе; нетрудно догадаться, что Вильямина являла собою очаровательное сочетание важности и веселости.

Ее отец, сэр Джон Белшес, был адвокатом, мать — дочерью графа Ливенского. Когда молодые люди познакомились, Вильямине было всего пятнадцать, а Скотту двадцать лет. Однако в сентябре 1792-го, ровно через год после того, как он предложил ей место под зонтиком, Скотт писал Клерку из Келсо: «У меня никаких надежд свидеться с моей *chere adorable** до зимы, да и то еще как повезет». Посетив в 1793 году Сент-Эндрюс, он вырезал ее имя на дерне у замковых ворот. Его усердные занятия правом в

* Обожаемая, предмет страсти (*фр.*).

это время были, несомненно, продиктованы желанием преуспеть в своем деле и начать зарабатывать столько, чтобы можно было на ней жениться. Матери он вскоре рассказал обо всем, а та, видимо, передала отцу: когда Вальтер упомянул о предполагаемой поездке в деревню, отец догадался, что он собирается в Феттеркерн, Кинкардиншир, где жили Белшесы, и уведомил сэра Джона о чувствах молодого человека. Сэр Джон услышал об этом впервые, однако не придавал новости большого значения. К марту 1795 года отношения между Вальтером и Вильяминой все еще оставались не до конца проясненными. Домашним она ничего не говорила, хотя зимой несколько раз выезжала с ним в свет, и он сообщал другу, что светский опыт никоим образом не изменил ее кроткого нрава, разумея под этим, что она продолжает подчиняться родителям и боится рассказать о нем. Мы можем с полным основанием заключить, что по молодости лет она сама еще не знала, чего ей хочется, и что ей хватало силы воли противиться мольбам Вальтера, однако его ухаживания были ей достаточно лестны, чтобы оставить их вообще без поощрения.

Измученный неопределенностью, он обратился к Вильяму Клерку, и тот посоветовал Вальтеру откровенно написать Вильямине о своих чувствах и спросить ее, можно ли рассчитывать на взаимность. Так он и сделал. Ответ, видимо, его успокоил, хотя, судя по всему, она отказалась даже намекнуть родителям об их отношениях. Он переслал ее письмо Клерку, и друг тоже истолковал его в благоприятном для Вальтера смысле.

Весной следующего года он отправился с приятелями в Троксак, после чего их оставил и один дошел пешком до Крифа, а оттуда проследовал верхом через Перт, Данди, Арброт и Монтроз. В Бенхолме он сделал остановку, надеясь на приглашение из Феттеркерна; его «можно было легко найти на зубчатых стенах укрепления, причем взор был устремлен к далеким Грампианским вершинам». Приглашения, однако, не последовало, и он, печальный и понурый, отправился в Эбердин, «погрузившись в тревожные мысли о теньях, облачках и тучах, которые омрачают мои надежды на счастье». В Эбердине он занялся кое-какими судебными хлопотами и тут наконец получил долгожданное приглашение. Завершив крохотные раскопки в Дьюнотаре, он отбыл погостить у родных Вильямины, которая слегка приболела, но к его приезду вполне оправилась. Там он провел начало мая — развлекался раскопками у старой крепости, скрывал свои чувства от домашних Вильямины и писал стихи.

И все же эти последние два года — до ее двадцатилетия — он, как нам кажется, жил между отчаянием и надеждой. Потом он говорил, что три года сладких грез и два года пробуждения от них — вот, собственно, и вся история его любви. После пребывания в Феттеркерне весной 1796 года надежда быстро сменилась отчаянием, которое усугубили слухи о том, что за Вильяминой ухаживает Вильям Форбс, сын состоятельного банкира и наследник титула баронета. В начале сентября Скотт писал из Келсо Вильяму Эрскину, что пребывает в неуверенности, растерянности и глубочайшем унынии, ибо «мистер процент», как он презрительно величал банкира, «конечно же, отправился в Феттеркерн». А в конце

месяца он упоминает о «кампании, развязанной номинальным баронетом и его сыном и наследником Дон Гильельмо*». Вспоминая об этом визите и его последствиях, я пытаюсь себя сдерживать, но, Боже милостивый, дорогой Эрскин, чего мне это стоит! Отыди от меня, сатана, отыди!» Он умоляет друга писать ему чаще, чтобы поддержать в «борьбе с синими бесами, и черно-белыми бесами, и серыми, которые настойно лезут в спутники моему одиночеству».

12 октября он узнал самое страшное: Вильямина выходит замуж за Вильяма Форбса. Влюбилась ли она в перспективы, открывавшиеся перед юным банкиром, либо же в него самого — этого мы никогда не узнаем. Скорее всего она и сама не знала, хотя полагала, что знает. Среди неопубликованных бумаг родственницы Скотта мисс Расселл, сохранившихся в Ашестиле, есть запись о том, что Вильямина дала Вальтеру отставку при встрече и он, хлопнув дверью, заявил на прощанье, что раньше ее вступит в брак. Это звучит правдоподобно: по словам одного из друзей Скотта тех лет, он «отличался весьма несдержанной и раздражительной натурой», которую, добавим, небезуспешно смирял на протяжении всей жизни. Утверждают также, что Вильямина была в замужестве очень несчастна и ее родные считали, что этому есть причины. Правда все это или домыслы, нас в данном случае не интересует. Вывод из ее решения напрашивается сам собой: с мирской точки зрения, будущий банкир-баронет был партией куда более предпочтительной, чем нищий адвокат, увлекающийся рифмоплетством. Нас интересует другое — как принял ее решение Скотт. Этот удар он переживал сильно и долго. В «Роб Рое» есть эпизод, в котором он почти наверняка воссоздал собственное свое состояние после отставки, — когда Фрэнк решает, что его навеки разлучили с Дианой:

«Неожиданность встречи и горе разлуки ошеломили меня... Наконец слезы хлынули из глаз моих... Я машинально отирал эти слезы, едва сознавая, что они текут; но они лились все обильней. Я чувствовал, как что-то сдавило мне горло и грудь — *histerica passio*** несчастного Лира; и, сев у дороги, я расплакался первыми и самыми горькими слезами со времен моего детства»***.

Он долго не мог оправиться и однажды, вспомнив об этом за дружеским застольем, раздавил бокал, который сжимал в руке. Но к 1820 году, через десять лет после смерти Вильямина, он научился философскому отношению к опыту юности, поскольку писал: «Женитьба на своей первой любви удается едва ли одному человеку из двадцати, а из тех, кому удастся, едва ли один на два десятка может назвать себя счастливецом. На заре жизни мы любим скорее плод собственной фантазии, нежели реальное существо. Лепим для себя снегурочек и льем слезы, когда они тают...»

Критики и биографы Скотта преувеличивают воздействие Вильямина на его творчество: их сбивает с толку замечание Скотта,

* По аналогии с Дон Жуаном и соответствию английского имени Вильям испанскому Гильельмо.

** Истерический взрыв чувств (лат.).

*** «Роб Рой», гл. 33. Перевод Н. Вольпин.

что он нарисовал ее в образе Матильды из «Рокби», а также неверное предположение, будто Вильямина, как покорная дочь, выбрала не Скотта, а Форбса по приказу родителей. Сейчас установлено, что ее отец поначалу отнюдь не стремился выдать дочку за Форбса, а сделанное Вильяминой незадолго до смерти признание позволяет усомниться и в том, что мать не хотела ее брака со Скоттом. Однако распространенное мнение, будто она не имела собственной воли, поставило знак равенства между нею и такими литературными персонажами, как героини «Песни последнего менестреля», «Рокби» и «Ламмермурской невесты». Невозможно поверить, чтобы эти безжизненные фигуры могли иметь нечто общее с девушкой, чьи достоинства покорили и на пять лет приковали к себе такого веселого, энергичного и самостоятельного парня, каким был Скотт, питавший всю жизнь полнейшее безразличие к женщинам банально-вялого типа. Сам он мог считать, что дал в «Рокби» ее портрет, но то была всего лишь греза, основанная на чисто внешнем сходстве, творение его воображения, весьма отличное от реального человека. Все известное нам о природе их отношений убеждает, что наибольшего сходства с Вильяминой он добился, работая над самым живым и привлекательным из своих женских характеров — Кэтрин Ситон в «Аббатстве». Она в равной степени наделена мягкостью и шаловливым темпераментом, послушанием и независимостью, чувством долга и некоторым легкомыслием, но главное — обнаруживает дразнящую своенравность, которая заставляет героя мучиться неизвестностью на протяжении всей книги. Сам Скотт мог и не отдавать себе отчета в том, что личность Вильяminy наложила отпечаток на облик Кэтрин. Что бы он ни писал, он, как правило, обретался в мире собственных фантазий. Но Кэтрин выделяется среди его героинь как характер, выхваченный из гущи жизни, — очаровательная, соблазнительная, смешливая, энергичная; образ, достойный Шекспира и, несомненно, воплотивший память о единственной в жизни Скотта женщине, которая могла бы вдохновить его на сильное и трогательное четверостишие из эпилога «Девы озера». Здесь бард прощается со своей арфой в словах, обнажающих всю глубину его печали после единственной пережитой им трагедии чувств:

Ты мне была как сладостный бальзам.

Я шел один, покорствуя судьбе,

От горестных ночей к горчайшим дням,

И не было спасения в мольбе*.

* Перевод П. Карпа.



Глава 4

О делах бранных и брачных

Напряженный физический труд всегда считался лучшим средством от мук неразделенной любви — и Скотт подался в военные. После французской революции англичане боялись вторжения с континента, так что по всей стране создавались добровольные отряды легкой кавалерии. Скотт отдал свою энергию и энтузиазм делу формирования эдинбургского корпуса королевских легких драгун, в котором сам же стал квартирмейстером. Будучи в этой должности, он завел дружбу с герцогом Баклю, его сыном графом Далкейтом, Робертом Дандесом, чей отец, лорд Мелвилл, был самым влиятельным лицом в Шотландии, Вильямом Форбсом, тем самым, который женился на Вильямине, и Джеймсом Скином. Последний стал близким другом Скотта и разделил его интерес к немецкой поэзии. Весной и летом 1797 года корпус ежедневно в пять утра выезжал на учения; Скотт везде был душой компании — и на плацу, и в казарменной столовой. Он любил свои обязанности, которые большинство людей сочло бы отвратительными, и поддерживал воинский дух

сослуживцев своевременной шуткой и неиссякаемым рвением. Конский топот, бряцание сабель, звонкий язык команд — все это утешало его врожденную любовь к действию; и хотя он готов был признать, что в заботах квартирмейстера нет ничего романтического, его патриотизм расцветал в атмосфере маршей, учений, биваков и солдатского товарищества. Он скакал на коне, он пил, он писал песни и даже подтягивал в хоре, хотя у него не было слуха, и в детстве, когда его пытались учить пению, он пускал горлом такие рулады, какие, на слух соседей, могла исторгнуть только крепкая порка. Однако к исполнению своего воинского долга он относился вполне серьезно. Кавалеристам его отряда было приказано на полном скаку срезать репу, насаженную на кол и изображавшую неприятеля-француза. Почти все его солдаты, забыв про репу, думали лишь о том, как бы удержаться в седле; но их квартирмейстер с криком: «Рази негодаев, рази!» — понесся на мишень во всю мочь и принялся полосовать несчастный овощ, проклиная ненавистного супостата.

В начале века слухи о предполагаемом вторжении возникали то здесь, то там, и Скотт всегда оказывался на месте сбора точно в срок, причем однажды ему пришлось для этого безостановочно проскакать сотню миль. К сожалению, добровольцев использовали и для подавления внутренних беспорядков, а поскольку никакой славы эти операции не сулили, Скотт был от них не в восторге; к тому же он сочувствовал беднякам, которых поднимал на бунт голод. В 1800 году он докладывал, что людям нечего есть, они вынуждены промышлять грабежами и его отряд обязан нести круглосуточное патрулирование; им удалось без единого выстрела спасти от погрома несколько домов, хотя толпа всячески их поносила и забрасывала грязью; терпенье его на исходе и силы кончаются. Через два года вспыхнули новые голодные бунты, и отряд Скотта прибыл на место в тот самый момент, когда толпа, взломав пекарню, растаскивала мешки с мукой. Войска были встречены градом камней и прочего, а Скотту угодили в голову осколком кирпича, так что он, на мгновенье оглушенный, покачнулся в седле. Однако он заметил бросавшего и пустил на него коня, желая зарубить на месте. «Ей-богу, я не в тебя метил», — завопил несчастный, и Скотт впелпил ему саблей плашмя. Вспоминая об этом случае, Скотт признался: «Честно говоря, поганое это дело — давить тех, кто помирает от голода».

В самом начале своей военной карьеры он по совету Чарльза Керра, который тогда жил в Кесвике, решил побывать на Камберлендских озерах и осенью 1797 года вместе с братом, капитаном Джоном Скоттом, и Адамом Фергюсонём тронулся к границе. По дороге они сделали остановку в Твидейле и осмотрели хижину, которую построил для себя Дэвид Ритчи, прославленный впоследствии Скоттом под именем Черного Карлика. В низкой темной комнате им сразу же стало не по себе, и они пожалели, что вошли, особенно когда карлик закрыл дверь на двойной запор и, схватив Скотта за руку, спросил замогильным голосом: «Умеешь наводить порчу?», подразумевая черную магию. Скотт признался, что нет. Тогда карлик подал знак огромному черному коту, и тот, вспрыгнув на полку, уселся там с видом жутким и зловещим. «А вот

он — умеет», — произнес карлик тоном, от которого кровь стыла в жилах, и, довольный произведенным впечатлением, повторил фразу, злорадно ослабившись. Так они сидели неподвижно и в мертвом молчании, будто под гипнозом, пока наконец Фергюсон не набрался мужества попросить карлика отворить дверь, что тот и сделал — мрачно и отнюдь не спеша. Спотыкаясь, они выбрались на свет, и Фергюсон заметил, что Скотт бледен и возбужден.

Они опомнились, только перевалив через Чевииот; добрались до Карлайла, оттуда до Уиндермира и окончательно обосновались в Гилсленде, модном тогда курортном местечке, где Скотт получил возможность понаблюдать, как проводит время праздная светская публика, не подозревая о том, что наблюдения эти еще пригодятся ему для романа «Сент-Ронанские воды». К этому времени он твердо решил добиваться взаимной любви. Он начал ухаживать за первой же хорошенькой девушкой, попавшейся ему на глаза, и, когда они поцели поглядеть на Римскую стену, поднес ей пару стихотворений вкупе с букетом цветов. Однако через несколько дней он познакомился на верховой прогулке со всадницей, которая приглянулась ему значительно больше, и в тот же вечер ухитрился пригласить ее отужинать с ним после танцев. У нее были черные, как вороново крыло, волосы, огромные темные глаза и слегка смугловатое лицо. Внешне она чем-то напоминала Вильямину, хотя ни в ее характере, ни в поведении незаметно было особой серьезности или раздумчивости. Скотта в ней сразу же привлекли веселость и живость, которыми, видимо, обладала и Вильямина, не дававшая, однако, им прорываться наружу. «Меня больше всего пленяет в Вас радостная Философия жизни, и я охотно пойду к Вам в ученики, дабы научиться весело относиться к существованию». Так писал Скотт своей новой возлюбленной Шарлотте Шарпантье. Родители у нее были французы, но сама она получила отчасти английское воспитание, с соотечественниками знаясь не хотела и так стремилась прослыть англичанкой, что даже свою фамилию переименовала на английский манер: Карпентер. У нее не все ладилось с произношением, но по-английски она изъяснялась бойко, была добродушна, нежна, жизнерадостна и так отзывчива, что чужие беды переживала, казалось, сильнее даже тех, с кем эти беды случались. Про Скотта она сначала решила, что никогда не выйдет замуж за хромого, однако его дар развлечь и позабавить заставил ее забыть о непригодности молодого адвоката к танцам, а история его несчастной любви к Вильямине, можно полагать, вызвала у нее сочувствие. Тем не менее она, конечно, сомневалась в искренности его заверений: слишком уж быстро они последовали за душераздирающими страстями, о которых он ей поведал. Когда он приехал в Карлайл следом за ней, она запретила ему искать с нею встречи. Он отправил Шарлотте длинное письмо, объясняя, что жизненного успеха он сможет добиться лишь собственными силами, что полностью на себя полагается и в недалеком будущем рассчитывает стать главным судьей графства, что даст ему 250 фунтов стерлингов в год. Далее он писал:

«Но как буду лелеять я эти надежды, если мой возлюбленный друг позволит уповать на то, что она их со мною разделит... у меня не останется иной цели в жизни, как ограждать Вас от всякой за-

боты... Гоните и мысль о том, что можете приказать мне забыть Вас, когда мы увидимся снова, — гоните ее прочь — этому не бывать — это так же невозможно, как выразить всю глубину моей к Вам любви и твердую веру в то, что мы созданы друг для друга...»

Одновременно Скотт сообщал матери, что «с головой ушел в хлопоты о женитьбе» и что у Шарлотты «кроткий и жизнерадостный характер, ясная голова и, что, я знаю, придется тебе по душе, — твердые религиозные принципы». Предвосхищая первое же возражение матери, он добавлял: «Поверь, что горький опыт (ты понимаешь, что я имею в виду) еще свеж в моей памяти и остережет меня в этой области от слишком поспешных решений, на какие в ином случае могла бы подбить горячая кровь». Для Скотта, по всей видимости, было утешением, что в характере его избранницы «не было ничего от романтики»; для его матушки наверняка было утешением другое — то, что Шарлотту крестили и воспитали как протестантку, в лоне англиканской, а не католической церкви. Но на отца эти смягчающие обстоятельства не возымели никакого действия: он не желал мириться с ее иноземными «корнями». Когда Скотт возвратился в Эдинбург, друзья и домашние затребовали от него ее подробную родословную. Он написал Шарлотте, добавив, однако, что будь у нее самое безупречное, по британским меркам, происхождение или совсем напротив, на его чувства к ней это никоим образом не повлияет: «Мои любовь и уважение питаются отнюдь не этим и всецело принадлежат Вам, коль скоро Вы их цените. Я готов ублажать национальные или семейные предрассудки, поскольку они не мешают моим собственным планам, в противном же случае я прекрасно умею презирать и те, и другие». Он послал ей свой портрет — «облик того, кто готов жить и умереть только для Вас», — и заверил, что, если домашних не устроит ее родословная и они поведут себя глупо, он уедет искать счастья в других краях. Однако вскоре кто-то, видимо, предупредил его, что к предкам его жены будет выказан немалый интерес и он рискует поставить под удар собственную карьеру, если в этом вопросе не будет полной ясности, так что он снова написал Шарлотте: «Мне приходится считаться не только с собой, но и с другими тоже, а поэтому — у нас иначе нельзя — требуется, чтобы я в любую минуту мог рассказать все необходимое о Вас и Ваших родителях». Она сообщила ему все, о чем он просил, и попеняла на то, что в своих письмах он начинает слишком часто и «несколько преждевременно» чего-то «требовать». На это он ответил: «Дорогая моя, Шарлотта, я люблю Вас больше всех на свете, отдаю за Вас душу, и чувство мое столь велико, что порой я помимо воли могу допустить чрезмерно горячие выражения, тем более что не имею привычки перечитывать написанное перед отправкой».

Сегодня мы знаем о ее родителях больше того, что она сообщила Скотту, но он остался доволен полученными сведениями, как волей-неволей пришлось удовольствоваться ими всем его родным и друзьям. Ее отец Джон Фрэнсис Шарпантье служил начальником Лионской военной академии, когда супруга Эли Шарлотт Волер, которая была его на двадцать лет моложе, подарила мужу двоих детей: в декабре 1770 года — дочь Маргарет Шарлотта, а в июне 1772-го — сына Джона Дэвида. Еще один ребенок

умер во младенчестве. Эли была живой, хорошенькой и легкомысленной и в положенный срок сбежала с любовником — человеком моложе ее, вероятно, валлийцем, так как фамилия его была Оуэн, хотя фамилия и национальные «корни» тут, разумеется, ни при чем. Отец отказался нести ответственность за воспитание детей; их опекуном стал друг отца лорд Дауншир, а воспитанием занялась мать, которая, таким образом, сама оказалась под покровительством Дауншира после того, как то ли бросила любовника, то ли была им оставлена. Девочку отправили в один из французских монастырей, мальчика же начали готовить к службе в Восточноиндийской компании. В 1786 году Дауншир женился, мадам Шарпантье удалась в Париж жить на деньги, что раз в три месяца посылал ей лорд, а детей поместили на Пиккадилли, в дом к французскому-дантисту Шарлю Франсуа Дюмергу.

В Гилсленд, где она познакомилась со Скоттом, Шарлотта приехала в обществе Джейн Николсон, сестры экономки Дюмерга. Отправил их туда лорд Дауншир, которому не понравился молодой человек, обхаживавший тогда Шарлотту, и это примечательно, потому что с Джулией из романа «Гай Мэннеринг» происходит точно такая же история, а Джулия Мэннеринг — единственный персонаж в книгах Скотта, который мог бы сойти за портрет Шарлотты. Разрешение на брак мог, стало быть, дать только Дауншир, и Шарлотта его попросила, велев Скотту сделать то же самое. Скотт взвился: «Хоть у меня и нету привычки с почтеньем взирать на великих мира сего или часто с ними общаться, мне отвратительна сама мысль о том, что мое счастье или горе могут зависеть от прихоти кого-то из их числа». Но она твердо заявила, что без согласия Дауншира замуж не пойдет, — и Скотт сдался.

К несчастью, в его собственной родне было слишком много предубежденности, чтобы события могли развиваться своим ходом. Особенно усердствовал батюшка, и почтительный сын, хотя и делал скидку на старческие предрассудки, в упрямстве отцу не уступал: «Если он станет упорствовать, когда речь идет о моем счастье, я бесспоротно решил отказаться от здешних видов на будущее и искать счастья в Вест-Индии; друзья — они хорошо меня знают — засвидетельствуют, что никакие силы, земные и небесные, не заставят меня изменить принятому решению». Капризный стряпчий смягчился не раньше, чем узнал, что их союз благословил сам лорд Дауншир и что брат Шарлотты, служащий Восточноиндийской компании, ежегодно посылает ей от 400 до 500 фунтов стерлингов. Во всяком случае, старик снял запрет, и Вальтер расстался с мыслями о Вест-Индии. На денежную помощь ему, однако, не приходилось рассчитывать: отец собирался покупать земли и чин майора для старшего сына Джона.

Тем не менее он в законном порядке закрепил за Шарлоттой ее капитал, снял по улице Георга дом № 50, уплатив за полгода вперед шесть гиней, и написал своей суженой: «Мы прекрасно устроимся. Денег у нас на первое время хватит, а светская роскошь — думаю, я родился для лучшей доли (довольно тщеславное заявление с моей стороны); как бы то ни было, *nous verrons**».

* Посмотрим (фр.).

Правда, за пять лет его адвокатские гонорары возросли с 24 до 144 фунтов в год, но и при таких темпах ему понадобилось бы еще много лет, чтобы полностью обеспечить семью. Он гнал от себя эти мысли и отказался расстаться с ополчением, чтобы сократить расходы. «Я очень довольна, что Вы остаетесь в кавалерии, — писала ему Шарлотта, — благородный стиль мне всегда по душе». Она заклонила его верить в собственные силы: «Не сомневайтесь, что Вы достигнете высокого положения и будете *сказочно богаты*». Он признался, что каждую весну и осень его беспокоят головные боли, а в минуту хандры даже помянул место, где хотел бы покоиться вечным сном. Шарлотта ответила, что излечит его от всех недугов, и побранила за мысли о смерти: «Если Вам постоянно приходят на ум такие жизнерадостные мысли, представляю, сколько приятно и весело будет в Вашей компании!» Он возразил: «*Ваше счастье*, любимейшая моя Шарлотта, — вот главная забота всей моей жизни, и забота крайне эгоистическая, поскольку, добываясь его для Вас, я наверняка обрету и *свое собственное счастье*».

Они решили венчаться в Карлайле перед рождеством, и ему пришлось в одиночестве прожить несколько недель на улице Георга. Он признавался Шарлотте: «Буюсь, я совсем непригоден к домоводству. Здесь я чудовищная бестолочь и начинаю понимать, что именно мне требуется, только тогда, когда хвачусь нужной вещи — и не знаю, где ее искать». Шарлотту ужасало число людей, с какими он поддерживал отношения, и она советовала ему рассылать приглашения на свадьбу с большой осторожностью: по его расчетам, ей предстояло принять на улице Георга массу народа, и перспектива эта отнюдь ее не устраивала. Он пытался ее успокоить: «Мало что изматывает меня так, как большие официальные приемы, зато я очень люблю маленькое избранное общество». Однако следующая за этой фраза едва ли могла ее утешить: «Чем скорее начнутся две страшные недели, которых Вы так боитесь, тем скорее, Вы понимаете, они и *кончатся*». Ему уже не хватает терпения, писал Скотт, и он ведет счет дням, часам и минутам, оставшимся до воссоединения с его милой Шарлоттой. Он укутает ее своим шотландским пледом и назовет себя счастливейшим из смертных: «Я *всегда буду нежно любить Вас и буду очень добрым к моей маленькой чужестранке*». Он выполнил это обещание.

24 декабря 1797 года они обвенчались в Карлайлском соборе, и, если не считать неизбежных бытовых неурядиц и возникших от случая к случаю — из-за различия в темпераментах — семейных трений, их совместная жизнь не омрачалась серьезными трудностями. Скотт сам пришел к выводу, что страстная любовь не лучший фундамент для семейного счастья. Скотт признался, что когда-то был влюблен до безумия, но добавил: «Мы же с миссис Скотт решили вступить в брак, руководствуясь самой искренней взаимной симпатией, и за двенадцать лет супружества это чувство не только не уменьшилось, но скорее возросло. Конечно, ему недоставало того самозабвенного любовного пыла, который, мне кажется, человеку суждено испытать в жизни лишь *один-единственный раз*. Тот, кто купаясь, едва не пошел ко дну, редко отважится снова соваться на глубокое место».



Глава 5

Чудаки

В первые дни знакомства Шарлотта жаловалась, что Вальтер все делает наскоком, и называла его форменным сумасшедшим. Он и в дальнейшем всегда прибегал к такому образу действий, когда хотел чего-то добиться, тем самым вознаграждая себя за долгие периоды вынужденного безделья, проведенные в болезнях и надеждах на руку Вильямина. Отныне он предпочитал брать, а не ждать, сметь, а не надеяться: он окончательно поверил в себя.

Добродушие и веселость, Шарлотты быстро снискали ей симпатии друзей Вальтера; без труда завоевала она и любовь его матушки, которой поначалу не нравилось, что та в своем доме пользуется парадной гостиной как общей комнатой: в Шотландии было принято открывать гостиную лишь по особо торжественным случаям. Но у Шарлотты «особые случаи» возникали ежедневно; она не упускала возможности принять гостей, одеться по моде, потанцевать или сходить в театр. Летом 1798 года они за 30 фунтов сняли в Лассуэиде на реке Эск, в шести милях от шотланд-

ской столицы, крытый соломой домик, получив в придачу два больших выгона, огород и великолепный вид. Скотт забавы ради украсил огород цветами, плющом и вьюнком, а на въезде с главной дороги соорудил грубо вытесанную арку. Жена его, наводившая тем временем «с китайской добросовестностью» чистоту и порядок в доме, обладала тем не менее особым, по его словам, «талантом откладывать со дня на день» такие вещи, как, скажем, ответы на письма, и постоянно жаловалась на «необходимость распорядиться, что приготовить к обеду, и всякие мелкие затруднения вроде — как правильнее сказать: индеек или индюшек». Основания для жалоб у нее были: 14 октября родился, а 15-го умер их первый ребенок. Справиться с несчастьем ей помогла чуткая забота мужа и свекрови, которая, по ее словам, «не сумела бы окружить меня большей нежностью, будь я родной ее дочерью». Они проводили в Лассуэйде каждое лето до 1804 года.

Работая адвокатом, Скотт одновременно собирал баллады и сам писал стихи; это занятие едва ли способствовало привлечению клиентуры, и в первый год семейной жизни его гонорары упали до 80 фунтов. В последующие годы адвокатура стала давать ему больше, но выше 230 фунтов он так и не поднялся — отчасти потому, что не очень блистал на этом поприще, но главным образом потому, что все в суде знали: голова его забита совсем другим. Может, и к лучшему, что его отец умер, так и не догадавшись о равнодушии сына к любому суду, кроме суда муз. Достойный адвокат скончался после апоплексического удара на семидесятом году жизни в то самое время (весна 1799-го), когда Вальтер отдыхал с женой в Лондоне. «Отбытие моего незабвенного родителя из сей юдоли слез для него, несомненно, — перемена к лучшему, если только непоколебимая честность и жизнь, прожитая наилучшим образом, дают основания судить о судьбе наших покойных близких в ином мире». Так писал Скотт матери, попутно объяснив, что слабое здоровье Шарлотты помешало ему вернуться в Эдинбург при известии о скорой кончине батюшки.

Смерть отца позволяла ему с чистой совестью отказаться от адвокатуры, но он проявил достаточно благоразумия, чтобы не бросать практики, пока нуждается в заработке. К счастью, он смог распроститься с адвокатурой в конце 1799 года — по ходатайству герцога Баклю лорд Мелвилл назначил его шерифом* Селкиркшира: с сыновьями того и другого Скотт свел дружбу в армии. Жалованье составляло 300 фунтов в год, обязанности же были не очень обременительны. Осенью 1801 года он купил в Эдинбурге на территории так называемого Нового города дом № 39 по Замковой улице, заплатив 850 фунтов наличными и дав вексель еще на 950, поскольку «соответствующая стоимость и цена имущества» была определена в 1750 фунтов. На троицу 1802 года он вступил во владение, и дом этот оставался его эдинбургской резиденцией на протяжении двадцати четырех лет. Незадолго до смены владельцев декораторы и строители постарались сделать здание почти непригодным для обитания. В начале декабря 1801 года Скотт сообщал: «Мало нам было хлопот, так жена подгадала

* Шериф в Шотландии — главный судья графства.

момент, чтобы именно сейчас наградить меня отменным крепышом с пронзительной глоткой, которая перекрывает наши домашние бури так же легко, как боцманская дудка — грохот шторма».

В первые годы супружества он тратил на собирание и сочинение баллад больше времени, чем на все остальное, вместе взятое. Его поддержал человек, имя которого тогда гремело в литературных кругах, — Мэтью Грегори Льюис, прозванный «Монахом Льюисом»: его роман «Амброзио, или Монах» получил у современников восторженный прием и сделал автора «львом» светских гостиных. Льюис отличался маленьким ростом, напыщенной речью, любил наряжаться и был, по словам Скотта, «первостатейный зануда». Он напоминал балованного ребенка и, обладая неразвитым умом, обожал истории с привидениями, немецкую романтику и страшные сказки. Натура у Льюиса была благородная, но, по мнению Скотта, он «льнул к сильным мира сего так, как это не пристало талантливому человеку и лицу светскому. Герцоги и герцогини не сходили у него с языка, он жалко увивался вокруг всякой титулованной особы. Можно было поклясться, что он вчерашний *parvenu**, а между тем он всю жизнь вращался в приличном обществе». Льюис прочитал кое-что из написанного Скоттом и, приехав в Эдинбург, пригласил его на обед. Через тридцать лет Скотт признался, что никогда не чувствовал себя таким окрыленным, как после этого приглашения. Тогда Льюис готовил сборник «Волшебные повести», куда собирался включить и несколько баллад Скотта; он использовал свое влияние, чтобы продвинуть в печать Скоттов перевод «Геца фон Берлихингена» Гёте. То было обнадеживающее начало, и Скотт взялся за баллады по заказу Льюиса, продолжая писать другие уже для собственного удовольствия — например, «Гленфилас» или «Иванов вечер». Главное же — он серьезно задумался над тем, не опубликовать ли народные баллады, которые собирал вот уже много лет.

Собирая баллады Пограничного края, он набрал себе новых друзей, людей чудаковатых и странных. В Эдинбурге Скотт познакомился с первым из них — Ричардом Хибером, впоследствии членом парламента от Оксфорда; брат Ричарда Реджинальд, знаменитый автор церковных гимнов, стал потом епископом Калькуттским. Ричард составил одну из лучших по тому времени библиотек и был знатоком средневековой литературы. Он не кичился своей ученостью и умел преподнести новые для собеседника сведения в занимательной форме. Скотту он пришелся по душе, и для него явилось тяжелым ударом, когда Хиберу через двадцать шесть лет с начала их дружбы пришлось бежать за границу, спасаясь от судебного преследования по обвинению в «противоестественных сношениях». Узнав об этом, Скотт, только что переживший финансовый крах, записал в «Дневнике»: «Боже всемогущий, кому же верить!.. Такое — страшнее, нежели потеря состояния и даже утрата друзей, — вызывает отвращение к мирским подмосткам, на которых благороднейшая внешность столь часто покрывает намерзостнейшие пороки». Но эти сетования были делом будущего, а тогда, в 1800 году, Хибер, помешанный на старых книгах,

* Выскочка (фр.).

раскопал для Скотта редкостного чудака. Тот рылся в томах, сваленных в эдинбургской книжной лавчонке, принадлежавшей некоему Арчибальду Констеблу, с которым в последующие годы Скотту довелось часто общаться. Диковинный книжный червь обычно восседал у стеллажей на самом верху стремянки. У него был достаточно неказистый вид, странная манера жестикулировать и склонность к внезапным словоизвержениям. Звали его Джон Лейден. Сын пастуха из дикого северного округа, он, можно сказать, был самоучкой, хотя и ходил босиком за семь с лишним миль в школу, когда там бывали занятия. Непонятно, как он умудрился поступить в Эдинбургский университет, посещал лекции, перебиваясь с хлеба на воду, и доказал, что может усваивать иностранные языки быстрее, чем профессора успевают их ему преподавать. Хибер обнаружил, что о пограничных балладах Лейден знает буквально все, и познакомил последнего со Скоттом, который сразу же предложил ему деньги за помощь. И Лейден очень помог Скотту — добывал для него тексты, которые тот иначе наверняка бы упустил. За время совместной работы Скотт ввел его в светские и литературные круги Эдинбурга, где природное дружелюбие Лейдена заставило других забыть о его чудовищных манерах, а обширные знания — о силлой многоречивости. Лейден хотел изучить восточные языки. Узнав, что может на казенный счет отправиться в Индию только как помощник военного врача, он решил сдать через полгода все необходимые экзамены, хотя студенты проходили этот курс за три-четыре года. На исходе шестого месяца он получил желаемый диплом, отплыл в Индию и умер там через несколько лет, овладев большим числом восточным наречий, чем любой из его современников.

Скотт помогал Лейдену, как впоследствии помогал многим нуждавшимся литераторам: ссужал деньгами, подыскивал работу, снабжал рекомендательными письмами к нужным лицам. В истории литературы не найдется другого писателя, в котором щедрость, дружелюбие и всеобъемлющая широта натуры слились бы так гармонично, как в характере Скотта. «Разнообразные беды, ставшие в коммерческой нашей стране уделом литераторов, — я разумею тех, у кого нет иной профессии и заработка, кроме литературы, — есть величайший общественный позор», — писал он и сам неустанно помогал тем, кто к нему обращался. Если он отмечал человека своей дружбой, то на всю жизнь; он отказывался браниться или спориться с теми, кого любил, а диапазон его привязанностей был столь же широким, сколь его дружба прочной.

Еще одним чудачком был Чарлз Киркпатрик Шарп, который передал Скотту для его собрания баллад «Двух воронов». Ревностный антикварий, превосходный рисовальщик и большой остро слов, он к тому же был помешан на генеалогии, и родословные древа занимали его больше живых людей. Его готовили к церковной карьере, однако, по свидетельству Скотта, «особая женственность голоса, едва ли подходившего для чтения молитв», помешала его рукоположению в сан. Еще студентом в Оксфорде он приобрел вкус к скандалам и сплетням и теперь убивал время, выискивая таковые в исторических мемуарах преимущественно времен царствования Стюартов. Важные события вроде английской революции

его не интересовали: они выбивали его из привычной колеи. Он предпочитал раскапывать малоприятные сведения об отдельных личностях, которые тех могли бы выбить из колеи. «Боюсь, он запятнает честь Бог весть скольким прабабушкам нынешних наших аристократов», — писал Скотт, не перестававший дивиться пристрастиям Шарпа к давно минувшим и предпочтительно непристойным скандалам. Но Шарп упивался и свеженькими скандалами; человек светский, он всегда бывал в курсе последних сплетен и с большим смаком излагал перед слушателями все пикантные подробности в своей чрезмерно изысканной манере. Он презирал неимущие классы, поддерживал аристократические знакомства, считал унижительным для себя работать за деньги, завидовал чужому успеху и всячески его преуменьшал. От приглашений в Лассуэйд он уваливал, видимо, опасаясь нежелательных встреч, и тратил жизнь, цинично третируя и свысока высмеивая род человеческий. Не считая рисунков, чувствительная сторона его натуры проявляла себя главным образом в обожании престарелой матушки и в восхищении Эдинбургом. Скотт запечатлел Шарпа или, по крайней мере, какие-то характерные его черты в сэре Мунго Мэлегроутере из романа «Приключения Найджела» — великолепный портрет, сходства которого с оригиналом не признал бы лишь сам прототип.

С человеком совершенно иного типа познакомил Скотта Хибер. То был Джордж Эллис, обладавший, по отзыву Скотта, «умом, образованностью и знанием света, каких с лихвой бы хватило на два десятка записных литераторов». Эллис во всем был любителем — в литературе, в политике, в науке, в дипломатии и даже в жизни. Он знал буквально всех и довольно много — обо всем. Был он надежным и скрытным, однако достаточно милым и добрым, чтобы в свете прослыть «душкой». Он писал остроумные куплеты против тори, когда на то была мода, и остроумные куплеты против вигов, когда мода переменялась. В фешенебельном клубе, в резиденции премьер-министра и в аристократических салонах — он всюду был своим человеком. У него искали совета по таким несопоставимым проблемам, как политика правящего кабинета и подходящий узор ковра. К тому же он умел выслушать собеседника. Близкий друг Каннинга, с которым он познакомил и Скотта, Эллис знакомствовал с Питтом, Мелвиллом и другими столпами общественной и политической жизни тех лет. Он увлекался средневековыми рыцарскими балладами и опубликовал их подборку. Деятельность Скотта его заинтересовала, и они обменивались длинными посланиями по литературным и антикварным вопросам. Отдыхая в Лондоне, чета Скоттов гостила у Эллиса и его жены в Саннинг Хилл недалеко от Виндзорского парка; тогда Скотт отметил: «Эллис — лучший собеседник из всех, кого я знал; его терпенье и такт нередко повергали меня в смущение, когда я вдруг ловил себя на том, что распелся соловушкой, увлекшись любимой темой». Впрочем, Эллис любил слушать Скотта, когда тот «распевал соловушкой», едва ли не так же, как Скотт наслаждался изысканными манерами и занятнейшей личностью Эллиса.

К началу их переписки Скотт все еще был занят собиранием баллад. «Брожу по диким уголкам Лиддесдейла и Этрикскому лесу

в поисках дополнительных материалов для «Пограничных песен», — писал он в апреле 1801 года. Обитатели тех мест, еще помнившие баллады, которые изустно передавались от отца к сыну, не всегда охотно позволяли их записывать. «Один из наших лучших сказителей на старости лет ударился в благочестие и решил, что древние песни противны Святому писанию», — жаловался Скотт. Тем не менее собранного им хватило на два тома «Песен шотландской границы», вышедших в январе 1802 года. Однако в издание не вошли все песни, про которые было точно известно, что они существуют, и в 1802 году Скотт предпринял еще одну большую поездку по Пограничному краю. Опасностей и неудобств, способных отпугнуть других, Скотт либо просто не замечал, либо даже находил в них своеобразное удовольствие; ему часто приходилось делить со своим конем соломенную подстилку, довольствоваться одними и теми же овсяными лепешками и утолять жажду пивом из одного и того же деревянного ковша. Постоянный риск погибнуть в трясине или сломать себе шею, сверзившись с утеса или прибрежного обрыва, придавал особую прелесть свежезаписанной песне, которая, не раскопай он ее, могла бы пропасть для литературы.

Во время очередной вылазки в Пограничный край он познакомился с молодым фермером по имени Вильям Лейдло, который, не в пример большинству других земледельцев, любил поэзию и родной ландшафт, а также увлекался спортом. Это был простодушный, застенчивый и доверчивый мечтатель, не приспособленный к жестокой битве жизни, и Скотт, которому он сразу же пришелся по душе, решил, что здравомыслие, хороший вкус и тонкая восприимчивость юноши заслуживают лучшей доли. «Характер нарса нельзя познать по сливкам общества», — как-то заметил Скотт, предпочитавший компанию Вильяма Лейдло обществу любого из своих светских знакомых. Как и следовало ожидать, хозяина фермы из Лейдло не вышло, но — и мы еще услышим об этом — к тому времени Скотт был в состоянии обеспечить его семью кровом, а его самого работой. Здесь же мы заговорили о нем лишь потому, что он свел Скотта с другим чудачком, в каком-то смысле самым эксцентричным из всех, — Джеймсом Хоггом, который внес свой вклад в «Песни», а для нас являет пример удивительно широкого диапазона привязанностей Скотта.

Хогг был пастухом. Он научился грамоте, переписывая отрывки из книг, пока овцы паслись. При первой же встрече он поразил Скотта добродушием, жизнелюбием и бойкой речью. Он был общителен по натуре, и немногие могли устоять против его веселой, легкомысленной болтовни. Музыка слов была у него в крови, он любил старинные сельские песни и предания. Красивый, с копной рыжих волос, он прекрасно танцевал, пел и играл на скрипке, что снижало ему у слабого пола такую же популярность, какой он пользовался у сильного, будучи добрым выпивохой и блестящим рассказчиком. Для своего появления он подгадал в истории литературы самый подходящий момент: образно выражаясь, Бёрнс незадолго до этого стал первым землепашцем, вспахавшим книжную ниву. «Успех Бёрнса породил чувство соперничества у всех представителей его класса в Шотландии, способных подыскать

пару-другую рифм, — писал Скотт. — Поэты вдруг застрекотали из каждого закоулка, как кузнечики на солнце. С горных круч потоком хлынули пастухи-виршеплеты, а чрево земное исторгло на свет рифмачей-углекопов».

Скотт сделал Хогга Хоггом: нашел ему литературную работу в журнале, посоветовал Констеблю издать его стихи, свел его с самыми разными людьми, ссудил деньгами и сказал «нет» лишь тогда, когда Хогг попросил у него разрешения поставить его имя под одним из своих завиральных автобиографических опусов. В другой раз Скотт, поддавшись минутному раздражению, отказался участвовать в коллективном поэтическом сборнике, гонорар от которого должен был пойти Хоггу. Впрочем, Скотта беспрерывно осаждали подобными просьбами, и то, что он время от времени позволял себе огрызаться, можно вполне понять, тем более что в данном случае он уже неоднократно и по-разному помогал просителю. В ответ на отказ Хогг направил ему письмо, начинавшееся обращением «Проклинаемый сэръ!» и кончавшееся «С искренним отвращением...». Но всего через год, прослышав о болезни Хогга, Скотт тайно оплатил все медицинские и иные расходы. Со временем Хогг письменно извинился за свою вспышку и просил Скотта возобновить с ним дружеские отношения, хотя вряд ли рассчитывал, что на Замковой улице его захотят простить. Скотт немедленно пригласил его к завтраку и предложил предать случившееся забвению. Хогг вообще бывал подчас до смешного наивен и простоват, как, например, с Байроном, которого тоже просил об участии в упомянутом сборнике. Байрон в это время готовился обвенчаться с мисс Милбенк*, и Хогг в своем письме выразил надежду, что та «вдруг да сумеет и жерновами *ворочать*, и доброе *семя взрастить*», хотя лично он, Хогг, в этом сомневается. Байрон прислал соответствующий ответ, и Хогг огорчился: «Он, похоже, решил, что я слишком уж вольно с ним обошелся».

Беда Хогга заключалась в том, что он со всеми обходился «слишком уж вольно». Поэтический успех вскружил ему голову, о собственных стихах он не желал слышать ни слова критики, утверждая: «Мне, слава Богу, нечему учиться ни из книг, ни от людей». Скотту он заявил: «Я — Король Волшебной Горной Поэзии, до которой тебе и не дотянуться». Но о своей прозе он был не столь высокого мнения. «Никак не пойму, что ты хотел сказать в этом отрывке», — заметил ему редактор. «Наплюй, дружище, я и сам не всегда понимаю, что пишу», — отвечивал Хогг. Когда он со своими манерами перестал быть в новинку и в моду вошли литературные «львы» другой масти, он, естественно, пришел к выводу, что все кругом по секрету сговорились помешать ему выдвинуться; но и в расцвете славы его манеры, на взгляд гонявшихся за знаменитостями эдинбургцев, были чрезмерно раскованными. При дамах Скотту постоянно приходилось бывать начеку, чтобы своевременно пресечь его попытки выступить с неподобающим анекдотом. Скотт находил его забавнее любой комедии и поэтому все ему спускал. Как-то раз на роскошном «феодалном» обеде в Боухилле Скотт, сидевший во главе самого

* В переводе — мельничный берег.

большого стола, встал и попросил у герцога Баклю позволения послать за Хоггом: «Без него я и в самом деле не могу обойтись».

Все фермерские прожекты Хогга заканчивались провалом: он слишком любил веселье, чтобы всерьез заняться сельским хозяйством. По той же причине погорели и его городские начинания. Взявшись за руководство газетой, он, вместо того чтобы отдаваться делу, часами развлекался в трактирах. Деньги, которые ему перепали, он незамедлительно претворял в выпивку. Единственная незаурядная поэма, им написанная, «Килмени», была быстро забыта — из памяти современников ее вытеснила маска Этрикского пастуха, с которой он сросся, сам же ее для себя выдумав, и которую Кристофер Норт сделал всеобщим достоянием в своих «Амброзианских ночах», — маска сквернослова и выпивохи, неистового рубахи-парня, веселого и самовлюбленного возмутителя спокойствия. Он кончил свою жизнь на ферме, бесплатно ему предоставленной по просьбе Скотта от щедрот герцога Баклю. Враль бесстыжий и плодовитый, Хогг, однако, не погрешил против истины, сказав о своем бессменном благодетеле: «Скотт был единственным человеком в моей жизни, кому ни богач, ни бедняк не желали плохого».

Таковы были те, кто советом или делом помог Скотту составить «Песни шотландской границы», третий том которых появился в 1803 году. Не приходится сомневаться, что в этом собрании Скотт подновил многие старые песни — заменял слова, вводил новые строфы, из нескольких вариантов одной и той же баллады составлял один, менял рифмы и ритм, а то и перелагал древние легенды на собственные стихи. Когда его спросили о привнесенных им в текст песен изменениях, он обиделся: «Я отмечаю самое мысль о том, что могу написать хоть строчку, которую с готовностью и перед лицом всего света не признаю своей». Любопытное заявление в устах того, кому предстояло сделаться «Великим Инкогнито». Труды принесли ему 600 фунтов — отнюдь не царская награда за десять с лишним лет опасностей, немилосердного напряжения сил и усердных разысканий. Но он до глубины души наслаждался этой работой, в плодах которой дремало зерно его будущих достижений.



Глава 6

Первый бестселлер

Выпустив «Песни» и опубликовав старинную балладу «Сэр Тристрам», Скотт по совету графини Далкейт взялся за собственную поэму. Он прочитал первый набросок двум друзьям, но те не проявили особого энтузиазма, и Скотт, расстроившись, предал рукопись огню. Вскоре, однако, он встретился с одним из друзей, узнал, что неверно истолковал их молчание (на самом деле поэма их очень и очень заинтересовала), и решил возобновить над ней работу. Осенью 1802 года, во время учений на Портобеллских песках, его лягнула лошадь, и он был вынужден три дня проваляться в казарме. Тогда-то он и вернулся к поэме, которую закончил через полтора месяца и назвал «Песнь последнего менестреля». Ее достоинство, говорил Скотт, заключалось в том, что «писалась она от полноты души и лишь для того, чтобы раз и навсегда освободиться от образов, с младенчества осаждавших мое воображение». Весной следующего года они с женой побывали в Лондоне, и там, на юге Англии, под сенью древнего дуба в Виндзорском лесу он прочитал несколько строф новой поэмы Джорджу Эллису и его супруге.

В 1803—1804 годах Бонапарт резвился в опасной близости от берегов Альбиона, и над страной нависла реальная тень вторжения. Скотту часто приходилось бывать на сборах в Селкирке, где формировались вооруженные отряды; лорд-наместник графства считал, что должность квартирмейстера в полку эдинбургских легких кавалеристов мешает Скотту отправлять обязанности шерифа, и предложил ему подать в отставку из армии. Скотт отказался, но, поскольку закон этого требовал, согласился проводить на территории подведомственного ему графства четыре месяца в год. До сих пор, наезжая в Селкиркшир по делам или отдохнуть, он всегда останавливался на постоялом дворе, однако теперь ему предстояло расстаться с Лассуэйдом и подыскивать на лето что-нибудь поближе к Селкирку. Ширра*, как его прозывали в сельских районах, уже пользовался в тех местах популярностью: когда гостившие у него в Лассуэиде Вильям и Дороти Вордсворт возвращались домой в южные графства, они убедились, что им обеспечен сердечный прием в любом уголке Пограничного края, стоит лишь упомянуть его имя. Скотт сам проводил их берегом Твида до Ховика, развлекая по пути историями про каждый замок или утес, мимо которых они проезжали, и гости заметили, что он всех тут знает, а все знают и любят его.

Жителям этой сельской округи предстояло узнать его еще лучше. В 1804 году родственники Скоттов Расселлы выехали из Ашестила, и он снял в аренду особняк вместе с прилегающей фермой. Пока шли переговоры, в Келсо скончался его дядя, капитан Роберт Скотт, завещав любимому племяннику Роузбэнк, где Вальтер провел столько счастливых часов. Но Скотт мечтал о сельской жизни, и с этой точки зрения Роузбэнк его не устраивал; к тому же район Келсо был богат герцогами и вдовствующими титулованными дамами, «что вредно для малых сих». Скотт продал дом за 5000 фунтов и еще 600 выручил за дядюшкино имущество. В июле 1804 года он перебрался с семьей в Ашестил. К этому времени у них было уже трое детей — Софья (родилась в 1779-м), Вальтер (1801) и Анна (1803). В 1805 году появился Чарлз. Все четверо пережили родителей.

Ашестил расположен в узкой долине на южном берегу Твида, примерно в семи милях от Селкирка. Сразу за домом и на противоположном берегу реки поднимаются горы; те, что позади, разделяют долины Ярроу и Твида. Между холмом, на котором стоит дом, и рекой лежит поле, а к западу от особняка тянутся вдоль Твида сочные заливные луга. Во времена Скотта усадьба хорошо просматривалась почти со всех сторон, но он завел обычай сажать деревья, и теперь долину Твида не узнать. С проселка, что на задах, дома совсем не видно, а с большой дороги на другом берегу видна лишь часть фасада. Сейчас к особняку пристроено новое крыло, но когда там жил Скотт, здание напоминало букву Г. Ашестил стал семейным гнездом Скоттов, где они, по его словам, провели «восемь счастливейших лет», пока на континенте убивали друг друга солдаты, дома обличали друг друга политики, а большая часть рода человеческого вела себя точно так же, как во все времена.

* Ширра — искаженная форма слова «шериф».

Теперь у Скотта ко всем прочим занятиям добавилось сельское хозяйство. Ему пришлось изрядно понатореть в таких делах, как покупка и продажа овец и волов, лечение заболевших лошадей и борзых, ловля лосося и борьба с браконьерами. «О многом из всего этого у меня весьма слабое представление, — делился он с другом, — однако я считаю крайне полезным напускать на себя вид знатока, хоть поддерживать такую репутацию и стоит мне немалых трудов». Он многому научился от своего пастуха Тома Парди, сильного, хитрого и веселого парня, — тот впервые предстал перед шерифом по обвинению в браконьерстве. Причитания Тома о жене и домашних, которым нечего есть, тронули Скотта, а лукавый намек на куропаток (эти-то — в отличие от работы — подвергиваются на каждом шагу) так его распотешил, что Ширра не только отпустил Тома с миром, но и взял к себе на службу. Можно сказать без преувеличения, что к Тому Парди Скотт привязался сильнее, чем к кому бы то ни было за всю жизнь. В обществе бывшего браконьера он отводил душу после общения со знатью, а в доверительных беседах с Томом почерпнул не одно сочное и выразительное слово, которое потом вложил в уста прямых и независимых слуг, персонажей своих романов. Порой собеседники расходились во мнениях. Однако стоило Скотту дать понять, что он готов твердо защищать свою точку зрения, как Парди покидал поле боя и, выждав ровно столько, сколько требовали достоинство и приличие, возвращался, чтобы заявить: он тщательно обдумал суть дела и склонен теперь полностью согласиться с хозяином. Со временем Том сделался у Скотта буквально всем — лесничим, хранителем угодий, библиотекарем и т. п.; не бывал он только зрителем винного погреба, ибо пристрастие Тома к виски не позволяло вверять его заботам бочонки и бутылки.

Скотт продолжал волноваться о будущем даже после успеха своей первой поэмы и по-прежнему домогался у властей постоянной должности. Его старый приятель Джордж Хоум вот уже тридцать лет исполнял обязанности секретаря на сессиях Высшего суда Шотландии по гражданским делам. Скотту пришлось в голову, что если он проработает вместо Хоума до смерти последнего, то и наследует его должность. Чиновников на этот пост назначало правительство, и Скотт добился назначения, используя связи. С весны 1806 года он подменял Хоума на сессиях, причем делал это безвозмездно, заявляя к тому же, что отнюдь не желает «сему достойному и весьма почтенному человеку скончаться хотя бы минутой ранее отпущенного природой срока». Достойный и почтенный джентльмен, имевший в год 12 тысяч фунтов собственного дохода, упорно отказывался умирать и продолжал получать жалованье за работу, которую выполнял за него Скотт. «Похоже, моему другу отпущена вторая жизнь, — писал Скотт в 1809 году, — и, если я не прибегну к услугам какого-нибудь пограничного головореза, он, чего доброго, и меня еще переживет. Ну и гнусные обманщики — все эти инвалиды». Миновало три года, и лишь тогда цветущий инвалид подал в отставку, получил пенсион и позволил Скотту иметь свои 1300 фунтов в год — за работу, которую тот шесть лет делал бесплатно. Поскольку же пенсия оказалась немного меньше жалованья, то достойный и почтенный Хоум ежегодно взымал со Скотта по 160 фунтов разницы.

Но в 1806 году Скотт был доволен назначением: он обеспечил себя на будущее, за что от него требовалось на протяжении менее полугода ежедневно находиться в суде от четырех до шести часов, хотя, разумеется, для этого приходилось приезжать в Эдинбург на сессии. «Должность у меня очень простая, — объяснял он, — в основном я только подписываю бумаги; а так как у меня целых пять коллег и мы подменяем друг друга, да и фамилия у меня короткая, то и работу мою не назовешь обременительной». Он преуменьшал — его обязанности были не столь уж несложными, однако он и в присутствии находил достаточно времени, чтобы писать частные письма.

Итак, отныне свой год он делил почти поровну между Ашестилом и Эдинбургом, между сельским хозяйством и судебной скамьей — когда был при деле, между писательством и верховыми прогулками — на досуге. В Ашестиле его день был расписан по часам. Он вставал в 5 утра, зимой сам разжигал камин, тщательно брился, одевался, задавал корм коню, в 6 часов садился за литературную работу, завтракал от 9 до 10, снова работал до полудня, а остаток дня проводил в седле или на ногах — охотился на зайцев или ловил рыбу. В погожие дни он кончал работу до завтрака, зато наверстывал потерянные часы в дурную погоду. Помимо литературных занятий он был неукоснителен еще в одном отношении: отвечал на письма в тот же день, когда они приходили. Работая у себя в кабинете, он при любой погоде держал окно распахнутым, чтобы его собакам был свободный доступ в комнату. Впрочем, детям тоже позволялось беспокоить его когда вздумается. Как бы он ни был занят, у него обязательно находилось время взять их на колени, рассказать сказку или прочитать наизусть балладу; он ни разу не позволил себе даже повернуть на то, что его отвлекают. По воскресеньям, после домашней молитвы и проповеди — ее он произносил сам — и если позволяла погода, все семейство с чадами и домочадцами отправлялось пешком в какое-нибудь живописное местечко и устраивало там пикник.

Всю свою жизнь Скотт был окружен собаками; хозяин и его псы прекрасно понимали друг друга, только что не разговаривали. В то время его любимцем был Кемп, помесь пегого английского терьера с английским же пятнистым бульдогом чистейших кровей. Когда Скотт лазил по скалам, — а тут все зависело от силы мышц и цепкости пальцев, — Кемп часто помогал ему выбрать самый удобный путь: прыгал вниз, оглядываясь на хозяина, возвращался, чтобы лизнуть его в руку или щеку, и снова прыгал вниз, приглашая следовать за собой. К старости Кемп растянул связки и уже не мог угнаться за Скоттом. Однако, когда Скотт возвращался домой, первый, кто его замечал издали, сообщал об этом Кемпу. Услыхав, что хозяин спускается с холма, пес бежал на зады усадьбы; если же Скотт приближался со стороны брода, то Кемп спускался к реке; не было случая, чтобы он ошибся. Моста через Твид близ Ашестила не было, и тем, кто добирался в усадьбу из Эдинбурга или вообще с севера, приходилось перебираться через брод, хотя вода там порой поднималась выше головы. Скотту такая процедура, видимо, нравилась. Забираясь далеко от дома, он даже в этих случаях не пользовался мостами, но всегда ехал обратно

к броду; конь, по-настоящему, брал реку вплавь, а на всаднике не оставалось сухой нитки.

Этому сочетанию слепой отваги, упрямства, безрассудства и мальчишеского авантюризма, когда требовалось показать свои физические способности, в деловой сфере у Скотта соответствовала невероятная опрометчивость — та самая, с какой он надумал взять в компаньоны Джеймса Баллантайна, старого знакомого еще по Келсо. Правда, врожденная осмотрительность вкупе с другими свойствами характера, о которых мы еще услышим, заставила его хранить эту сделку в тайне. Баллантайн был издателем и редактором еженедельной «Келсо Мейл» и сам же ее печатал. Скотт был в восторге от его полиграфического мастерства и в 1800 году предложил ему перебраться вместе со станком из Келсо в Эдинбург, пообещав, что напечатает у него свои пограничные баллады и подыщет другие заказы. Переселение — при финансовой поддержке Скотта — осуществилось в 1802 году; Баллантайн напечатал «Песни», и Скотт развил бурную деятельность, чтобы обеспечить его типографию подрядами на печатанье юридических и литературных материалов. В начале января 1805 года Баллантайн по заказу издателя Лонгмана отпечатал первую поэму Скотта — «Песнь последнего менестреля». Успех поэмы превзошел самые смелые ожидания: то была первая поэма, написанная на английском, которую можно назвать бестселлером в современном понимании слова, — до того как попасть в собрание поэтических сочинений Скотта, она разошлась в сотню тысяч экземпляров. Авторские права на нее были запроданы издателю, и гонорар Скотта был всего-навсего что-то около 770 фунтов, но поэма принесла ему славу, и он был очень доволен, особенно услышав о том, что она удостоилась крайне лестного отзыва таких знаменитостей, как сам великий Вильям Питт и Чарлз Джеймс Фокс. Были, разумеется, и пренебрежительные суждения, но это мало трогало Скотта. О «гурте критиков», ругавших поэму, Скотт заметил: «Многих из этих джентльменов я уподоблю лудильщикам, которые, не умея *выделывать* кастрюли да сковороды, берутся оные *перделывать* и, видит Бог, латая старую дырку, сажают пару новых».

Выход в свет «Песен» и «Менестреля» прославил и типографию Баллантайна; посыпались заказы, и, чтобы с ними справиться, Джеймс попросил Скотта о новом займе. Скотт пошел ва-банк: вложил в дело почти все деньги, доставшиеся ему после дяди, и стал партнером Баллантайна — партнером тайным, но, как показало будущее, достаточно беспокойным. У него мгновенно родилась масса свежих идей и обнаружился столь же массивный прилив энергии; когда б читающую публику было так же легко взять штурмом, как брал Наполеон европейские города, все грамотные жители Великобритании только бы и делали, что читали сочинения Ричардсона, Филдинга, Смоллетта, Стерна, Драйдена, Дефо, Свифта, Бомонта и Флетчером и еще нескольких дюжины классиков. Всех их по заказу того или иного издателя должен был отпечатать и выпустить в свет Баллантайн, снабдив биографиями, написанными самим Скоттом или каким-нибудь сидевшим без заработка нуждающимся литератором. То было захватывающее

время: Скотт, и без того по горло загруженный, писал статьи для «Эдинбургского обозрения» и между делом обдумывал всевозможные издательские проекты. Тогда ему, правда, пришлось ограничиться лишь одним из них — изданием сочинений Драйдена с приложением биографии поэта, что и было осуществлено в дальнейшем.

Он бы еще повозился с другими поистине наполеоновскими идеями, что бурлили у него в голове, если б Арчибальд Констебл, в прошлом хозяин книжной лавчонки, а теперь издатель, не предложил ему тысячи фунтов за новую поэму и если б сам Скотт не увлекся на какое-то время сочинительством иного рода. Не успел он покорить читателей поэмой, как ему захотелось повторить тот же успех в прозе, и в 1805 году он взялся за роман. Окончив семь глав, он показал их Вильяму Эрскину, который посоветовал ему отказаться от этой затеи. История повторялась: как и первая поэма Скотта, его первый роман с самого начала не получил одобрения. Недолго думая, он засунул написанные главы в ящик бюро и напроць о них забыл. Эрскин дал дельный совет: если б весь роман был выдержан в утомительном и многоречивом стиле первых семи глав, он никогда не открыл бы собою эпохи в истории литературы, а его создатель не прогремел бы во всех цивилизованных странах под знаменитейшим псевдонимом «автор «Уэверли»».



Глава 7

Тревоги и поездки

Когда «Менестрель» прославил Скотта, автору было 33 года. Свое первое долгое путешествие он совершил вместе с женой к Вордсворту в Грасмер. Вордсворт показал им озера, и как-то раз оба поэта в компании со знаменитым химиком Хамфри Дэви совершили восхождение на Хелвеллин. От Вордсворта Скотты направились в Гилсланд, место их первой встречи; там они проводили время в свое удовольствие, когда пришло известие, что в Шотландии ожидается высадка уже отплывшей из Франции армии. Наш квартирмейстер тут же взлетел на коня и, покрыв сто с лишним миль, через сутки был в Далкейте на месте сбора. Однако судьба посмеялась над ним: тревога оказалась ложной. Но он забыл о постигшем его разочаровании, с головой погрузившись в более мирные заботы: «Насколько достаёт сил, я с утра до вечера брожу, разъезжаю, ловлю рыбу, охочусь с гончими, ем и пью».

В начале 1806 года он впервые приехал в Лондон литературным «львом». Все только и говорили, что о «Менестреле», и рвались

поглазеть на его творца. По странной иронии судьбы из двух самых популярных отрывков поэмы один проникнут чувствами, которых Скотту не доводилось испытывать, а другой рисует зрелище, которого он никогда не видал. Скотт до этого и Ла-Манша-то ни разу не пересек, а между тем его строки о переживаниях ски-тальца, узревшего родимый край после долгой разлуки, были у всех на устах:

Где тот мертвец из мертвецов,
Чей разум глух для нежных слов:
«Вот милый край, страна родная!»,
В чьем сердце не забрезжит свет,
Кто не вздохнет мечте в ответ,
Вновь после странствий многих лет
На почву родины вступаю?*

Еще большей известностью пользовались строфы о Мелрозском аббатстве, которые, вероятно, соблазнили на ночные прогулки к развалинам столько любителей, сколько не удавалось никаким другим строфам в английской или иной поэзии.

Кто хочет Мелроз увидеть, тот
Пусть в лунную ночь к нему подойдет.

.....
Пойди в этот час, и пойди один
Взглянуть на громады прежних руин —
И скажешь, что в жизни не видел своей
Картины прекраснее и грустней.

Лет через двадцать после выхода поэмы Скотт, «вспомнив гре-хи молодости», сделал признание, которого сам от себя не ожидал: «Повинен в том, что задурял людям головы, посылая их любоваться на развалины Мелроза в лунном свете, чем сам я никогда не занимался. И это довольно странно — я ведь часто останавливался в Мелрозе на ночлег, когда не удавалось расположиться где-нибудь поблизости; просто не верится, что мне так и не выпало случая увидеть его при луне. Тем не менее так оно и есть, и придется мне, — если я только не рискну отправиться туда ради этого, — успокоиться на мысли, что и эти руины подобны любимым готическим развалинам, виденным мною в бледном свете ночного светила». Скотт непременно показывал руины Мелроза всем своим гостям, а также многочисленным приезжим, кто делал специально крюк, чтобы взглянуть на аббатство, и нам тоже не верится, что ни один из них не пригласил его прогуляться туда лунной ночью. А может, и приглашали, да только он отправлял их одних, чтобы после с удовольствием выслушать их восторги, как, дескать, живо изобразил он этот серебристый пейзаж.

Среди почитательниц Скотта оказалась и принцесса Уэльская Каролина, получившая в 1796 году официальный развод и избравшая своей резиденцией Монтэгю-хаус в Блэкхите. В глазах англичан Каролина была в первую очередь политической фигурой. Ее бывший муж и будущий принц-регент, враждовавший со своим

* Отрывки из «Песни последнего менестреля» приводятся в переводе Т. Гнедич.

отцом Георгом III, стоял за вигов; из этого следовало, что тори выступали против него и поддерживали все и вся, чего и кого тот недолюбливал, включая Каролину. Консервативные симпатии Скотта обеспечили ему приглашение в Блэкхит, где принцесса попросила Скотта почитать его стихи. Вместо этого он прочитал стихи Джеймса Хогга, после чего имя принцессы появилось в числе подписчиков на собрание сочинений Этрикского пастуха.

Домой он вернулся убежденным тори. Когда лорда Мелвилла оправдали, сняв с него обвинение в злоупотреблении властью, Скотт написал к званому обеду, устроенному по этому случаю, хвалебную песнь, в которой вигам досталось по первое число, принцесса была объявлена «красавицей в беде», а Чарлз Джеймс Фокс уподоблен одноименной твари*. Эта песня настроила многих влиятельных вигов против Скотта, но, когда в нем распялялись чувства, он терял всякое представление об осторожности. К тому же он видел в вигах-политиканах опасность для государства, что те вскоре и доказали.

В начале 1807 года он снова приехал в Лондон: подбирал в Британском музее материалы для издания Драйдена и служил приманкой на званых вечерах. «Уверяю тебя, у меня скопился полон поднос приглашений от министров, с портфелями и без оных, — все они редкостные фигляры», — писал он жене из своей лондонской резиденции, дома № 5 по Кладбищенской улице в районе Сент-Джеймс. Он рассказывал ей, что на одном из приемов угодил «в сборище безобразнейших древних уродин, каких мне только доводилось лицезреть. Кроме этих бестолковых старых кошек, там оказалась еще занудливый политикан-англичанин с дьявольски крепкой памятью, нафаршированной именами и датами, коими он безжалостно нас поливал». Скотт дважды завтракал с маркизой Эйберкорн в ее особняке на площади Сент-Джеймс и был допущен в ее будуар — «так-то вот!». Он еще раз побывал у принцессы Уэльской, которая (писал он) «приняла меня, можно сказать, в распростертые объятия»; она продемонстрировала Скотту новые усовершенствования в своем доме и лукаво осведомилась, не боится ли он пребывать с нею наедине. Поездка в Портсмут натолкнула его на примечательные размышления: «Что мне решительно не понравилось, так это вид каторжников, работающих в железках на верфях. Свободнорожденный британец в оковах — унизительна одна мысль об этом!»

Посетил он в Лондоне и Джоанну Бейли — тогда она только что переехала в новый дом (этот дом стоит в Хэмпстеде и поныне), где ей предстояло провести остаток своей долгой жизни. Они познакомились годом раньше и были весьма друг в друге разочарованы при первой встрече: она ожидала увидеть «идеальную изысканность и тонкость черт», он же рассчитывал на знакомство с личностью яркой и красочной. Однако вскоре она обнаружила в нем доброту и пронизательность, какие с лихвой искупили отсутствие изысканности и тонкости, а он, со своей стороны, нашел в ней непосредственность, искренность и простоту, всегда пленявшие его больше, чем достоинства, которые он уповал найти.

* Фокс (англ. *fox*) — лис, лиса.

Джоанна Бейли была дочерью шотландского священника и племянницей знаменитого хирурга Джона Хантера. Она и ее сестра Агнес жили на солидный капитал, завещанный им другим дядюшкой, Вильямом Хантером, да к тому же им выплачивал содержание брат Мэтью, модный доктор, ставший личным врачом Георга III. Никто не подозревал, что в скрытной скромнице Джоанне с ее мягким шотландским акцентом, невинным личиком и безыскусными манерами кроется личность более выдающаяся, нежели заурядная сестра какого-нибудь помощника приходского священника — хорошая портниха и добрая христианка. И когда в 1798 году появился анонимный томик «Пьес о страстях», те, кто знал с Джоанной, рискнули бы заподозрить в их авторстве кого угодно, но только не ее. Пьесы не на шутку взбудоражили литературные салоны, где их вполне серьезно сравнивали с творениями Драйдена и елизаветинцев*. На сцене они не ставились, что, понятно, приводило в восторг тогдашних интеллектуалок (в то время их еще именовали «синими чулками»), ибо ничто так не роняет произведения искусства в глазах интеллектуальной элиты, как вульгарный успех у публики. Все считали само собой разумеющимся, что автором сборника должен быть мужчина, пока кто-то из современников не сделал одного глубокомысленного наблюдения: всем героиням в пьесах не меньше тридцати лет, а какому мужчине придет в голову писать героинь старше двадцати пяти. Тайну раскрыла сама Джоанна, поставив в 1800 году свое имя на титульном листе третьего издания. В том же году над ней нависла реальная угроза выйти из моды — Джон Филип Кембл и его сестра Сара Сиддонс поставили в апреле одну из пьес, «Де Монфор», на сцене театра «Друри Лейн». К счастью, постановка провалилась, и завсегдатаи салонов, облегченно вздохнув, продолжали превозносить ее гений.

Джоанна безумно любила театр и питала детскую слабость к волшебству, суевериям и сверхъестественным ужасам. Жила она во времена, когда уважающая себя женщина не могла пойти в актрисы, а потому отводила душу сочинением драм. Появились еще два выпуска «Пьес о страстях» и томик разномастных произведений для сцены. Но хотя осенью 1821 года сам Эдмунд Кин возобновил в «Друри Лейн» постановку «Де Монфора», своим первым и последним театральным успехом Джоанна обязана Вальтеру Скотту. Сегодня нам не найти и следа гения в ее многословных и безжизненных драмах, которые он считал гениальными. В ее белом стихе, исполненном по всем правилам версификации и с отменной добросовестностью, нет и проблеска вдохновения; Скотт же и в статьях и в письмах отзывался о ней так, словно она была вторым Шекспиром, разве что без чувства юмора.

Скотт был добрейшей души человеком. Ему нравилось доставлять радость другим и претило кого-нибудь огорчать. Во времена, когда драма была «отдана на милость поддлецам и уличным девкам, ибо другие театралы и покровители сцены, по всей видимости, повывелись», он считал позором, что пьесы Джоанны, исполненные высоконравственных чувств и достоинств и свидетельствующие

* Елизаветинцы — Шекспир, Бен, Джонсон, Кристофер Марло и др.

о стремлении автора правдиво отобразить человеческую природу, остаются в небрежении. К тому же он прекрасно видел, что провал на театре больно ее задел, как бы она ни пыталась это скрыть, а грядущее признание потомков, с его точки зрения, не утешало ни ее, ни его самого. Так хотя бы при жизни ей надлежало получить всю хвалу, какую он мог ей воздать. И возможно, не такое уж непомерное это было преувеличение — называть ее «лучшим драматическим сочинителем, которого Британия породила со времен Шекспира и Мэссинджера», поскольку за истекшие десятилетия на английских подмостках и впрямь не появлялось поэтических шедевров, или утверждать, что язык одной из ее пьес «по богатству и разнообразию фантазии можно сравнить разве что с языком Шекспира», поскольку ни одна драма после «Бури» богатством и разнообразием фантазии не отличалась. Восторги Скотта объясняются еще и тем, что сам он страдал маниакальной — иначе не назовешь — одержимостью белым стихом. Он был насквозь пропитан елизаветинцами, его критическое чутье притупилось, в этой области он уже не отличал поэзию от прозы, коль скоро в драме соблюдались положенный ритм и положенная длина строки.

Скотту быстро приелось служить украшением столичных гостиных, и в 1807 году, к концу своего пребывания в Лондоне, он написал Шарлотте: «Меня радует, что я скоро вырвусь из этой суеты, и вдвойне радует надежда ровно через неделю прижать к груди тебя и детей». Но еще раньше он дал Анне Сьюард обещание навестить ее, так что решил завернуть к ней по пути на пару часов в Личфилд. Эта любовьность дорого ему обошлась. Пара часов растянулась на двое суток: он говорил и декламирал либо слушал, как говорила и декламирала хозяйка. «Она великолепно читала и декламирала, а анекдоты рассказывала просто бесподобно», — отметил он. Один из рассказанных ею анекдотов лег потом в основу его новеллы «Комната с гобеленами». Ей же декламация Скотта не очень понравилась — она, по ее словам, напоминала манеру доктора Джонсона, «чтение слишком монотонное и страстное, которое не украшало ни его собственные, ни чужие творения». Но разговоры Скотта ее покорили, его память (опять же напомнившая ей о докторе Джонсоне) потрясла, а манеры очаровали. Скотт собирался ограничить свое пребывание несколькими часами, потому что его напугали ее письма; он задержался на два дня, потому что его увлекли беседы с нею.

Анна Сьюард, прозванная в свое время «Лебедью Личфилда», была синейшей из «синих чулков», интеллектуальнейшей из интеллектуалок. Личфилдский каноник, ее отец, проживал в епископском особняке на территории собора, поскольку епископы обосновались в своей сельской резиденции. После смерти отца Анна осталась в этом особняке, великолепной постройке времен Карла II, ставшей при ней средоточием культурной жизни центральных графств Англии, ибо каждый, кого туда приглашали, был обязан кое-что разумыть в литературе, музыке или живописи. Легко понять, что дама столь изысканных вкусов не могла не тяготеть к произведениям второразрядным и неизменно предпочитала их творениям истинного гения. Длинные велеречивые письма Анны, изобилующие многосложными словами и псевдомористическими оборо-

тами, полны славословий по адресу поэтических достижений таких идолов на час, как Вильям Хейли, Роберт Саути, Вильям Мейсон и Эразм Дарвин. Ее послания к Скотту вызывали у последнего острые приступы болезни, которую она сама как-то назвала «перофобией». Перспектива играть «льва» в столь «литературном» салоне повергла его в некоторый трепет, и в письме к ней он умолял не подозревать его «в глупом тщеславии и стремлении выдать себя за писателя-джентльмена». Назначение шерифом, подчеркивал он, позволяет ему «относиться к своим литературным опытам скорее как к забаве, а не источнику дохода», однако блистательнейшие писатели Англии часто вынуждены печатать свои сочинения лишь после того, как соберут предварительную подписку, — «а все нужда, бесчестье нашего века, который, может, и войдет-то в историю только потому, что прославят его они, а не кто-то другой». Он просил Анну не заблуждаться и видеть в нем не преданного литературе жреца, но «безмозглого полузаконника-полуспортсмена, в голове у которого с пяти лет гарцует кавалерия; полужайку-полубезумца, как порой заявляют ему его друзья».

При всех его страхах пребывание у Анны Сьюард увенчалось полным успехом; он был в восхищении от прямоты ее характера и от ее дара рассказчицы. После кончины Анны в 1807 году Скотт сочинил эпитафию для ее надгробия в Личфилдском соборе и выполнил обещание издать три тома ее стихов, «которые в массе своей, — доверительно сообщал он Джоанне Бейли, — совершенно чудовищны».

Дела у Скотта шли теперь как по маслу, и, если б не осложнения с двумя младшими братьями, Томом и Дэниелом, все было бы великолепно; но их эскапады омрачали его в остальном безоблачное существование. Главная слабость Скотта была чисто национальной по духу — приверженность к своему клану, семейная гордость. Избытку этого чувства он не только обязан своими дальнейшими бедами — именно оно заставило Скотта совершить единственный на памяти друзей бесчеловечный поступок и допустить единственную грубость за все время пребывания в Ашестиле. Но сперва, чтобы уже к ним не возвращаться, скажем несколько слов о его сестре и старших братьях — их роль в жизни Скотта была ничтожной. Брат Джон избравший военную карьеру, по состоянию здоровья ушел в отставку в чине майора, поселился вместе с матерью и умер в 1816 году. Человек он был скучный и больше всего на свете любил перекинуться в вист с приятелями, тоже отставными офицерами; у них с Вальтером были разные вкусы, так что виделись они редко, хотя относились друг к другу достаточно сердечно. Брат Роберт, пошедший во флот; скончался на службе в Индии в 1787 году и был погребен по морскому обычаю. Сестра Анна, всегда отличавшаяся слабым здоровьем, умерла в 1801 году.

Самый младший из братьев, Дэниел, был чрезвычайно ленив, невероятно добродушен, и ему явно недоставало чувства собственного достоинства. Он питал склонность к дурному обществу, а воли в нем было не больше, чем в обычной воде, которой, кстати, он частенько забывал разбавлять виски. Начав со службы в Америке, он ничего там не добился, потерял работу и возвратился в Эдин-

бург, где ему подыскали какую-то должность на таможне. Здесь, сообщает Скотт, у него оставалась надежда выдвинуться, «не вступи он с какой-то ловкой бабенкой в связь, чреватую мезальянсом». До мезальянса не дошло, однако на свет появился младенец, и в 1804 году Дэниел был изгнан на Ямайку. «По натуре он несколько мягок, — писал Вальтер Джорджу Эллису, — и годится лишь в подчиненные, пока не докажет своим поведением, что готов к продвижению по службе». Увы! По вест-индским канонам Дэниел был слишком мягок, а пил слишком крепко. Когда ему приказали усмирить взбунтовавшихся негров, он перетрусил и был отослан домой. Он нашел убежище у матери, но Вальтер, считавший, что тот запятнал честь семьи, не захотел с ним встречаться, а когда в 1806 году Дэниел умер, отказался явиться на похороны и носить траур. Позже Вальтер раскаялся в своем поведении. Он не только дал образование внебрачному сыну Дэниела, экипировал его для отъезда в Канаду и снабдил рекомендациями к тамошнему генерал-губернатору, но и вставил в текст романа «Пертская красавица» историю Конахара: «Этим я втайне надеялся принести искупительную жертву духу моего несчастного брата. В те дни мне не хватало терпимости и сострадания, коим я ныне обучен».

Из своих братьев он по-настоящему любил только Тома, от которого принял больше мучений, чем от всех остальных, вместе взятых, ни на йоту, однако, не изменив своего к нему отношения. Манера Тома вести себя в обществе быстро сократила доставшуюся ему от отца клиентуру, и он начал чересчур вольно распоряжаться вверенными ему деньгами. Как и отец, он осуществлял надзор за именными маркиза Эйберкорна в Даддингстоне. Вырученную арендную плату Том пустил на погашение растрат, после чего уехал из Эдинбурга, опасаясь ареста, и Вальтер взял дело в свои руки. Убедившись, что из уважения к брату кредиторы не станут его преследовать, Том вернулся в город, чтобы помочь Вальтеру ликвидировать отцовскую контору и расплатиться с его, Тома, долгами. Требовались деньги, и Вальтер в спешке закончил новую поэму, «Мармион», выручив за нее нужную сумму. То были тревожные дни — временами казалось, что гербу Скоттов не миновать вторичного поношения; однако при посредничестве ловкого адвоката Вальтер привел все в порядок, укрепил дружеские связи с Эйберкорнами и спас честь семьи. Когда хлопоты Вальтера близились к завершению, Том, прихватив жену и детей, удалился на остров Мэн, это убежище некредитоспособных должников, и зажил там на жалованье, отправляя должность экстрактора, которую брат сумел ему устроить. В его обязанности входило регистрировать постановления Высшего суда и делать из них извлечения. Будучи секретарем суда, Скотт сам назначил брата на эту должность, приносившую около 250 фунтов в год; в то же время более выгодное место с жалованьем в 400 фунтов он отдал чиновнику, много лет ожидавшему повышения. Том нанял человека, чтобы тот исполнял за него всю работу, а сам только получал деньги, не ударив и пальцем о палец.

Тогда не в пример нашему времени кумовство практиковалось в открытую, и если о назначении Тома вообще мог пойти разговор, так Скотта еще следовало бы похвалить за то, что он не вру

чил брату лучшего местечка. Но, на свою беду, Скотт оказался секретарем работавшей в тот год Судебной комиссии, которая приняла среди прочих и решение об упразднении должности экстрактора с выплатой соответствующей компенсации чиновникам, терявшим в связи с этим работу. Том по этому решению получал право на пенсию до 130 фунтов в год. Билль о реформе шотландского судопроизводства, учитывающий и многие другие рекомендации комиссии, благополучно проскочил через палату общин. Но стоило ему оказаться в палате лордов, как два ее пэра от партии вигов, граф Лодердейл и лорд Холланд, заявили протест, отметив, что Том Скотт будет получать пенсию за работу, которой не занимался, что брат его Вальтер Скотт, являясь секретарем комиссии, не мог не знать о предполагаемом упразднении должности, когда назначал на нее Тома, и что это вопиющее злоупотребление служебным положением.

Когда речь заходила о его чести и о достоинстве его клана, Скотт проявлял болезненную чувствительность; в публичных же нападках вигов были слишком много правды, чтобы не задеть его за живое. Виконт Мелвилл выступил в палате с защитой Скотта, указав, что назначение брата на менее выгодный пост свидетельствует об отсутствии у обвиняемого корыстного интереса. Закон был принят и, естественно, забыт, но Скотт не забыл о том, как вели себя пэры-виги, и, когда лорд Холланд посетил Эдинбург, случилось крайне неприятное происшествие.

«Клуб Пятницы», членами которого в то время состояли почти все видные горожане Эдинбурга, пригласил Холланда на обед. Не успев войти, Скотт заметил Холланда, полностью игнорировал его присутствие и стал мрачнее мрачного. За обедом он общался исключительно с соседями по столу и пребывал в таком бешенстве, что один из членов клуба потом удивлялся, как это он, имея в руке нож, ограничился только бараниной. Холланд, человек удивительно кроткий, попросил Скотта оказать ему честь, подняв с ним бокал. «Нет», — прорычал Скотт. Не просидев и двух часов, он с грохотом отпихнул кресло и, тяжело ступая, покинул залу. Когда за ним захлопнулась дверь, все рассмеялись.

Таким грубым Скотта еще никто не видал — в обществе он был сама обходительность. Случившееся огорчило его друзей, но сам он был очень доволен и писал Тому о том, что Холланд пытался его улестить: «Однако я помнил, какую роль сыграл он в истории с тобой, и срезал его так же легко, как гусиное перо».

Нас радует, что Скотт не умел долго злиться. Так же как раскаялся он в своем отношении к Дэниелу, так сожалел он и о своем обращении с Холландом, в чем обществе ему еще предстояло провести немало приятных минут. «Жизнь слишком коротка, чтобы тратить время на злобу», — сказал он однажды.



Глава 8

Дела человеческие

«Мармион» сразу же перевел Скотта из поэтов Пограничного края, каким он выступил в «Менестреле», в разряд общенациональных поэтов. Четыре последние песни «Мармиона» шли в набор кусками, как только Скотт успевал их закончить; ни одного отрывка он не переписывал дважды, и, хотя его подгоняла необходимость выручить Тома, это никоим образом не повлияло на радость творчества. Отныне и навсегда Скотт полюбил литературный труд, писал ли он стихи, прозу или историческое исследование. «Чем бы там ни объясняли побудительные мотивы сочинительства — жаждой славы или денежной выгодой, — сказал он в 1803 году Джорджу Эллису, — я считаю, что единственный стимул — это наслаждение, даруемое напряжением творческих сил и поисками матерьяла. На любых других условиях я писать отказываюсь — точно так же, как не стану охотиться только ради того, чтобы пообедать кроликом. Однако, коль скоро сему занятию будут сопутствовать хвала и деньги, возражать против этого было бы так же нелепо, как выбрасывать убитого кро-

лика». Творческое наслаждение он сумел передать и своему читателю, так что успех «Мармиона» повторил успех «Менестреля».

«Мармион» писался в Ашестиле: под огромным дубом у Твида, к западу от особняка, и на увенчанном высокими ясенями холме на прилегающей к имению ферме Пиль; но замысел поэмы созрел во время его верховых прогулок по окрестностям. Поэма вышла в феврале 1808 года и была раскритикована Фрэнсисом Джеффри, редактором «Эдинбургского обозрения». Будучи натурой хотя и весьма чувствительной, но совершенно глухой ко всему романтическому, Джеффри оказался неспособным по достоинству оценить ни одного из великих поэтов-романтиков своего времени. Как редактор он сделал издававшееся Констеблом «Эдинбургское обозрение» ведущим журналом тех лет, а поскольку сам он был первоклассным журналистом, то и статьи его были в журнале из самых лучших. Друзья и приятели его очень любили, зато не терпели те, кто попадался ему на перо. Скотт и Джеффри были в дружеских отношениях, так что последний, прежде чем пускать в печать свою рецензию на «Мармиона», показал ее Скотту. «А так как, по моему разумению, мир еще не производил на свет критика и автора, более *poso curantes** к своему ремеслу, мы вместе отобедали и вдволей потешились над предстоящим моим бичеванием», — писал Скотт и добавлял, что, по его убеждению, «Джеффри не столь хотел высечь преступника, сколь позабавить публику щелканьем бича».

Рецензия появилась в тот день, когда Джеффри был приглашен к Скоттам на обед, и критик немного нервничал, не зная, какой ему окажут прием. Скотт мигом развеял все его страхи, однако Шарлотта оказалась менее обходительной. За обедом обязанности хозяйки понуждали ее к вежливости, но, прощаясь с гостем, она дала волю чувствам: «Ну что ж, доброй вам ночи, мистер Джеффри. Мне говорили, что вы разбранили Скотта в «Обзрении», так я надеюсь, мистер Констебл хотя бы прилично заплатил вам за это». Не исключено, что эта вспышка вкуче с соблазнами доброжелателей как-то повлияла на Скотта, заявлявшего поначалу, будто он глух к критическим нападкам. «Не думаете же Вы, что я так глуп, чтобы обижаться на рецензию Джеффри, — писал он одному из доброхотов. — Знай я за собой предрасположенность к подобной слабости, я бы в жизни не взял в руки пера, ибо безмятежность духа превыше любых поэм и любой критики. Но я, как великовозрастный мальчуган, каковым, в сущности и являюсь, могу забавляться, пуская мыльные пузыри и ни капельки не беспокоясь при этом, полетят они по воздуху или лопнут на месте. А если уж разговоры о моих поэмах или хвалы по их адресу не приносят мне равным счетом никакой радости, то и порицание, тем паче дружеское, никак не может меня задеть, да я и не поступлюсь расположением ученого и прямодушного друга ни за какие поэмы и рецензии на свете».

Тем не менее рецензия Джеффри на «Мармиона» сыграла свою роль в том, что Скотт отказался сотрудничать в «Эдинбургском обозрении». Как бывает при контузии, боль пришла потом, а в тот миг он ничего не почувствовал. Тень от обиды, несомненно, пала

* Равнодушные, безразличные (ит.

и на Констебла — как на издателя «Обозрения» и лицо, связанное с Джеффри. Констебл был человек выдающийся, и, если бы они всегда могли общаться со Скоттом лично, минуя посредников, их отношения сложились бы много ровнее. Как Джеффри был первым из великих редакторов, так Констебл был первым из великих издателей, или книгопродавцев, как их в те времена называли. Начав с хозяина книжной лавочки, он быстро выдвинулся при своей неумной энергии и стал издавать собственную продукцию. У него хватило проницательности сделать ставку на Скотта и предложить за «Мармиона» тысячу гиней, хотя денег таких у него не было, и он попросил лондонского издателя Джона Мюррея поделить с ним расходы и прибыли, на что тот согласился, также проявив достаточно дальновидности. Успех «Мармиона» сделал Скотта в глазах Констебла вдвойне привлекательным, и он предложил поэту 1500 фунтов за подготовку к изданию сочинений Свифта, включая написание биографии, — ровно в два раза больше, чем Скотт получил за Драйдена.

Внешность Констебла производила впечатление на окружающих: румяное лицо с красивыми чертами, осанка аристократа, повадки диктатора и манеры дипломата. Он был хитер, честолюбив, хвастлив, тщеславен, изворотлив, вспыльчив и деспотичен, однако умел скрывать тщеславие и сдерживаться, когда находил это выгодным. Чем успешней шли у него дела, тем он чаще давал выход своему темпераменту, и подчиненные пребывали в постоянном трепете перед вспышками его самодержавной необузданности. На заре их знакомства Скотт отмечал: «Констебл — весьма предприимчивый и, думаю, безукоризненно честный человек, но тщеславие заставляет его порой забывать об осмотрительности... Слишком уж он заносчив». Скотт подметил и другую особенность: «Что до Констебла... то я скорее поверю, что он продаст все свое и пожертвует деньги на бедняков, чем расстанется с лишней гинеей, если ее можно попридержать». Констебла, как всех людей его типа, многие ненавидели, а последний его компаньон, он же зять, Роберт Кейделл отозвался о нем как о человеке несимпатичном, злобном, подлом, ревнивом, завистливом, мелочном, сварливом, до смешного тщеславном и насквозь фальшивом. Констебл не узнал бы себя в этом реестре пороков, который был составлен сразу же после его смерти, и справедливости ради нужно добавить, что Кейделл, хотя и страдал от деспотичной самовлюбленности старшего компаньона и тестя, сам был еще коварнее и таким же хвастуном.

Когда Скотт дал согласие готовить к изданию Свифта, компаньоном Констебла был форфарширский помещик и пьяница по имени Александр Гибсон Хантер, чьи манеры отличались бесцеремонностью, речи — несдержанностью, а политические взгляды — приверженностью вигам. Он честил Скотта за консерватизм и любил повторять, что тот не имеет права заниматься ничем другим, пока не закончит работу над Свифтом. Это был не лучший способ поладить со Скоттом, консерватизм которого был так же тверд, как решимость заниматься тем, чем захочется. Скотт решил порвать отношения с издательством Констебла.

Еще одним основанием для обиды стала политика, проводив-

шаяся журналом, который издавал Констебл и который до тех пор давал ему право считаться видным и прогрессивным издателем. Авторы-виги, писавшие для «Эдинбургского обозрения», выступили против отправки английских войск в Испанию, где разгоралась война 1808—1814 годов. Больше того, они пришли к тому, что сейчас бы назвали «пораженчеством», — превозносили мудрость Наполеона, распространялись о нецелесообразности французских армий, требовали «мира любой ценой» и предрекали Англии революцию, если войне не будет положен конец. Все это Скотт расценивал как предательство чистой воды. Он верил, что о свободе и мире не может быть и речи, пока в Европе хозяйничает Наполеон, и что Испанская война, если вести ее решительно, нанесет ему смертельный удар. Скотт понимал и то, что единственный надежный человек, способный это исполнить как требуется, — Артур Веллесли, будущий герцог Веллингтон.

Веллесли вышел победителем, но его поведение пришлось не по нраву чинушам из военного министерства, и его отозвали. Затем произошла Коруннская битва. Джон Мур был, по мнению Скотта, блестящим офицером, однако на генеральском посту ему не хватало воображения и дерзости: «Будь там Веллесли, мы бы выиграли эту битву еще под Сомасьеррой и ряды победителей пополнились бы жителями Мадрида». Скотт мечтал видеть в Испании сотысячное войско во главе с Веллесли; он хотел сам туда отправиться — не захотела жена. Но в 1809 году армия получила то, что нужно: Веллесли возвратился на Пиренеи главнокомандующим, и в 1811 году Скотт торжествовал: «Три года я твердил, что нам больше не на кого рассчитывать. Муж гениальный, он справляется с трудностями, стоит выше предрассудков и свободен от шор военной рутин; он проявил себя истинным героем и генералом там, где большинство наших военачальников потянули бы на капрала, в лучшем случае — на ротмистра». На склоне лет Скотт говорил, что Веллингтон одарен здравым смыслом в большей степени, чем любая другая историческая личность, и отмечал: «Я ставлю себе в заслугу, что предвидел его величие, когда многие считали его всего лишь неглупым рядовым офицером».

Но в 1808 году Скотта за его отношение к Веллесли и испанской войне равно подняли бы на смех и виги и тори. Чтобы выразить переполнявшие его чувства, Скотту не оставалось ничего другого, как перестать выписывать «Эдинбургское обозрение». Два года он отказывался в нем сотрудничать, теперь же отказался и читать. И снова тень обиды пала на Констебла: статьи, конечно, отбирались для публикации не им, но распространял-то журнал он. Все это не укрылось от другого пронырливого издателя, Джона Мюррея, предположившего, что рецензия на «Мармиона» вместе с политическими статьями ослабит связи между Скоттом и Констеблом и для него, Мюррея, откроется лазейка. Понимая, что к Скотту лучше всего подъехать через Баллантайна, он заказал последнему напечатать кое-какие свои издания, затем сам прибыл на север и встретился со Скоттом. Главной целью Мюррея было обсудить вопрос о выпуске нового периодического издания, призванного подорвать влияние «Эдинбургского обозрения». Скотт загорелся идеей и, хотя отклонил предложение самому стать

главным редактором, взялся за ее воплощение со всем рвением — написал друзьям, чтобы заручиться их сотрудничеством и поддержкой, а Вильяма Гиффорда, который согласился быть редактором, почтил особым советом, отправив ему длинное письмо с указаниями, что действовать им нужно осторожно, без всяких деклараций и широковещательных заявлений о своих целях: «Я, стало быть, за открытие военных действий без официального объявления войны». Джеффри почуял неладное и сообщил Скотту, что в будущем «Обозрение» воздержится от проведения политической линии какой-либо партии. Скотт ответил, что теперь поздно говорить об этом и что он давно предупреждал Джеффри о последствиях, какие может повлечь за собой превращение журнала в инструмент партийной борьбы. Джеффри заявил, что последствия его не волнуют и что на свете есть только четыре человека, которых он не хотел бы видеть своими противниками. Скотт попросил их назвать. «Хотя бы вы». — «Для меня, поверьте, это большой комплимент, и я постараюсь его заслужить». — «Как, вы собираетесь выступить против меня?» — «Да, собираюсь, если повод будет того заслуживать; не против вас лично, а против вашей политики». — «У вас есть право гневаться». — «Я не требую права на неоправданный гнев».

Первый номер мюрреевского журнала «Квартальное обозрение» вышел в начале 1809 года, и постепенно издание приобрело вес. Скотт регулярно печатался на его страницах и принимал в его судьбе самое деятельное участие — давал советы, критиковал, привлекал новых авторов. Скотт был чужд узкопартийных интересов, довольно рано постигнув, что «принципы государственных деятелей зависят либо от прихода их к власти, либо от ухода в оппозицию». Но как приверженец традиций он симпатизировал тори, а как человек здравомыслящий не верил в спасительные меры, обещанные так называемой прогрессивной партией. Он полагал, что «искusstво сделать людей счастливыми — это предоставить их в основном самим себе». С этой точки зрения, тори также были предпочтительней виггов. Но он никогда не поступался независимостью суждений в интересах партии, которую поддерживал; потому он и восхищался Джорджем Каннингом, что тот, помимо прочего, никогда не следовал партийной линии и в политике оставался силой непредсказуемой. Каннинг приложил руку к назначению Веллесли главнокомандующим на Пиренеях, захват же датского флота на копенгагенском рейде был целиком делом его рук. Он был решителен и быстр, не признавал полумер, а его перо было таким же острым, как шпаги, что он вручал другим. Каннинг был государственным мужем — и интриганом, патриотом — и политиком; одним словом, самым подходящим человеком для «Квартального обозрения», которое он и помог основать.

Дела и заботы Скотта далеко не ограничивались связями с «Квартальным обозрением». В 1809 году произошло событие, для него куда более значительное. «Слышанное ли дело, чтобы книгопродавец (то есть издатель. — Х. П.) разбирался в своем товаре или претендовал на это?» — спросил он однажды. Жаль, что сам он об этом забыл, когда основал собственное издательство. Недовольный Констблом, он решил учредить конкурирую-

щую фирму, а во главе ее поставить — тут сыграла роль его врожденная преданность друзьям — самого непригодного для этого человека: Джона Баллантайна, брата печатника Джеймса. Джон заведовал отделом готового платья в отцовском универмаге в Келсо, предварительно пройдя курс бухгалтерского учета в одном из лондонских банков. Его руководство сведось к тому, что он пустил дело на самотек, будучи чрезмерно обременен охотой, обильными возлияниями и развлечениями в веселой компании. Эти занятия отнюдь не пошли делу на пользу: родители быстро разорились и перебрались жить к старшему сыну Джеймсу, а в начале 1806 года и сам Джон получил в эдинбургской типографии Баллантайна должность письмоводителя, «за что слава Господу во веки веков», как отметил он в записной книжке. Скотта забывали чудачества братьев, и он очень к ним привязался. Джеймс был хорошим печатником, но дела вел неважно. Джон был хорошим рассказчиком, но дела вел из рук вон плохо. Своими шуточками и шутовством Весельчак Джонни окончательно приворожил Скотта. У Джонни был неисчерпаемый запас комичных историй, которые он рассказывал так смешно, что, где бы ни появлялся, вся компания заходила от хохота. Скотт питал большую слабость к потехе, веселью и живому общению. Так и получалось, что дружелюбие навлекло на него больше бед, чем любой из его недостатков, если не считать недостатком его феноменальную доброту.

Новая фирма «Джон Баллантайн и К^о» (адрес издательства — Ганноверская улица, Эдинбург) состояла из Скотта, купившего в ней половину пая, и двух Баллантайнов, из которых каждый располагал четвертью, приобретенной, судя по всему, на деньги того же Скотта, поскольку своих капиталов у них не было. Имя Скотта, однако, нигде не фигурировало, и никто не догадывался, что «Джон Баллантайн и К^о» следовало бы именовать «Акционерное общество Вальтер Скотт».

Скотт начал с того, что предложил Констеблу, если последний не против, расторгнуть договор на издание сочинений Свифта. Констебл отклонил это предложение, выразив надежду, что между ними скоро восстановится былая дружба, и фирме Баллантайна пришлось-таки обойтись без скоттовского Свифта. Однако весной 1810 года она начала свою деятельность с издания, потрясшего все страны английского языка, побившего все рекордные для поэзии тиражи и превратившего Шотландию в туристическую Мекку, — с «Девы озера».

За год до этого Скотт с женой и старшей дочерью вновь посетил край, который ему предстояло прославить. Путешествуя по Тросаксу и объезжая берега и острова озера Лох-Ломонд, он слушался столько историй про набеги и распри, что, по его словам, «дьявол рифмоплетства сорвался с цепи в моей незадачливой головшке». Строки будущей поэмы складывались сами собой и так быстро, что он не успевал их записывать. Роберту Саути он сказал, что изучил вкусы читающей публики, насколько поддается изучению столь переменчивая величина; ясно, однако, что вкусы публики совпадали с его собственными. Он сделал любопытное открытие: читателям нравится повествование в сти-

хах, особенно же написанное тем энергичным, напористым стилем, какой сам он как автор очень любил. Поэмы Скотта, возможно, и не гениальнейшие произведения, но, бесспорно, принадлежат человеку гениальному: печать свежести, мастерства и расточительной щедрости выдает в их авторе прирожденного творца, а его безразличие к их дальнейшей судьбе показывает, как легко они ему давались. «Мои стихи попадают с письменного стола в печатню с невозможной быстротой, — говорил он, — так стоит ли удивляться, что порой мне самому трудно объяснить, что я хотел в них сказать». Он никогда не приступал к поэме с заранее обдуманном сюжетом и, дописав до середины, еще не знал, чем она завершится, а после выхода в свет терял к ней всякий интерес. Своим детям он читал стихи Джона Крабба, но не читал своих собственных. «Ну-с, мисс Софья, что вы скажете о «Деве озера»?» — спросил как-то Джеймс Баллантайн. «Но я ее не читала! Папа говорит, что для молодежи самое страшное — читать плохие стихи». Похожий ответ дал и сын Вальтер, которому было тогда девять лет. Ему задали вопрос, почему столько людей восхищаются его отцом, и паренек после некоторого раздумья сказал: «На охоте он *обычно первый* заметит зайца».

Скотт не страдал ложной скромностью, но почему-то совсем не ценил своих строк, которые вскоре получили хождение наравне с обиходными выражениями, — строк вроде:

Так он стоял, к борьбе готов,
Пред лесом копий и щитов,
«А ну, кто первый? Я — скала,
Что остается, где была»*.

Примечательно, что на слова Скотта, который не умел отличить одну ноту от другой или насвистеть простенькую мелодию, все композиторы бросились сочинять песни, а певцы — эти песни исполнять. Особым успехом пользовалось:

Спи, солдат, конец войне!
Позабудь о бранном поле,
Не терзайся в сладком сне
Ни от раны, ни от боли...**

На художников поэма оказала не менее сильное впечатление, особенно первая строфа:

Олень из горной речки пил,
В волнах которой месяц плыл,
Потом он спрятался в тени
За сонным лесом Гленэртни.

Живописцы обратили на оленей свои взоры, и количества этих благородных животных, запечатленных на холстах в последующее столетие, с лихвой хватило бы, чтобы осушить не одну горную речку и превратить сонный Гленэртни в лес из оленьих рогов.

* Перевод Игн. Ивановского.

** Перевод П. Карпа.

Поэт, снискавший поистине шекспировскую славу, оставался равнодушным к хвале, которую ему единодушно воздавали все критики. Он посмеивался, узнавая о том, что приезжие берут штурмом озеро Катрин, что в Кэлландере построили роскошную гостиницу, способную разместить толпы прибывающих взглянуть на остров Элен, что некий крестьянин по имени Джеймс Стюарт сколотил маленькое состояние, показывая жаждущим описанные в поэме места, что количество почтовых дилижансов резко увеличилось ввиду обилия пассажиров, что театр «Ковент Гарден» готовится поставить «Деву» на сцене и что поездка в Тросакс стала модным увлечением, затмившим даже большое турне по Европе. Но он, понятно, был доволен несслыханными тиражами — 25 тысяч экземпляров поэмы разошлись за восемь месяцев, и на подходе были очередные три тысячи. Его слава перешагнула через Атлантику. Джентльмен из Филадельфии по имени Хью Генри Брэкенридж направил ему умоляющее письмо, в котором, ссылаясь на присущую всему человеческому роду мечту о бессмертии, просил: «Я был бы счастлив, когда б мое имя было упомянуто в Ваших божественных стихах». Видимо, Скотт не смог подыскать рифму к слову «Брэкенридж».

Несмотря на всеобщие восторги, Скотт не обманывался насчет своих поэм. Баллантайн как-то спросил его, что он думает о собственном гении по сравнению с Бёрнсом. «Какое уж тут сравнение! Я ему в подметки не гожусь», — ответил Скотт, но признался, однако, что «Лондон» и «Суетность человеческих упований» доктора Джонсона он читает с большим наслаждением, чем все другие поэтические сочинения. Успех «Девы озера» дал ему возможность наглядно продемонстрировать суетность человеческих упований.



Глава 9

«Лев» с берегов Твида

Скотт руководил издательством, готовил к печати сочинения других авторов, исполнял обязанности шерифа, проводил по полгода на сессиях Высшего суда, был секретарем Судебной комиссии, писал поэмы и при этом еще умудрялся следить за фермой и принимать в Ашестиле бесконечный поток гостей. В лучшем случае в доме могло разместиться человек десять, но как-то раз пришлось дать приют сразу тридцати двум, и места хватило. Гости наезжали без предупреждения, и Шарлотта была вынуждена их как-то принимать. Однажды заказанные в Эдинбурге припасы не были доставлены вовремя, и ей пришлось обратиться за мясом на все окрестные фермы, так что на стол подали сразу четыре бараньих ноги. Разлив Твида причинял им массу неудобств. Выходя из берегов, река нередко лишала их картофеля, зерна и сена, отрезала от городов, где можно было достать все необходимое. В те времена немало зависело от погоды. Например, в конце апреля 1808 года на горах все еще лежал снег, реки порыжели от дождей и стояли январские

холода. «Все это очень грустно, — писал Скотт, — но хуже другое: конюх твердит, что нет корма для лошадей, скотница жалуется, что коровам нечего есть, ягнята гибнут целыми дюжинами, едва появившись на свет, — и свиньи — и птица — и собаки — наконец, даже дети — все оказались под угрозой самого настоящего голода».

Один из многочисленных гостей 1808 года, Дж. Б. С. Моррит, посетивший Ашестил с женою, стал другом Скотта до конца жизни. Ученый, идеалист, сельский джентльмен и член парламента — тогда подобное сочетание было еще возможным, — Моррит много ездил по свету и основал «Клуб Путешественников». Как ученый он занимался Гомером, а как любитель древностей положил много сил и энергии на разыскание местоположения Трои, но труды его сгнули втуне, когда было доказано, что Троя находилась именно там, где согласно его тщательным выкладкам ее никак не могло быть. Он был хорошим человеком, хотя и неверующим, что приводило в расстройство достойных обывателей, убежденных, что вера — первейшее качество хорошего человека. Моррит владел роскошным имением в Рокби, графство Йоркшир, где собрал ценную коллекцию произведений искусства. Он нравился Скотту, однако, не из-за учености или любви к прекрасному, а потому, что был добряком и жизнерадостным товарищем. Отправляясь на юг Англии, Скотт частенько заезжал погостить в Рокби. Обнаружив, что в этом краю меньше легенд и сказаний, чем у него на родине, Скотт решил их выдумать и написал поэму «Рокби», которая появилась в январе 1813 года, однако не имела такого успеха, как ранее опубликованные произведения.

Все эти годы в Ашестиле он пребывал в отменном здоровье и прекрасном расположении духа, самозабвенно отдаваясь работе и развлечениям. Вспоминая впоследствии об этом времени, он сказал: «Что и говорить, я разрывался на части, но как восхитительно радостно мне жилось! Кровь бурлила в жилах — у меня было чувство, будто на свете нет ничего такого, что оказалось бы мне не по силам. Почти все мои начинания тех лет позволяли выручить из беды какого-нибудь несчастного собрата по перу. Всегда имелись груды материалов — их требовалось разобрать, обработать и разнести по указателям; тома выписок — их следовало упорядочить; всегда возникала нужда съездить куда-то, чтобы уточнить разные мелкие подробности и даты. Одним словом, я обычно мог обеспечить сносное существование полудюжине из рядов оборванного воинства Парнаса». С головой уйдя во все это, он, однако же, мог сообщить в письме и такое: «Днем я гоняюсь за зайцами, ночью бью острой лососью, так что у меня нет ровным счетом никакой охоты утруждаться на ниве поэзии или прозы. Мне стоит только начать, и дальше все идет как по маслу, но первые усилия до чрезвычайности тягостны».

Кто тихим счастьем был согрет,
Тот с грустью ловит счастья след*, —

писал он в «Деве озера», и, когда в Эдинбурге на него навалива-

* Перевод Игн. Ивановского.

лась куча обязанностей, он с легкой завистью вспоминал о счастливых денечках в Ашестиле. В 1809 году Скотт прибавил себе трудов, взявшись за организацию постановки пьесы Джоанны Бейли «Семейное предание» в Эдинбургском театре, попечителем и пайщиком которого состоял. Он уговорил Генри Сиддонса, сына Сары Сиддонс, возглавить театр, и пьеса Джоанны в его постановке стала первым новым спектаклем репертуара. Скотт так рьяно погрузился в театральные хлопоты, словно других забот у него не было: ходил на все репетиции, написал пролог, и даже костюмы шились по его указаниям.

Спектакль имел успех и шел целых две недели. «Слезы разрывали нам сердце, а аплодисменты обжигали ладони», — подытожил Скотт. Актер Дэниел Терри, занятый в спектакле, стал его близким другом и впоследствии проводил много времени в его обществе. Терри был хорошим имитатором; он часто забавлял друзей, очень похоже изображая серьезную мину и интонации Ширры. Скотт любил находиться среди артистов, его гостями бывали Чарлз Мэтьюз, Джон Филип Кембл и его сестра, великая Сара Сиддонс. Брат с сестрой и в жизни держали себя как на сцене, нередко изъясняясь в застольной беседе белым стихом. Как-то раз, обедая в Ашестиле, Сара навела ужас на мальчишку-слугу, воскликнув голосом трагедийной королевы: «Дитя, ты воду мне принес, забыв про пиво». Скотт считал ее глуповатой, тщеславной женщиной, падкой на лесть, почти лишенной здравого смысла и начисто — вкуса. «Однако же, если взять ее в целом, где еще мы увидим — я не говорю: равную ей — но хотя бы слабое ее подобие, какой была она в зените своей славы?»

Наезжая в Лондон, он каждый раз сталкивался в чужих гостиных с актерами и, проявляя к ним подчеркнутое внимание, пытался тем самым отвлечь любопытные взгляды от собственной персоны. Охоту за собой как за знаменитостью он воспринимал с неизменным добродушием, хотя признавался: «Я всегда предпочитал оставаться одиноким медведем и тихо сосать свою лапу, чем быть «львом» и ходить на задних лапах на потеху другим». Он знал, что писателям вредно состоять у общества в баловнях. «Отдаться этому ветру, может быть, и приятно, но он никого еще не привел в такую гавань, где бы мне захотелось бросить якорь», — говаривал он, обходя стороной модные салоны и позволяя себе выступать в роли «льва» исключительно ради друзей, у которых останавливался или обедал. Явившись в дом, он обычно спрашивал хозяина или хозяйку: «Ну как, играть мне сегодня «льва»? Если угодно, я буду рыкать, сколько понадобится». А после разъезда гостей со смехом цитировал Шекспира:

Но я не лев и не его подруга;
Я лишь столляр; не надобно испуга*.

Иногда он попадал в настоящую клетку со львами, где поэты вешали стихи, почитатели возносили им хвалу и все усиленно кого-то из себя строили. На одном из таких сборищ присутствовал Колридж. Он читал свои стихи под шумное одобрение приверженцев —

* «Сон в летнюю ночь». Перевод Т. Шепкиной-Куперник.

те надеялись, что буйные их восторги укажут такому всего лишь известному писателю, как Скотт, его место. Стремясь продемонстрировать, насколько Скотт-поэт уступает Колриджу, они попросили Скотта почитать что-нибудь свое. Он скромно отказался от предложенной чести, однако сказал, что прочтет несколько строф, которые недавно попались ему на глаза в провинциальной газете и которые, по его мнению, едва ли хуже только что ими прослушанных. Стихи приняли холодно, а потом и вовсе разругали. Скотт пытался взять их под защиту, и тогда кто-то назвал одну из строк совершенной бессмыслицей. Тут Колридж не выдержал: «Ради бога, оставьте вы мистера Скотта в покое — это мои стихи». Воцарилось молчание.

Скотт и в самом деле предпочитал тихий вечер в кругу друзей любому светскому сборищу. Он всегда наслаждался часами, проведенными с Джоанной Бейли у нее дома, где его не заставляли блистать талантами рассказчика или поэта. Между прочим, никогда он не ощущал себя менее похожим на «льва», чем одним темным вечером, когда возвращался от нее из Хэмпстеда: тогда, по его словам, он пережил «самые страшные минуты в своей жизни». Чтобы срезать дорогу, он пошел полем и в том месте, где тропинка бежала вдоль высокой живой изгороди, повстречал зловещего вида субъекта — то ли грабителя, то ли убийцу, то ли обоих в одном лице — который повел себя крайне подозрительно. «Как человеку, встретившему Дьявола, мне нечего было ему сказать, коль скоро и он не знал, с чем ко мне обратиться». Миновав незнакомца, Скотт, однако, заметил, как тот скользнул через дырку в изгороди, словно хотел очутиться по другую ее сторону. Именно этого он и хотел, в чем Скотт убедился, подсмотрев сквозь просветы в кустах. «Я продолжал идти в сторону перелаза, за которым начиналось открытое поле, и на каждом шагу ожидал, что негодяй вот-вот набросится на меня из укрытия; уверяю вас, того, что я натерпелся за эти пять минут, я не пожелаю и злейшему своему врагу». У Скотта имелись крепкая палка и внушительных размеров нож, он был готов дать хороший отпор и все же чувствовал себя «далеко не героем. То есть настолько мерзко, что, перебираясь через перелаз, загнал под ноготь занозу в сантиметр длиной и не только не ощутил боли, но вообще ничего не заметил».

Что до светской жизни, то здесь шотландская столица ничем не отличалась от английской. В Эдинбурге, говорил Скотт, «мы во всем подражаем Лондону: расслаживаемся так же допоздна и с той же непонятной стремительностью срываемся с одного места, чтобы помчаться в другое и найти там компанию, которой у нас никогда не хватает времени насладиться». Впрочем, и сам он не был из числа ревностных домоседов. В начале лета 1810 года он отправился на Гебриды, прихватив с собой кое-кого из семьи и нескольких друзей. Они побывали на Стаффе, Айоне, Малле и других островах, где он проникался «местным колоритом» для своей последней значительной поэмы «Владыка островов» и изучал свойства человеческой природы с той благожелательной, но и острой пронизательностью, без которой комические персонажи его будущих книг не смогли бы обрести плоть и кровь.

Его непоседливость еще раз о себе заявила вскоре после воз-

вращения с Гебрид. Если Роберт Дандес, которому предстояло наследовать от отца титул второго виконта Мелвилла, будет назначен генерал-губернатором Индии, — по секрету сообщал Скотт брату Тому, — «и если он пожелает взять меня с собой и обеспечить мне хорошее место, я без колебаний (хотя мне не приходится жаловаться на нынешнее мое положение) пошлю Высший суд и книгопродавцев к дьяволу и буду искать удачу под другими широтами». Занеси Скотта в Калькутту или в Сахару, он бы, конечно, не бросил сочинительства ни за что на свете; тем не менее он считал, что литература, это великолепное подспорье на жизненном пути, никуда не годится в роли единственной опоры и способа раздобыть на хлеб насущный. Он устал гнуть даром спину на сессиях, еще больше устал спасать предприятие Баллантайнов — с середины 1805-го по конец 1810 года он вложил в типографию и издательство не меньше 9 тысяч фунтов. Успех «Девы озера» в 1810 году на какое-то время его успокоил, а немного погодя он стал получать жалованье и за работу на сессиях. Вместе с той суммой, что давала ему должность шерифа, его служба приносила теперь до 1600 фунтов в год. Известна закономерность: чем больше у человека денег, тем крепче он за них держится. У Скотта же щедрость возрасла пропорционально доходам. «Некий помещик, — сообщал он, — выставил на стол столько шампанского и кларету, сколько нам и не выпить, но побледнел при одной мысли о том, что нужно пожертвовать на бедных пять шиллингов». Не таков был Скотт, у которого шиллинги лились из кошелька так же щедро, как за столом — шампанское и кларет. Откликнувшись на кампанию помощи португальцам, пострадавшим от испанской войны, он в 1811 году написал балладу «Видение дона Родрика», что принесло кампании сотню гиней. «Я бы с радостью отдал несчастным сто капель собственной крови, если б от этого была польза», — сказал он одному из друзей. В том же году, соблазнившись высоким спросом на «Деву озера», он кое-что приобрел.

Срок аренды Ашестила истекал в 1811 году, и Скоттам нужно было перебираться в другое место. Он давно присмотрел участок на берегу Твида, между Селкирком и Мелрозом, где пограничные кланы вели некогда последние из своих великих сражений. Участок состоял из прибрежного луга, маленькой фермы с амбаром, огородом и утиным прудом и сотни акров холмистой земли за домом. Все вместе красноречиво называлось Грязное Логово. Поскольку участок некогда принадлежал Мелрозскому аббатству, Скотт изменил это маловнушительное название на Абботсфорд и решил превратить голую пустошь в приятную тенистую рощицу, а для семьи построить особняк, который он в своих планах именовал хижинкой. Половину суммы он одолжил у старшего брата, майора в отставке, другую половину занял под еще не написанную поэму («Рокби») и уплатил 4200 фунтов за право стать настоящим помещиком. Еще не вступив во владение, он принялся наводить порядок; в марте 1812 года он сообщал, что занят расчисткой дорожек и посадкой деревьев и ходит в грязи с головы до ног. «Я мечтал купить Абботсфорд и обосноваться в таком месте, откуда мог бы попасть плевком в Твид, — объяснял он другу. — Боюсь, что без этого я бы нигде не был по-настоящему счастлив».

В конце мая 1812 года семья выехала из Ашестила, к вящему огорчению всей округи. Скотты были хорошими соседями — принимали участие во всех местных празднествах, пили, плясали и сплетничали наравне с другими, без чего всякое общение между людьми — одно притворство, посылали еду и лекарства тем, кто в них нуждался, разделяли чужие радости и чужие печали. С их переездом было связано много смешного. К этому времени Скотт обзавелся богатым набором различного смертоносного оружия, включая ружье Роб Роя и шпагу, пожалованную Монтрозу Карлом I. Скотт описывал, как позабавил соседей хвост из двадцати четырех телег, груженных «немыслимым барахлом». На повозках навалом громоздились старинные мечи, луки, пики, мишени; парни в рубашках и простоволосые девушки выступали целой ротой с удочками и копьями или же пытались управиться с пони, борзыми, спаниелями, овцами, свиньями и домашней птицей. «Выводок индюшат устроился в шлеме некоего *preux chevalier**, чья слава гремела древле в Пограничном крае, и даже коровы... плелись под грузом знамен и мушкетов». Но одного члена семьи с ними не было: любимый пес Кемп умер за три года до этого и был погребен в садике дома на Замковой улице; вся семья проводила его слезами, а Скотт не пошел, как обещал, на званый банкет, мотивируя это «смертью старого и горячо любимого друга».

В Абботсфорде по их прибытии воцарился хаос. Все пошло шиворот-навыворот. Лошади заартачились и не желали идти в конюшню; коровы и овцы, как только их выгнали на луг, разбежались во все стороны; куры разлетелись по двору; колонка не давала воды; на кухне огонь ни за что не хотел разгораться, печь не пекла и вертел заклинило; работники ругались нехорошими словами, служанки ревели в три ручья, а Шарлотта бранилась; и все бегали жаловаться друг на друга к Скотту, в кабинет, где он пытался отсидеться. Терпению его пришел конец. Он вышел из себя, вылетел из кабинета, на всех накричал, отругал кого нужно, и через полчаса все наладилось. По сути дела, их вселение напоминало оккупацию воинской частью неприятельского городка — и, как ни странно выглядит это совпадение, в тот самый час, когда Скотт перебрался из Ашестила в Абботсфорд, человек, родившийся в один с ним день, двинул свои армии из Дрездена на Москву.

* Благородный рыцарь (фр.).



Глава 10

На мели и под парусом

Под крики плотников и каменщиков, шум молотков, пил и стамесок и под болтовню домашних Скотт написал две поэмы — «Рокби» и «Невесту Трайермейна». Вторую он опубликовал анонимно через несколько недель после первой, чтобы азарта ради обмануть критиков; критики, как и следовало ожидать, обманулись. Поначалу в Абботсфорде была всего одна гостиница, в которой дети учили уроки, семья обедала, хозяин сочинял, а хозяйка принимала гостей. Большую часть времени Скотт проводил на воздухе за своим любимым увлечением — сажал деревья. Он попросил друзей прислать желуди, и желуди начали прибывать — телегами, в экипажах и на кораблях, их хватило бы, чтобы покрыть лесом всю Шотландию. Скотт копал, разравнивал, осушал и засаживал и за всем этим постепенно охладел к охоте и рыбной ловле. У него самого не оставалось времени заниматься со старшим сыном, и он взял в репетиторы Джорджа Томсона, сына мелрозского священника. Джордж хоть и был об одной ноге, ежедневно пешком ходил в Абботсфорд, а когда дом разросся,

переселился к Скоттам и прожил у них много лет. Он был высок, крепок и в придачу бесстрашный наездник; отличался добродушием, ученостью и принципиальностью. Некоторые стороны его своеобразной натуры нашли отражение в характере Домини Сэмсона из романа «Гай Мэннеринг». Скотт не уставал рекомендовать его герцогу Баклю и другим высокопоставленным лицам на свободные должности. Вскоре Абботсфорд стал таким же уютным и гостеприимным, как Ашестил, и уже через четыре месяца после переезда около полусотни каменщиков отметили победу Веллингтона на поле боя у Саламанки крепким пуншем, после чего всю ночь танцевали под волынку и скрипку вокруг костра, разведенного в непосредственной близости от стройки.

Дела Скотта шли, однако, далеко не блестяще, и в первый год своего пребывания на новом месте он провел не одну бессонную ночь. Издательство Баллантайна, открывшись под фанфары, закрылось при полном конфузе. Убеждение Скотта, что читающей публике должно понравиться то, что нравится ему самому, на практике привело к печальным последствиям: его издания затоваривались на складе, в первую очередь — «Эдинбургский еженедельник», журнал, который даже Скотту при всех его стараниях не удалось обратить в деньги. Потрясающий успех «Девы озера», видимо, вскружил головы всем трем компаньонам — вместо того чтобы вложить прибыль в расширение и укрепление дела, они начали ее тратить в расчете на безмятежное будущее. Джон Баллантайн не утруждал себя ведением бухгалтерских книг и подсчитывал на глазок, так что об истинном положении дел возникало самое извращенное представление. Братцу Джеймсу да и самому Скотту следовало бы проявить больше бдительности — им-то был известен «послужной список» Джона, — но отчеты последнего их так ублажали, что они принимали их за чистую монету. Расходы Скотта на Абботсфорд все росли. Расходы Джеймса тоже быстро увеличивались: он любил обильный и изысканный стол. Расходы Джонни по кабакам также не отставали. Скотт упрекал Джеймса за чревоугодие, а Джона за то, что тот не ведет баланса, но ни тот, ни другой не набрались смелости упрекнуть Скотта за непомерные траты на новый дом и поместье. Все трое жили в Эльдorado*, не в Эдинбурге. Чтобы собрать деньги под еще не вышедшие издания, они навывали кучу векселей, а когда подошли сроки платить по ним, расплачиваться компаньонам было нечем.

В начале 1813 года Скотт еще надеялся, что «Рокби» спасет положение, но, хотя поэма и разошлась в десяти тысячах экземпляров — тираж, от которого любой другой поэт пришел бы в неописуемый восторг, — Скотта это далеко не обрадовало. Он основательно поработал над «Рокби», даже уничтожил всю первую песню, так как она ему не понравилась, и рассчитывал, что поэма повторит успех своих предшественниц. Так бы оно скорее всего и получилось, если б тем временем Байрон не отгеснил шотландского барда на второй план своим «Чайльд Гарольдом». Положение сложилось отчаянное, и Скотт начал крепко гневаться на Джона Баллантайна, высказываясь в письмах к нему таким образом:

* Эльдorado — сказочная страна богатств и чудес.

«Советую Вам помнить о том, что закрывать глаза на истинное положение дел и вводить друзей в заблуждение — прямой путь к разорению».

«Говоря начистоту, единственное, что меня тревожит в нашем деле, — это Ваша привычка замалчивать трудности до самой последней минуты, когда мы уже на пороге разорения».

«Об одном Вас прошу — безоговорочно мне доверяйте, пишите как можно чаще и хотя бы раз в неделю давайте полный отчет, на какие средства мы можем рассчитывать... Мы разорены из-за того, что Вы слишком поздно сообщили мне о своих опасениях».

«Ради Бога, научитесь видеть во мне человека, а не дойную корову!»

Из этих отрывков явствует, что Скотту часто приходилось изыскивать деньги в самую последнюю минуту, чтобы предотвратить катастрофу. Но он должен был осознать, что его собственные расходы и любовь к неходким изданиям подорвали дела фирмы ничуть не меньше, чем бодрчество и страусова политика Вельсельчака Джонни. Наконец в мае 1813 года, хотя Скотту безумно этого не хотелось, обратились за помощью к Констеблу. Несносный компаньон последнего Хантер к этому времени приказал долго жить, однако необходимость прибегнуть к услугам Констебла была для Скотта все равно унижительной. Констебл подошел к делу с осмотрительностью. Он отказался покупать «Эдинбургский ежегодник», ежегодно приносивший убытков в тысячу фунтов, но разгрузил склад фирмы от части тиражей и за две тысячи фунтов приобрел четверть авторских прав на «Рокби». Само собой разумеется, что издательство «Джон Баллантайн и К^о» прекращает свое существование. Помощь Констебла — это было уже кое-что. И Скотт смог написать: «Впервые за много недель я усну спокойно». Но этого было мало. Требовались наличные средства. Скотт занял у Моррита и у Чарлза Эрскина, который замещал его на посту шерифа, одновременно попросив герцога Баклю за него поручиться, чтобы банк мог выдать ему ссуду в четыре тысячи фунтов. Дожидаясь ответа от герцога, Ширра впал в панику и начал подумывать об эмиграции: «Я должен расстаться с Шотландией, как расстанутся старые друзья; я не хочу жить там, где люди, некогда взиравшие на меня с почтением, будут вынуждены меня презирать. Мир велик, хотя для меня Шотландия — самый дорогой его уголок. Я прослежу, однако, чтобы все долги были выплачены по справедливости до последнего пенса, а до этого и сам не скроюсь, и не утаю ничего из своего достояния...»

Через пару дней от герцога пришло согласие, и к концу августа 1813 года Скотт уже решил, что вновь зажил припеваючи. Для него это было большим облегчением: он собирался прикупить к имени солидный земельный участок, а друга своего, актера Дэниела Терри, просил приобрести для Абботсфорда партию старинного оружия. Так что по зрелом размышлении он пришел к выводу, что перспективы не столь уже безоблачны, как выглядели поначалу. В ноябре он писал Джону Баллантайну: «А не попробовать ли мне попытать судьбу в лотерее? Билет можно купить у Сиврайта, но так как рука у Вас не очень счастливая, сами не ходите, а попросите жену или матушку оказать мне

любезность — закон вероятности им скорей подыграет. Пошлите их за билетом, а если в те места доведется завернуть мистеру Констеблу, так пусть купит он. У него счастливая рука, в этом не приходится сомневаться». Теперь Джон служил распорядителем на постоянном аукционе произведений литературы и искусства, который происходил на Ганноверской улице, и очень жаль, что заодно с издательством Скотт не прикрыл и типографии, но привязанность к Джеймсу пересилила доводы разума, а доброта заставляла его по-прежнему навязывать другим издателям заведомо убыточные сочинения бедствующих авторов. «Мне по душе *родные отпрыски* Скотта, но сохрани меня Боже от приемных детей его Музы!» — жаловался Констебл.

В разгар финансовых трудностей Скотту было сделано одно любопытное предложение. Принц Уэльский оказался его большим почитателем и очень огорчился, узнав о поездках Скотта к принцессе в Блэкхит. Стремясь отвлечь его от обольстительницы, принц просил передать Скотту, что его лондонская библиотека всегда к услугам поэта и что он был бы весьма рад с ним познакомиться. Скотту не хотелось обижать регента, и он доверительно сообщил леди Эйберкорн, что боится потерять расположение принца, если не прекратит навещать принцессу, а навещать он ее, разумеется, будет, коль скоро его приглашают. Принц от него за четыреста миль, добавил Скотт сухо, а это имеет свои преимущества. Больше того, он был о регенте не самого высокого мнения. Удивления, однако, достойно, как легко прощаем мы человеку все его недостатки, если он предлагает нам дружбу и восхищается нами, особенно в тех случаях, когда сам ничего от этого не выигрывает. В августе 1813 года скончался Генри Джеймс Пай, поэт-лауреат, и регент предложил Скотту занять его место. Нельзя сказать, чтобы Пай или его непосредственные предшественники так уж возвеличили эту должность, в свое время украшенную именами Бена Джонсона и Джона Драйдена, а в недалеком будущем прославленную Вордсвортом и Теннисоном. Вообще-то, говорил Скотт, звание поэта-лауреата превратилось в нечто нелепое. К тому же он не желал быть чем-то обязанным ни королям, ни их присным. Герцог Баклю согласился, что все это глупости, и Скотт в весьма вежливых выражениях отказался от лауреатства под тем предлогом, что «непригоден к надлежащему исполнению постоянных обязанностей по регулярному сочинительству». В то же время он выступил ходатаем за несчастного любимца муз Роберта Саути, которому написал: «Не такой уж я осел, чтобы не видеть, насколько Ваша поэзия лучше моей, хотя симпатии публики, видимо, ненадолго и оказались на моей стороне». Должность поэта-лауреата предложили Саути, и тот ее принял.

К собственной поэзии Скотт относился без малейшего пиетета. Когда в 1812 году сочинительница церковных гимнов Летиция Барболд, лестно отзывавшаяся о Скотте, предсказала упадок Великобритании и укрепление Америки во всем, что касается искусств, вооружений и державного могущества, Скотт написал Джоанне Бейли: «Ненавижу карканье; если это правда, то где же ее патриотизм, а если нет, так еще хуже... Будь это в моей власти, я бы взорвал руины Мелроза и сжег всю свою рифмованную чепуху, когда бы

счел, что и то и другое рискует пережить славу и независимость моей Родины. Все мои честолюбивые помыслы сводятся к одному: если меня и будут помнить, то пусть помнят как человека, который знал цену национальной независимости и в настоящий момент, когда ей грозит опасность, был готов отдать за нее последнего солдата и последнюю гинею, будь эта гинея моим последним имуществом, а солдат — моим собственным сыном». Опасность, на которую он ссылался, исходила не только от Наполеона, но и от Соединенных Штатов, против которых Англия три года, с 1812 по 1814 вела нерешительные военные действия попеременно на суше и на море. Дело в том, что Штаты торговали с неприятельской стороной и не одобряли попыток Великобритании этому помешать. Как бы то ни было, в конце 1813 года эпоха наполеоновских войн близилась к завершению. Эдинбург направил к принцу-регенту депутацию поздравить его с военными успехами, и Скотт по этому случаю написал торжественный адрес. Адрес привел в восторг регента, отозвавшегося о его изысканном стиле с большой похвалой, что привело в восторг членов городского совета, которые избрали Скотта почетным гражданином Эдинбурга и вручили ему памятный подарок, что, в свою очередь, привело в восторг Скотта. «К вящему ужасу бедняжки, Шарлотты, — писал он Морриту, — я выбрал подарок в виде древней английской чаши, ибо питаю к этой посудине исключительное почтение, особенно когда она полна эля, вина или иного доброго напитка». Поскольку чаша вмещала два литра с четвертью, ужас, Шарлотты можно объяснить не только пошлым выбором Скотта, но и непомерностью его жажды.

Первым человеком, за которого он поднял эту чашу, был, разумеется, регент. Скотт начал все больше и больше проникаться к нему симпатией после того, что узнал в 1812 году со слов Байрона. А узнал он следующее: «Принц отдал Вам предпочтение перед всеми мертвыми и живыми поэтами... он поставил Вас в один ряд с Гомером». С этого случая ведется начало странной, хотя и искренней дружбы между Скоттом и Байроном, двумя великими писателями эпохи, стоявшими у истоков литературного романтизма XIX века и имевшими на поверхностный взгляд лишь одно общее — хромоту, которая, постоянно напоминая им о телесной немощи, тем самым помогла развиться их своеобразному воображению. Но они походили друг на друга и еще кое в чем. Оба отличались человечностью, щедростью, чувством юмора, оба были великолепными собеседниками, хотя Байрон и страдал от приступов меланхолии и томления духа, неведомых Скотту. Короче, Байрон имел темперамент художника, тогда как Скотт был человеком светским и крепче стоял на земле увечной ногой, чем Байрон — здоровой. Их заочное знакомство произошло в неблагоприятных обстоятельствах. «Эдинбургское обозрение» восприняло первый поэтический сборник Байрона с олимпийским сарказмом, свойственным Джеффри; жертва ответила разящей сатирой «Английские барды и шотландские обозреватели», в которой неповинный во всей этой истории Скотт был заклеен как «наемный бард» и «продажный отпрыск Аполлона». Исходи эти нападки от критиков, Скотт бы попросту отмахнулся от них. Но они исхо-

дили от поэта, и Скотт почувствовал себя уязвленным. «Не могу взять в толк, — жаловался он Саути, — почему этот щенок, юный лорд Байрон, ничего про меня не зная, обругал меня за то, что я пытаюсь пером наскрести на жизнь. Куда податься голодному медведю, если ему запрещают уже и лапу сосать! Могу заверить родовитого баловня славы: в том нету моей вины, что я не наследовал обширных угодий и 5000 фунтов годового дохода, как нельзя поставить в заслугу его светлости то... что ему не приходится зарабатывать на хлеб своими литературными талантами и успехами».

Когда первые песни «Чайльд Гарольда» повергли литературный мир в безумный восторг, это произвело на Скотта сильное впечатление. Он оценил замысел песен, блестящее исполнение, накал и поэтичность, хотя и счел поэму слегка безнравственной. А вскоре Джон Мюррей рассказал ему со слов Байрона о беседе последнего с регентом, и Скотт написал собрату-поэту письмо, в котором объяснял свое материальное положение: «Желание снять с себя малейшее подозрение в корысти или низменных устремлениях перед лицом моего гениального современника, думаю — простительное желание». Байрон ответил так, как подобало человеку благородному, и весной 1815 года они встретились в Лондоне у Джона Мюррея в доме № 50 на Элбемарл-стрит. Они сразу же прониклись взаимной симпатией и, пока Скотт находился в столице, каждый день посещали Мюррея, чтобы вдоволь наговориться друг с другом. Забавное было зрелище, вспоминает издатель, когда, окончив беседу, они рука об руку ковыляли вниз по лестнице: спуск по ступенькам еще сильнее подчеркивал их хромоту. Скотт считал вероятным, что Байрон в конце концов придет к католичеству, и прямо сказал ему об этом. Байрон не стал возражать, однако, как показало будущее, дни свои он завершил в Греции, а не в Риме. Их политические взгляды существенно расходились. Скотт, например, не считал Наполеона джентльменом, тогда как Байрон сетовал, что тот не демократ. Не было между ними и полного единодушия в вопросах морали. По мнению Байрона, Скотту не повредило бы чуть-чуть больше распушенности; по мнению же Скотта, немного воздержанности пошло бы Байрону только на пользу. Но взаимное общение так их захватывало, что они не обращали внимания на подобные мелочи, и, хотя им предстояло встретиться еще всего лишь раз, осенью того же года, их дружба питалась перепиской и была скреплена поведением Скотта в обстоятельствах, заставивших ошеломленного Байрона покинуть пределы Англии.

В январе 1816 года жена Байрона объявила его сумасшедшим и ушла от него. Большинство англичан, включая друзей Скотта — герцога Баклю, леди Эйберкорн, Моррита и Джоанну Бейли, во всем винили Байрона и хотели, чтобы кто-нибудь примирил супругов. Скотт, однако, полагал, что неразумно вмешиваться, если расходуется такая чета, как Байроны, тем более чета, чья супружеская жизнь сделалась достоянием света: «Заделать подобную брешь — все равно что склеить фарфор: на вид блюдо хоть и целое, но цена ему уже не та, и в любую минуту оно может разлететься в куски». Травля поэта перешла и на его сочинения: третью песнь «Чайльд-

Гарольда» встретили с ледяной враждебностью. Скотт отказался примкнуть к травле и написал для «Квартального обозрения» поощрительную рецензию, пришедшуюся не по вкусу всем тем, кто упорно старался превратить леди Байрон в великомученицу. Байрон, понятно, был глубоко благодарен Скотту за защиту в такое время и написал ему соответствующее письмо. Скотт ответил: «Я так долго выступал за честные схватки, что не могу видеть, как двадцать псов набрасываются на одного своей же породы; тем большее омерзение вызывают во мне деревенские шавки, нападающие всем скопом на борзую благородных кровей, которая стбит их всех вместе взятых».

Скотт сожалел, что им с Байроном не довелось чаще встречаться, — он верил, что мог бы в лучшую сторону повлиять на своего друга, чья натура отличалась таким благородством. Байрон придерживался аналогичного мнения: «Как мне не повезло, что судьба не послала мне такого наставника!» Повстречай он на своем пути не одного Скотта, а нескольких, признавался Байрон, он бы уверовал в человеческую добродетель. Романы Скотта он проглатывал, как только они появлялись, повсюду их за собою таскал, знал чуть ли не наизубок, мог перечитывать их ежегодно и с неослабевающим интересом, объявил Скотта величайшим прозаиком со времен Сервантеса, посвятил ему мистерию. «Каин» и записал в дневнике: «Потрясающий человек! Мечтаю с ним выпить». Когда Стендаль намекнул, что у Скотта не столь уж идеальный характер, Байрон ответил ему из Генуи в мае 1823 года, что из всех, кого он знает, Скотт — личность самая открытая, самая достойная и самая привлекательная: «Утверждаю, что Скотт являет собой образец человека настолько прекрасного, насколько человек может быть прекрасен, ибо *знаю* это — я с ним общался».

Прекрасный характер Скотта проявился к концу наполеоновских войн, когда он и Шарлотта сделали все возможное для облегчения участи французских военнопленных, которых разместили по соседству с Абботсфордом после того, как они обязались не стремиться вновь участвовать в военных действиях. Но исключительные свойства его доброты обнаружались во время плавания в 1814 году. Наполеон уже успел разорить Европу, получить щедрую пенсию и прекрасную резиденцию на острове Эльба с видом на Средиземное море. Вскоре после ухода Бонапарта со сцены Скотт принял приглашение членом Комиссии по надзору за маяками совершить с ними плавание вдоль берегов Шотландии. К ним присоединился друг Скотта Вильям Эрскин, а возглавил эту экспедицию известный инженер-строитель Роберт Ственсон, дед будущего автора «Острова сокровищ». 29 июля 1814 года они отплыли из Лейта и сразу же угодили в шторм. «Всем худо, даже мистериу Ственсону», — отмечал Скотт на другой день. Его товарищам частенько приходилось отлеживаться, но Скотту хватило и одного раза. «Из всего, что я захватил в плавание, — писал он, Шарлотте, — самым полезным оказался зонтик, самым бесполезным — бедняга Джон. С ним нет никакого сладу, а вчера он так напился, что нынче утром я ему заявил: в Мартинмасе буду искать себе другого слугу. Он очень огорчен, но глупость, помноженная на пьянство, — это уж и в самом деле ни в какие ворота не лезет. Положа

руку на сердце, он ни разу не протрезвлялся с самого отплытия, и у меня нет больше сил ему выговаривать... Куда бы мне пристроить бедолагу?» Немногие стали бы волноваться о судьбе лакея, чьи ежедневные возлияния сделали его ни к чему не пригодным, да еще в таких обстоятельствах. В последних строках письма Скотт выражал надежду, что «кис» пребывает в добром здравии. Он не любил кошек, но один представитель семейства кошачьих был взят в Абботсфорд и наречен Хинце в честь персонажа немецких волшебных сказок, которые Скотт тогда читал детям. Со временем он сильно привязался к коту, научившись ценить достойную независимость и восхитительное ко всему безразличие кошачьего рода.

Они посетили Оркнейские и Шетлендские острова, питались солониной и галетами и шесть долгих недель наслаждались отсутствием цивилизации. Тем временем Скотт обдумывал замысел поэмы «Владыка островов» и запоминал пейзажи, каким предстояло возникнуть на страницах романа «Пират». Их яхте дважды грозила опасность попасть в плен к американскому фрегату — они даже расчищали палубу, готовясь отразить нападение. Но хотя книги Скотта и завоевали Америку, самому ему судьба не уготовила побывать за океаном. Остановившись они и на Гебридах, где заночевали в замке Данвиган на острове Скай. Скотт попросил, чтобы ему отвели комнату с привидениями: «Я чувствовал только, что провел хлопотный день, плотно пообедал, осушил бутылку отличного кларета и весьма расположен ко сну». Поэтому он крепко спал и никаких привидений не видел.

В Ирландии, где они пошли осмотреть Дорогу Гигантов, он узнал, что скончался его друг — герцогиня Баклю. Еще будучи графиней Далкейтской, она своим участием подвигла его на «Песнь последнего менестреля». Скотт очень любил как ее, так и ее мужа, с которым в свое время служил в кавалерии и который теперь стал герцогом. Дурные вести, заставившие его на минуту забыть даже про денежные заботы, повергли Скотта в глубокое горе; по прибытии в Глазго он первым делом отправил Баклю письмо с соболезнованиями. Эта утрата омрачила ему возвращение домой, которое при других обстоятельствах было бы вдвойне радостным из-за хорошей новости. За три недели до того, как он отплыл на яхте Комиссии по надзору за маяками, был опубликован роман неизвестного автора под заглавием «Уэверли». Когда же Скотт, завершив плавание, добрался до Эдинбурга, Констебл сообщил ему, что два издания романа общим тиражом в три тысячи экземпляров уже распроданы и нужно печатать третье.



Глава 11

Прекрасный человек по Байрону

А теперь остановимся и посмотрим на хозяина Абботсфорда, который готовился сменить народную славу поэта на международную славу романиста. Он был шести футов* росту, телом массивен, но не тучен, строением грудной клетки, рук и плечей напоминал Геракла. Если б не укороченная нога, его фигура, бицепсы и осанка производили бы впечатление красоты и силы. Но правой ногой он едва доставал до земли кончиками пальцев, поэтому раскачивался и переваливался на ходу, опираясь на крепкую трость каждый раз, как ступал на нее. Голова у него была вытянутой формы, причем нижняя половина лица от глаз до подбородка короче верхней на добрых полтора дюйма**. От маленьких пронизательных светло-серых глаз Скотта во все стороны лучами разбегались

* Один фут равен примерно 30,5 см.

** Один дюйм равен примерно 2,5 см.

смешливые морщинки. Когда он веселился, верхние и нижние веки смежались у него, как у птицы. Лохматые брови сильно выдавались вперед, совершенно закрывая глаза, когда он читал или писал. В молодости его волосы, обычно торчавшие патлами, были светло-рыжеватого цвета, но к пятидесяти годам поредели и поседели. Нос и подбородок у него были заурядные, рот прямой, губы тонкие. От верхней губы до носа тянулась длинная канавка. Щеки тяжелые, хотя и твердые; когда он прогуливался в одиночестве или заседал в суде, лицо принимало выражение отсутствующее, тупое и даже брезгливое. Но стоило ему увлечься беседой, как он весь менялся: глаза загорались, губы подергивались от смеха, лицо сияло добродушием. На людях каждая его черточка излучала доброжелательность, однако окружающие порой ловили на себе его хитрый, пронизывающий взгляд, словно он задумал набедокурить, но пока что держит это в секрете. Впрочем, взгляд этот во мгновение ока уступал место очаровательной улыбке, и Скотт снова был сама искренность и дружелюбие.

Как легко догадаться по его внешним данным, привычки и вкусы Скотта не отличались особой утонченностью. Он любил плотно позавтракать и легко пообедать. Завтрак состоял в основном из говяжьего ссека, холодной бараньей головы и каравай черного хлеба. С утра ублажив в себе голодного фермера, он до вечера не испытывал особого аппетита и за обедом ел столь же умеренно, сколь жадно насыщался за завтраком. Обоняние у него было не более острым, чем слух или вкус. Он не мог сказать, когда оленина с душком, а вино пахнет пробкой, не отличал хереса от мадеры, а музыку от обычного шума, однако же был равнодушен к шампанскому и кларету, виски предпочитал любому вину и с удовольствием слушал простенькие мелодии или сентиментальные песенки. Домашние вечера коротались за разговорами, пением или чтением. Он обожал читать вслух и больше всего — Шекспира, басни Драйдена и сатиры доктора Джонсона. Из современников ему нравились Джоанна Бейли, Крабб, Бёрнс, Байрон, Вордсворт и Саути. Читал он с большим подъемом, каждое действующее лицо пьесы наделял собственным голосом и интонацией, и по его лицу было видно, как глубоко он воспринимает и переживает читаемое.

Самым выдающимся его качеством, о чем единодушно свидетельствуют все хорошо его знавшие, была благожелательность. Едва ли не все, кто обращался к нему за помощью, такую получали. Томас Кэмпбелл, Теодор Хук, Бенджамен Хейдон, Вильям Годвин, Чарлз Метьюрин — всех их он выручал из беды, а также многих других писателей и художников, кто находился в стесненных обстоятельствах, за долги угодил в тюрьму или из последних сил пытался ее избежать. Помогал он и совсем незнакомым людям. Достаточно одного примера. Юноше из Кембриджского колледжа Святой Троицы, который хотел посвятить себя изучению какой-то редкой дисциплины, он послал 20 фунтов с просьбой и не думать об их возвращении, «пока фортуна не позволит Вам без ущерба для себя таким же образом порадеть другому молодому человеку, попавшему в полосу неудач». За советом к нему обращались так же часто, как за деньгами, и он никому не отказывал. Вот пример здра-

вомыслия, бывшего наряду с добротой неотъемлемой частью его природы. Речь шла о человеке, чьи стихи разругали в печати и которого следовало утешить. «Поверьте, я скорблю, что Вы принимаете это так близко к сердцу, — отвечал Скотт на его письмо. — Но когда б Вы знали истинную цену литературной известности, Вы бы и не подумали столь рьяно ее домогаться; что до Вашего решения с горя податься в монахи, то это, как мне кажется, был бы в своем роде исключительный прецедент, ибо любовь к земным красавицам загнала в келью не одного мужчину, однако Вы, несомненно, явились бы первой жертвой любви к Музам. Надеюсь, Вы простите мне эту шутку, но, если бы Вас рецензировали раз пятьсот, перевозносили и ниспровергали, расхваливали и пародировали, льстили в лицо и злословили за спиной на протяжении пятнадцати лет, Ваше решение показалось бы Вам таким же нелепым, как и мне».

Благожелательность Скотта не исчерпывалась щедростью на советы и деньги. Он не желал обижать злой критикой даже своих собратьев по перу и с юности положил себе никогда не выступать в печати с враждебными отзывами о поэзии современников. Ему было больно причинять боль другим; особенно же гнусным он считал уязвлять автора в анонимной рецензии. Из-за этой чувствительности он попадал порой в щекотливые положения. Когда Саути просил его написать рецензию на какую-то свою балладу, Скотт признался Джону Мюррею, что ему безумно трудно воздать должное ее вопиющим недостаткам и обильным достоинствам, но что-нибудь он придумает. С Саути он постоянно оказывался между Сциллой лжи и Харибдой правды, однако всегда ухитрялся найти средний путь и сохранить дружбу поэта-лауреата.

Вторым примечательным свойством Скотта (после благожелательности) была скромность, проистекавшая, возможно, из первого. Он был достаточно велик, чтобы быть скромным без ложности, однако приходится лишь дивиться той искренности, с какой он ставил поэзию Кэмпбелла, Саути и Джоанны Бейли неизмеримо выше своей. «Мне, слава Богу, неведома зависть к большим талантам», — как-то сказал он Саути, но поразительно другое: он не завидовал успеху и малых талантов, переоценивая едва ли не все литературные произведения, кроме собственных.

Когда Байрон занял его место в сердцах публики, он с чистой совестью присоединился к хору, славословящему преемника, и перешел на романы. А если б кто потеснил его и в этом жанре, он с той же искренностью выразил бы ему свое восхищение и так же легко подыскал бы для себя новую литературную форму. В писателях он не одобрял тщеславия: «Я думаю, многие начинающие авторы искусственно раздувают в себе черную зависть ко всему, что затмевает их, как они лестно ее именуют, славу; а по мне, так уж лучше обзавестись для собственного удовольствия ноготком на пальце, чем лелеять подобные чувства». О суждениях современников он был невысокого мнения, справедливо рассудив, что, нахваливая других, люди по большей части надеются получить от них той же монетой. «Из всех, кто хоть раз брался за перо, никто не питал такого жгучего отвращения к *манной кашке хвалы*, как я», — заявлял он, и еще: «Не терплю, чтобы мне наби-

вали рот леденцами, которые вежливость не дает выплюнуть, а желудок не способен переварить». Скотт решительно не мог поверить в то, что как писатель он чем-то выделяется на общем фоне. Он был лишен чванства, а поскольку сумел избавиться и от честолюбия, относился к современникам без зависти, ненависти, ревности или злости, но с отзывчивостью, восхищением, любовью и терпимостью.

Не страдая от самомнения, он жил в свое удовольствие и, хотя был «по натуре одинокая тварь», любил общество ближних. Он мирился даже с занудами — отчасти по доброте душевной, отчасти же потому, что находил общение с ними забавным и поучительным. При церкви в Росслине обитала довольно-таки бестолковая старуха, не дававшая людям прохода своими историями о местных развалинах. В один прекрасный день Скотт отправился туда с Эрскином, который выразил надежду, что они, как регулярные посетители, будут избавлены от ее утомительных рассказов. «В каждой песне есть своя тайная прелесть, ведомая только певиче, — возразил Скотт. — Сказать ей, что про все это мы уже слышали, значит огорчить бедняжку». Когда он прославился, зануды посыпались на него как из рога изобилия, но он терпел. Однажды на рауте двое молодых людей отошли к окну, пытаюсь сбежать от представителя этого племени; Скотт подковылял к ним и произнес: «Ай-яй-яй, юные джентльмены, где же ваша почтительность? Уж вы мне поверьте — требуется немало способностей, чтобы стать убежденным занудой». Скотт никогда не возмущался при свидетелях человеческими пороками и мог бы повторить вслед за Фальстафом: «Смертные люди, братец ты мой, смертные люди»*. Никто не слышал от него злых шуток по поводу чужих недостатков, а если в его присутствии разгорался спор, грозивший перейти на личности, он неизменно ухитрялся заставить спорщиков рассмеяться и забыть о распре. «Я сам на себя досаую, когда хоть на минутку поддаюсь дурному настроению, — заявлял он, — и могу с чистой совестью сказать, что при многих моих недостатках дурной нрав едва ли относится к их числу». В Шотландии религия издавна служила источником постоянных раздоров, и Скотт ненавидел фанатизм, превращавший веру «в причину и повод именно так, а не иначе подходить и к политике, и к мирским делам». Дух фанатизма чинил только зло, «разбивая семьи, натравливая детей на родителей и наставляя всех в новом, как мне думается, способе угодить в объятия дьявола, слава Господа». Джеймсу Хоггу он советовал не брать в жены женщину религиозную, ибо она того и гляди «не только окажется сама по себе стервой, но испортит настроение всякой доброй компании».

Его нелюбовь к крайностям в религии, политике и общественной жизни объясняется тем, что собственными его чувствами правил разум, а не импульс; по той же причине Скотту лучше удавалось помогать людям, чем их утешать. Сам он мог вынести столько, что с трудом находил слова сочувствия для пасующих перед бедами. Природа наградила его жизнерадостным духом, который помогал ему справляться с величайшим горем и пережи-

* Шекспир В. Генрих IV, часть I. Перевод Е. Бируковой.

вать мрачайшие часы, а воображение вкупе с чудесной памятью спасало его от долгих периодов меланхолии или пессимизма. Окажись он в тюрьме, он бы и там нашел развлечение, строя себе воздушные замки. Самые распространенные в наше время формы, говоря по-современному, «бегства от действительности» — это либо в сумасшедший дом экономики, либо в психиатричку политики. Скотт жил в нормальном мире своего воображения, которое приносило счастье и ему самому, и его читателям. Другим постоянным подспорьем была для Скотта память, и память из ряда вон выходящая. В пятьдесят четыре года он утверждал, что дословно повторит любое письмо, написанное им с пятнадцатилетнего возраста, если ему прочитают первую строчку. В разговоре с Байроном он по памяти воспроизвел «Кристалл» Колриджа, хотя слышал эту поэму один-единственный раз; многие стихотворения Вордсворта он запомнил после первого чтения. Немало поэтических отрывков, поставленных эпиграфами к главам его романов, запали ему в память еще в ранней юности. В истории человечества он, возможно, единственный пример соединения феноменальной памяти с богатым воображением.

Хитрому выражению, временами мелькавшему у него во взгляде, соответствовала одна особенность его духовного склада: он так и не расстался с упрямством и скрытностью мальчишества, и это наряду с рыцарскими грезами осталось с ним на всю жизнь. Как юношей он проявлял непонятную строптивость, отстаивая выбранный им маршрут прогулки или поездки, так и зрелым мужем он всегда стремился увильнуть от навязанного или предписанного ему дела. Если ему предлагали сделать то-то и то-то или он сам понимал, что от этого никуда не денешься, он тут же обнаруживал горячее желание заняться чем-то другим. По собственной охоте он был готов взвалить на себя до дюжины дел одновременно, считая разнообразие занятий лучшим видом отдыха, но часто не мог устоять перед соблазном не делать того, что его заставляли. Враждебность также подогревала в нем упрямство. Скотт всю жизнь боролся с этим, но так и не научился до конца сохранять свойственную ему невозмутимость, сталкиваясь с холодностью или грубостью.

Рассказами про дворянство Пограничного края, что он слышал в детстве, питались рыцарские грезы его юности, с которыми он не расстался до самой смерти и которые определили его крайне уважительное отношение к роду и титулу. В нем не было ни капли снобизма, то есть желанья подражать знати и напускать на себя вид, будто знакомствуешь с доброй половиной здравствующих пэров. Он выказывал больше почтения вождю обнищавшего шотландского клана, чем свежеиспеченному английскому лорду. Скотт любил не сам титул, но запечатленную в нем историю. Он был горд своим родом, и обретенная им слава писателя в его глазах ничего не стоила по сравнению с честью происходить от младшей ветви харденских Скоттов и состоять в клане Баклю. Как положено вассалу, он с семьей встречал рождество в доме прямого главы рода — Скотта из Хардена. Во всем этом проявился романтический дух, вдохновивший его на поэмы и романы. Но Скотт мог бы поучить подлинному демократизму и современного социалиста.

У него ни разу не возникало чувства, будто по своей человеческой сущности он выше или ниже любого из смертных. Между слугами и родными он не делал никакого различия и разговаривал с первыми как с равными. Правда, он разделял веру доктора Джонсона в необходимость общественной иерархии и, адресуясь или обращаясь к людям выше по рангу, соблюдал необходимые формальности, однако строго осуждал тех, кто оказывался недостойным своего высокого положения. «Вот к чему приводит общество подхалимов и паразитов, а также неукоснительное следование любому капризу, который взбредет в голову, так что малейшее возражение против глупой прихоти превращается в неискупимую вину». Скотт написал это об определенном лице, но данное суждение в полной мере проявляется для нас его отношение к знати, забывающей о своих обязанностях, и к приживалам, забывающим о своем достоинстве.

Об истинном отношении Скотта к людям лучше всего говорят его романы. Парадокс Скотта-писателя заключен в том, что при всем его романтическом мировоззрении главное достижение его прозы не романтически стилизованные рыцарские образы, но реалистические характеры обыкновенных людей, начисто лишенные романтического налета. «Мне не даются героические фигуры в полном смысле слова, — жаловался Скотт Морриту, — зато я питаю дурную слабость к сомнительным характерам разного рода обитателей Пограничья, пиратов, горных разбойников и других молодцов робин-гудовского склада». Но лучше всех удавались ему типы нищего, балы*, слуги, пастуха. Двойственность писателя — романтика и реалиста, преломилась в Скотте-человеке через его дружбу с герцогом Баклю и Томом Парди, через существование в одном лице помещика, хозяина Абботсфорда, и служаки в Эдинбурге.

Эта двойственность проявилась и при написании и публикации его первого романа «Уэверли». Как сказано, работа над книгой была начата несколькими годами ранее и прекращена по совету Эрскина. Через несколько лет Скотт, видимо, собирался вернуться к роману — он фигурировал в издательском проспекте Джона Баллантайна на 1809/10 год — но снова его отложил, потому что первые главы показались скучными Джеймсу Баллантайну. Прошло около пяти лет, пока автор, засунувший рукопись неизвестно куда, не наткнулся на нее в старом комодe, где хранилась рыболовная снасть. Махнув рукой на советы Эрскина и Баллантайна, он засел за работу и в три недели завершил два последних тома, хотя все это время был занят своими основными делами, включая обязанности в суде. «Справляясь с этой задачей, я получал огромное удовольствие», — сказал он, и удовольствие, судя по всему, было довольно захватывающим: некий молодой человек, изучавший право и живший тогда на улице Георга, рядом с Замковой улицей и под прямым к ней углом, видел через окно в кабинете Скотта, как его рука безостановочно строчит ночь за ночью и кипа исписанных листов непрерывно растет. Баллантайн показал роман Констеблу, и тот предложил за авторские права семь

* Балы (*ист.*) — городской судья в Шотландии.

тысяч фунтов; Скотт нашел, что сумма слишком велика, если книга провалится, но слишком мала, если она пойдет, и Констебл издал роман, договорившись, что прибыль они поделят поровну с неизвестным автором. Констебл быстро сообразил, кто именно написал «Уэверли», и со временем был посвящен в секрет; но о том, что он создал роман, Скотт не сказал никому, за исключением жены и ближайших друзей, таких как Эрскин и Моррит, да и с них взял слово сохранить это в тайне. Книга произвела фурор, и каждый эдинбургский болтун делал вид, что знает, кто ее написал. Авторство приписывали Фрэнсису Джеффри, Вильяму Эрскину, Генри Маккензи, сыну Джеймса Босуэлла, брату Скотта Тому и многим-многим другим.

Забавно, что слава неизвестного автора своим происхождением обязана одному из самых малоудачных его произведений, благодаря которому, однако, возник самый знаменитый в истории титульный лист — «Сочинение автора «Уэверли». Можно без преувеличения сказать, что никогда еще столь незрелое творение не было прародителем таких чад. Если не считать балльи Мак-Хибла, первого наброска к несравненному характеру Никола Джарви из «Роб Роя», ничто не предвещало, что «Уэверли» откроет собой новую эпоху. Тем не менее так оно и было: с «Уэверли» в литературу XIX века пришел роман, каким мы его знаем; «Уэверли» и последующие книги Скотта направили художественную литературу всех цивилизованных стран в новое русло. Сервантес убили роман, Скотт его возродил. И тот и другой произвели революцию в беллетристике, чего не скажешь наверняка больше ни об одном писателе. Через два столетия Скотт вернул к существованию то, что в начале XVII века Сервантес изгнал из жизни своим смехом, но вернул с весьма существенной поправкой: он заселил свои полотна живыми людьми и показал их с сочувствием и проникновенностью, достойными Шекспира. Однако «Уэверли», создавший своему автору имя, ему же, вероятно, и навредил. Слава «автора «Уэверли» многих заставляет именно с этой книги начинать свое знакомство со Скоттом, в результате же оно слишком часто на ней и кончается. Достаточно уже первых глав, чтобы отбить охоту браться за другие книги того же автора.

Всем, кроме немногих друзей, Скотт давал понять или заявлял открыто, что «Уэверли» написан не им; издавая последующие романы, он продолжал стойко хранить инкогнито, пока обстоятельства не вынудили его открыться. Даже леди Эйберкорн и Джоанне Бейли он не выдал секрета; дети тоже не знали, хотя, видимо, и догадывались. Не признался он в авторстве и под нажимом Байрона, Шеридана, принца-регента и Марии Эджуорт, ирландские характеры которой, заявил он, подвигли его на живописание характеров шотландских. Когда разговор об этом заходил в компании, Скотт тешился, серьезно доказывая присутствующим, что анонимные романы никак не могут принадлежать одному человеку по тем-то и тем-то причинам, причем каждая из них со всей очевидностью свидетельствовала, что написал романы не Скотт, а кто-то другой или другие. Но большинство знакомых были уверены, что замысел книг мог принадлежать только Скотту: многие эпизоды, о которых он им рассказывал, появлялись потом

на страницах романов, а поскольку Скотт относился к тем, кто «пишет, как говорит», его выдавало уже само построение фразы. Он со свойственной ему пронизательностью это предвидел, но продолжал упорствовать. «Причины, коими мы оправдываем свое поведение в собственных глазах, весьма отличаются от подлинных мотивов наших действий», — говорил он, и тем не менее прислушаемся к его объяснениям — вдруг между ними мы обнаружим главное и настоящее.

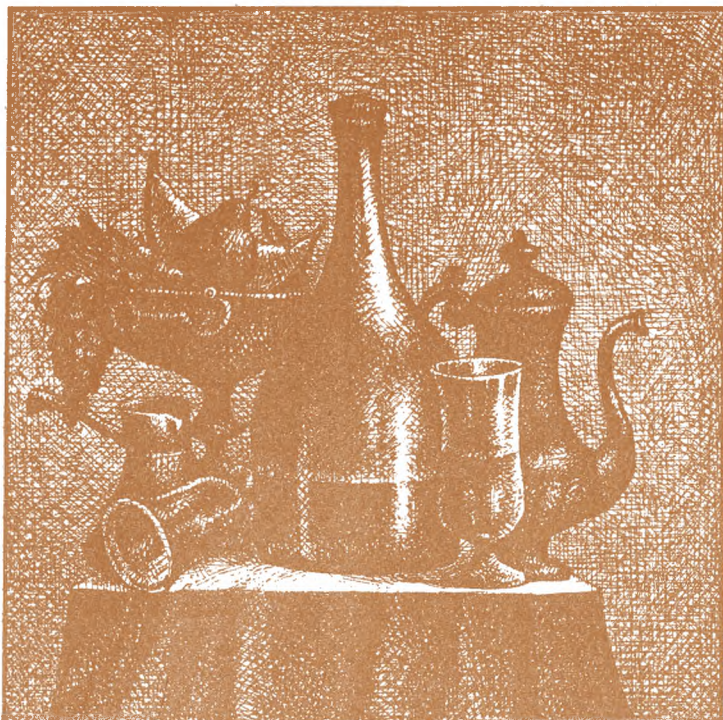
Свифт, будучи духовной особой, признал себя автором лишь одного из своих бесчисленных сочинений; Скотт тоже считал, что писание романов может рассматриваться как промысел, неподобающий секретарю Высшего суда. Скрыв свое имя, он избавлялся от гнета личной ответственности и получал возможность писать раскованней и чаще, нежели в противном случае; к тому же это спасало его от тяжелой необходимости обсуждать свои книги с каждой бестактной персоной, которой вздумалось бы к нему приставать. Опять же затея с романами могла и провалиться, а он вовсе не собирался ставить под удар свое громкое имя поэта. Если же, напротив, романы возымели бы успех, то их анонимность могла заинтриговать публику и тем самым поднять на них спрос. И наконец — тут-то и кроется главное объяснение — он приводил слова Шейлока: «Таков мой вкус»*.

Причина, о которой Скотт умалчивал, заключалась в его связях с типографией Баллантайна. В дни его юности лицам, занимающихся адвокатской практикой, не рекомендовалось иметь прямой интерес в коммерческом предприятии. От практики Скотт отошел, но остался шерифом и членом коллегии адвокатов, так что о своих торговых операциях он не смел заикнуться даже самым близким друзьям. Из одной тайны выросла другая. Когда он начал писать романы, то печатать их решил у Баллантайна; а это значило, что издателей, которые и без того не подозревали о доходах, выручаемых Скоттом от типографии, было полезно оставить в неведении и относительно личности самого автора.

Но решающее объяснение этой скрытности кроется в таких свойствах его натуры, как хитрость и озорство, та самая хитрость и то озорство, что время от времени проскальзывали в его взгляде. Он питал детскую любовь к тайнам, которую взлелеяла и укрепила его одинокая независимая юность, и, как мальчишка, упивался проказами ради самих проказ. Сокрытие истины даровало ему свободу и смех — он хотел того и другого. Теперь он мог слушать, как обсуждают его собственные романы, и лукаво вступить в разговор с миной незаинтересованного лица; он мог читать рецензии как бы со стороны и с большим удовольствием — рецензенты не называли его по имени; наконец, ему нравилось наслаждаться жизнью, скрываясь за кулисами, — и в этом он напоминал скорее финансиста, чем политика. Он мог дергать за ниточки — и куклы пускались в пляс.

Таков был его вкус: оставаться «Великим Инкогнито».

* Шекспир В. Венецианский купец. Перевод Т. Щепкиной-Куперник.



Глава 12

Второй бестселлер

Хотя издательство «Джон Баллантайн и К⁰» приказало долго жить, его склады были по-прежнему забиты неходким товаром; поэтому Скотт, вступив в переговоры с Констеблом о продаже авторских прав на «Владыку островов», упорно пытался всучить ему издания, на которые никто и смотреть-то не хотел. Но хитрый издатель не собирался захламывать свои склады тем, что он именовал «макулатурой», и предложил Скотту за половину прав на поэму 1500 гиней. Скотт согласился, «Владыка островов» увидел свет в начале 1815 года, а еще через неделю Скотт заглянул к печатнику Джеймсу Баллантайну узнать, что говорят о поэме. Джеймс замаялся. «Не стесняйтесь, друг мой, выкладывайте начистоту,—сказал Скотт.— Чего это вам вдруг надумалось разводить церемонии *со мной?* Впрочем, я, кажется, понимаю, в чем дело: без лишних слов — *разочарование?*» Молчание Джеймса говорило само за себя, и Скотт с минуту переваривал неприятную новость, но затем выказал удивление, что популярность его как поэта не кончилась еще

раньше, и весело добавил: «Ну что же, Джеймс, тут уж ничего не поделаешь. Однако духом мы падать не будем, ибо сдавать позиции нам не по средствам. Не вышло так — попробуем эдак». Говорить о неудаче поэмы можно было только применительно к Скотту: любой из его современников-поэтов, исключая Байрона, решил бы на основании того, как расходилась поэма, что стихотворство — надежный источник дохода. Но Скотт понял, что Байрон вытеснил его с рынка, и уже принял решение оставить поэзию. Он не стал ждать и гадать, как будет расходиться поэма, а успел вместо этого закончить на две трети новый роман, который вышел через пять недель после публикации «Владыки». «Гай Мэннеринг» определил собой дальнейший творческий путь Скотта и окончательно утвердил его как автора романов-бестселлеров (в современном понимании слова) — точно так же, как до этого он выступил первым поэтом, создавшим поэмы-бестселлеры.

Сюжет нового романа разработан неизмеримо лучше, чем в «Уэверли». Здесь, правда, нет еще знаменитых скоттовских характеров, однако Дэнди Динмонт понравился публике ровно настолько, чтобы его именем окрестили породу шотландских терьеров, а Мег Меррилиз — первый и лучший из персонажей Скотта, на которых лежит отблеск сверхъестественного. Но самое примечательное в «Мэннеринге» — то, что он стал предтечей детективов, наводнивших со времен Скотта книжный рынок почти во всех странах. Плейделл — первый сыщик в литературе, прообраз Баккета из «Холодного дома» Диккенса, д'Артаньяна из «Виконта де Бражелона», Каффа из «Лунного камня», Дюпена Эдгара По и конан-дойловского Шерлока Холмса. Как и в случае с «Уэверли», безразличие Скотта к художественной целостности книги, природная лень и творческая плодовитость не позволили ему выбросить начало романа, хотя сюжет его после первых глав совершенно меняется. Роман в целом свидетельствует о том, что Скотт уже сделался мастером в избранном жанре, хотя еще и не гроссмейстером. Скотт написал «Мэннеринга» за полтора месяца, главным образом для того, чтобы вернуть долг Чарлзу Эрскину. Фирме «Лонгманз», которая опубликовала роман, пришлось уплатить автору 1500 фунтов авансом и освободить Джона Баллантайна от залежалого товара на сумму в 500 фунтов.

Покончив с этим делом и убедившись в успехе романа, Скотт отплыл в Лондон с женой и старшей дочерью в марте 1815 года, то есть в тот самый момент, когда Наполеону прискучил уединенный образ жизни сельского джентльмена, и он покинул свой тихий уголок, чтобы дать на европейских подмостках прощальные гастроли, растянувшиеся на сто дней. Именно в эту поездку Скотт свел личное знакомство с Байроном и принцем-регентом; последний, узнав о скором приезде Скотта от секретаря Адмиралтейства Дж. У. Кроукера, попросил: «Дайте мне знать, когда он появится, и я устрою скромный обед для избранных, который придется ему по душе». На приеме в Карлтон-хаусе общество и впрямь было избранное — одни пары, а принц с поэтом стремились затмить друг друга, рассказывая по очереди анекдоты. Скотт поведал, в частности, историю о лорде Брэксфилде, судье, известном своей жестокостью: объявив смертный приговор своему быв-

шему приятелю, который неизменно побивал его за шахматной доской, лорд добавил: «На сей раз, Дональд, дружок, мне, похоже, удалось-таки вас заматовать». Несколько позже регент бросил на Скотта многозначительный взгляд и предложил поднять по всем правилам бокалы за здоровье автора «Уэверли». Скотт слегка опешил, но быстро нашелся и, поднявшись с кресла, выпил со всеми, присовокупив: «Ваше королевское высочество, очевидно, полагает, будто я имею к этому почетному тосту какое-то касательство. Я же отнюдь не претендую на это, но могу Вас заверить, что истинный виновник узнает о высокой чести, какую ему только что оказали». Не успели усесться, как регент провозгласил: «С вашего позволения, еще один такой же тост—за здоровье автора «Мармиона!» — и, обратившись к Скотту, добавил: «На сей раз, Вальтер, дружок, мне удалось заматовать вас».

Будучи в Лондоне, Скотт получил приглашение в Карлтон-хаус на обед для еще более узкого круга; на этом обеде принц распевал песни, а гости рассказывали фривольные анекдоты. Поэт и хозяин непринужденно побеседовали о якобитстве, причем Скотт именовал Карла Эдуарда Стюарта «Принцем», регент же называл его «Претендентом». На вопрос регента, присоединился бы Скотт к якобитам, тот ответил: «Когда б я не знал Вашего королевского высочества, у меня бы не было причин отказать им в поддержке». В письме к другу он высказал свое тщательно-взвешенное мнение о престолонаследии: «Я в жизни не употреблял слова «Претендент» — недостойное это словечко, — разве что по долгу службы требовалось давать присягу, но и тогда (Господи, прости!) всякий раз — с угрызениями совести. Говоря по правде, я рад, что не жил в 1745 году. Как адвокат я бы не мог защищать законность притязаний Карла на трон; как священник я бы не мог за него молиться; но как солдат я бы непременно и вопреки всем доводам здравого смысла пошел за него хоть на виселицу. Теперь же я нимало не опасаясь заставить свои чувства мирно уживаться с разумом, ибо чувства мои отданы Стюартам, а разум, движимый интересами всеобщего блага, склоняется в пользу нынешней династии». Обходительность и добродушие регента пленили Скотта, хотя последний и отказывался признавать за ним какие-то исключительные способности и в частной переписке именовал «нашим толстым другом». Мнение же регента о Скотте нашло материальное выражение в усыпанной бриллиантами и украшенной миниатюрой дарителя золотой табакерке, которую поэт привез с собой в Абботсфорд.

В июне 1815 года Наполеон окончательно сошел с европейской сцены и зажил в местах не столь, но все же достаточно отдаленных на казенный счет, чем вызвал к себе глубочайшее сочувствие бесчисленных английских доброжелателей, которые наперебой осыпали его щедрыми знаками благодарности и уважения. Победа при Ватерлоо довела патриотическую горячку Скотта до точки кипения. Он загорелся мыслью во что бы то ни стало побывать на поле битвы. 27 июля 1815 года Скотт и трое его друзей пустились в паломничество, причем он заранее договорился написать об этом книгу. На поле Ватерлоо война повсюду оставила свой след, а кое-где и смрад. Скотт приобрел для своего музея

несколько трофеев и получил в подарок запятнанный кровью дневник французского солдата, где среди прочего были записаны кое-какие песни, популярные в армии Наполеона. Один фламандский крестьянин по имени Да Коста открыл тогда весьма доходный промысел: утверждая, что состоял при Наполеоне в проводниках, он водил туристов по арене сражения и показывал, где якобы находился император в тот или иной момент битвы. На Скотта его рассказ произвел, видимо, сильное впечатление — он не догадывался, что весь тот день Да Коста прятался за десять миль от поля боя. Впрочем, это не помешало мошеннику до самой смерти целых девять лет безбедно существовать в счет своих воображаемых подвигов.

Проезжая через Бельгию, Скотт заметил: «Хотя французы растащили все, что могли, землю им все-таки пришлось оставить, — думаю, потому лишь, что она не помещалась в ранцах». Наслушавшись от офицеров — очевидцев сражения — рассказов про герцога Веллингтона, Скотт положил себе непременно познакомиться с этим великим человеком, чьи мужество и выдержка в минуты, решавшие исход баталии, могли сравниться лишь с его же рассудительностью и здравомыслием. Скотт не обманул в своих ожиданиях. Герцог был с ним «отменно любезен». За ужином выдающийся военачальник просил Скотта занять место рядом с собой и подробно рассказал ему о своих кампаниях, особенно о последней, про которую отозвался: «Что может быть ужаснее выигранной битвы? — Только проигранная». Из всех, с кем ему довелось встречаться, Скотт считал Веллингтона самым прямым и открытым. Восхитило его в герцоге и чувство юмора. На вопрос человека, собиравшегося на Святую Елену, не хочет ли герцог что-нибудь передать главному тамошнему квартирьеру-съемщику, Веллингтон со смехом ответил: «Передайте от меня Бонни только одно: я надеюсь, что ему так же уютно в моей старой берлоге в Лонгвуде, как мне — у него на Елисейских полях». История свидетельствует, что каждый второй военачальник, одержавший победу, не может удержаться от соблазна всячески превозносить и расхваливать противника, поскольку это прибавляет славы и ему самому. Герцогу и в голову не приходило подобное. Он не видел у Наполеона каких-либо редких или особенных талантов полководца и считал, что при Ватерлоо у того не было ни четкого плана сражения, ни четкого им руководства; одним словом, он был не лучше любого из своих маршалов.

Если Наполеону и не удалось произвести на Веллингтона должного впечатления, то герцог, несомненно, произвел таковое на Скотта. Последний как-то признался, что на своем веку беседовал с представителями всех слоев общества — с поэтами, принцами, пэрами и простолюдинами, и лишь общение с герцогом, величайшим, по его мнению, полководцем и государственным деятелем в истории, повергло его в смущение и трепет. Высказывались догадки, что и на Веллингтона встреча с великим писателем произвела сходное впечатление. «Что бы подумал герцог Веллингтон о паре-другой романчиков, которых он, скорее всего, никогда не читал, а если и держал в руках, так, весьма вероятно, не дал бы за них и ломаного гроша?» — вопрошал Скотт, и тогда и впоследствии

считавший расположение к нему герцога и его откровенность «высочайшим отличием всей жизни». В данном случае врожденная скромность Скотта, качество по большей части очень привлекательное, обернулось пороком. Считать, как считал он, что творение литературного гения во всех отношениях уступает удачной военной операции, значило обнаружить прискорбное непонимание истинной ценности того и другого. Для человечества «Макбет» важнее разгрома Непобедимой Армады, а «Пуритане» по-прежнему радуют новые поколения, утратившие всякий интерес к битве при Ватерлоо.

В Париже Скотт не скучал — бывал в театрах, посещал приемы, на глазах у публики сподобился лобызания в обе щеки от казачьего атамана, был осыпан любезностями со стороны Александра I, Кэстлери, Блюхера и иже с ними, закупал подарки для своих вассалов, таких как Том Парди, ходил на разного рода вечеринки и обедался виноградом и персиками. «Я пью и ем, как заправский француз; на ростбиф с портвейном я теперь и смотреть не стану — мне подавай фрикасе да шампанское, — писал он Шарлотте. — Что ни говори, а это прелестная страна, только люди здесь суматошные и, боюсь, так никогда и не успокоятся». Все, понятно, толковали о судьбе военных преступников. Одного из них недавно расстреляли, и это привело в ужас некую высокопоставленную даму, заявившую, что за всю свою историю Франция еще не знавала подобной жестокости. «А Бонапарт? Разве он никого не казнил такой смертью?» — поинтересовался Скотт. «Кто? Император? Никогда!» — «А герцога Энгийского, мадам?» — «*Ah! Parlez-moi d'Adam et d'Eve!*»* Дама эта вела себя ничуть не хуже многих соотечественников писателя. Скотт обратил внимание, что Наполеон понемногу становится героем в глазах своих бывших врагов. «Вся эта чушь, которую несут в Лондоне — дескать, и человек он уже не тот, и намерения у него совсем другие, — просто курам на смех», — записал Скотт 20 июня 1815 года.

По пути на родину Скотт и его друзья заночевали в Лувьере. Они заняли на постоялом дворе мансарду и, отправляясь ко сну, имели под рукой заряженные пистолеты, причем обеспокоились запереть и забаррикадировать перед этим дверь. Глубокой ночью к ним с грохотом попытались вломиться. Скотт крикнул по-английски, что пристрелит первого, кто взломает дверь. Шум мгновенно утих. На другое утро все объяснилось «прибытием застигнутых ночью путников, таких же англичан, как мы сами, которые ошиблись комнатой и, без сомнения, были озадачены раздавшимся из-за двери приветствием». В воскресенье компания отплыла из Дьеппа и во вторник благополучно высадилась в Брайтоне; плавание было утомительным, вся еда путешественников состояла из нескольких устриц да куска хлеба. «Услышав мое имя, таможенник едва взглянул на багаж; знай я заранее о такой вежливости, можно было набить чемоданы брюссельским кружевом». Ступив на родную землю, Скотт пришел в великолепное расположение духа и изнывал от нетерпения всю дорогу до Лондона. Он остановился в солидной гостинице на Бонд-стрит и в послед-

* Вспомните мне еще про Адама и Еву! (фр.).

ний раз встретился с Байроном. С ними обедали актеры Чарльз Мэтьюз и Дэниел Терри: «Мы блестяще провели время. Я еще не видывал Байрона таким веселым, проказливым, остроумным и щедрым на выдумку; он был шаловлив, как котенок». Но Скотт рухнул в Абботсфорд и быстро возобновил путешествие, завернув по пути в замки Варвик и Кенилворт.

Он возвратился под родной кров, сидел в маленькой гостиной и обменивался новостями с женой и дочками, нежась в домашнем уюте. Пока его не было, Шарлотта обила мебель самым модным ситцем и страшно огорчилась, что он этого не заметил. Не в силах сдержатъ обиду, она наконец указала ему на новый декоративный эффект. Расстроенный собственной нерадивостью, Скотт потом весь вечер только и делал, что рассыпался в восхищении перед ее вкусом. Однако яркие интерьеры, как и классические симфонии, оставляли его равнодушным. Через несколько недель Шарлотта побывала на музыкальном фестивале в Эдинбурге, где слушала музыку Генделя, Моцарта и Бетховена. Узнав, что она получила от этого огромное наслаждение, супруг остался доволен, но заметил: «А я так за всю твою изящную музыку не отдал бы и одного крика ржанки с Кейсайдских болот».

Поездка во Фландрию и Францию дала материал для «Писем Поля к родным»; написал Скотт и поэму «Поле Ватерлоо», пожертвовав прибыль от первого издания на вдов и сирот тех, кто погиб в сражении. Среди его поэтических достижений эта поэма занимает далеко не первое место, и если сегодня она приходит на память, то лишь в связи с эпиграммой анонимного критика — современника автора:

В крови на поле Ватерло
Солдат немало полегло,
Но павший мертвым — даже тот
Все ж пал не так, как Вальтер Скотт.

Впрочем, все это не выходило за рамки обычных путевых впечатлений, и он скоро заключил контракт на новый роман: «Стоит мне взять в руку перо, как оно быстренько застрочит по бумаге, — сказал он Морриту. — Порой меня подмывает выпустить его из пальцев, чтобы проверить, не начнет ли оно и помимо моей головы писать так же бойко, как с ее помощью, — заманчивая перспектива для читателя». Перо его, верно, пустилось в карьер, потому что Констебл издал «Антиквария» в мае 1816 года, примерно через четыре месяца после того, как Скотт засел за роман. Примечательно и то, что книга эта писалась в ужасных условиях. Строительство в Абботсфорде шло полным ходом, из-за груд кирпича, чанов с раствором, изразцов, шифера и лесов негде было повернуться. Плотники, каменщики, маляры и каменотесы мешали друг другу. Дымоходы коптели, а вид из окон часто заволакивали густые туманы пополам с изморосью. Пес беспрерывно шастал в комнату и из комнаты, и Скотт просил Адама Фергюсона, который иногда заглядывал к нему посидеть: «Эй, Адам! Бедной скотгине нужно на улицу»; «Эй, Адам! Несчастливая тварь просится в дом». Несколько дней он мучился флюсом и писал, поглаживая вздувшуюся щеку левой рукой. Кончив лист, он передавал его другу со словами: «Ну как, Адам, сойдет?»

«Антиквариий» понравился публике еще больше, чем два предыдущих романа, и стал любимой книгой Скотта. Работая над ним, он попросил Джона Баллантайна подыскать для эпиграфа отрывок из пьесы Бомонта и Флетчера. Джон не спешил, и Скотт, потеряв терпение, воскликнул: «Пропади оно пропадом, Джонни, мне проще самому придумать эпиграф, чем ждать, пока вы его раскопаете». Так он и сделал. С тех пор всякий раз, как ему требовалась стихотворная заставка к главе, а подходящий отрывок из сочинений других авторов не шел на память, он обходился собственной фантазией, уведомляя читателя, что сие взято из «Старинной пьесы» или «Древней баллады». «Антиквариия» Скотт любил больше остальных своих романов потому, что в характер главного персонажа Джонатана Олдбока он вложил очень много личного, а также наделил его кое-какими черточками, которые позаимствовал у приятеля юности Джорджа Констебла — чело- века, научившего мальчика любить, Шекспира. Последнего Скотт знал назубок, цитаты и парафразы из пьес Шекспира встречаются у него чуть не на каждой странице, однако ни в одной его книге мы не найдем столько сознательных или неосознанных шекспировских реминисценций, как в «Антиквариии», и этим мы также обязаны Джорджу Констеблу. Поскольку Скотт вывел здесь самого себя в комическом виде, роман всегда будет нравиться его поклонникам, а поскольку здесь же появляется и первый из великих скоттовских характеров, Эди Охилтри, книга навечно останется в числе его лучших произведений. Нельзя не заметить, однако, что где-то к середине повествования он спохватился, что начисто забыл фабулу, и в срочном порядке перевернул весь сюжет, притянув за уши тему потерянного наследника, уже разработанную в «Гае Мэннеринге». Олдбок — самый симпатичный зануда в художественной литературе: его выручает чувство юмора. Скотт, видимо, и сам был склонен приставать к людям с разговорами о древностях, но и его спасал от занудства вкус к смешному.

После «Антиквариия» Скотт по ряду причин опять поменял издателя. Баллантайны начали действовать Констеблу на нервы: он не мог понять, зачем его заставляют печатать романы в типографии Джеймса или забивать подвалы макулатурой Джона, а скрывать свои чувства он не привык. Так что одной из очевидных причин было — дать Констеблу время одуматься. Другая причина — Скотту срочно требовались деньги на реконструкцию Абботсфорда (о ней мы вскоре услышим). В те времена наличность добывалась под векселя, обеспеченные банковским кредитом, векселей же Констебла не принимали к оплате по первому требованию: он повел дело на широкую ногу и несколько превысил кредит. Следующая причина — неизменная преданность Скотта старому другу. Джон Баллантайн был у него посредником, и Скотт хотел, чтобы тот кое-что для себя выгадал на сделке; Джон же считал, что свежему издателю он продаст новый роман с большей для себя пользой. И наконец, любовь к тайне соблазнила Скотта еще раз испытать легкое верие читающей публики. Новый роман не был бы уже «сочинением автора «Уэверли» — на его титуле должно было значиться «Рассказы трактирщика». Последние якобы собрал и изложил

некий Джедедия Клейшботэм, школьный учитель и псаломщик; а так как эта «предыстория» не имела бы к Констеблю никакого отношения, Скотт воображал, будто все подумают, что у «автора «Уэверли» появился могучий соперник. Скотт однажды поделился в письме к Саути своим мнением об издателях: «Я всегда находил полезным быть в добрых отношениях сразу с несколькими книгопродавцами, никакому из них, однако, не позволяя считать меня полной своею собственностью. Книгопродавцы — что фермеры, которые процветают тем вернее, чем выше аренда, и, как правило, будут лезть вон из кожи, чтобы продать книгу, за которую дорого заплатили». В данном случае конкурирующие с Констеблом фирмы — Джон Мюррей в Лондоне и Вильям Блэквуд в Эдинбурге — тут же приняли все условия Скотта, включая покупку баллантайновских тиражей.

Но Блэквуд, вероятно, решил, что с правом на издание приобрел и право на критику; он предложил кое-что исправить в «Черном карлике», первом из «Рассказов трактирщика». Больше того — он показал рукопись Вильяму Гиффорду, редактору «Квартального обозрения», который с ним согласился, после чего сообщил свои замечания и предложения Джеймсу Баллантайну с просьбой довести их до сведения автора. Джеймс, игравший в этой истории мелкую роль почтальона, передал Скотту суть замечаний Блэквуда, забыв о том, что

Ничтожному опасно попадаться
Меж выпадов и пламенных клинков
Могучих недругов*.

Ответ Скотта напомнил ему об опасности: «Мое почтение Книгопродавцам, но я принадлежу к тем Черным Гусарам от литературы, кто и сам не лезет к другим с критикой, и не приемлет ее от других. Не знаю, с чего это им взбрело показывать мою рукопись Гиффорду, но я не поступлюсь и страницей, чтобы ублажить всех критиков Эдинбурга и Лондона, вместе взятых, и пусть все остается, как было. Какова наглость! Уж не думают ли они, что сам я без подсказки Гиффорда не пойму, что у меня хорошо, а что плохо? С них и такого довольно; пусть их лучше побеспокоят о двухстах фунтах, на которые они собирались меня надуть, а не о содержании книги... Умоляю: впредь — никакого общения с критиками. Эти *безнадежные кретины* не понимают, как они вредят мне и себе самим. Но я-то, слава Богу, ПОНИМАЮ!» Джеймс не посмел процитировать Блэквуду это письмо дословно — он послал ему смягченный вариант, предупредив на будущее, что согласен передавать автору пожелания издателя только в письменной форме. Блэквуд опомнился и принес извинения.

Первая серия «Рассказов трактирщика», включавшая «Черного карлика» и «Пуритан», увидела свет в декабре 1816 года. Джон Мюррей сообщил автору из Лондона, что если эти романы написал не Вальтер Скотт, то, значит, сам дьявол, что они встречены с горячим и единоклассным восторгом и что Холланд, когда по-

* Шекспир В. Гамлет. Перевод М. Лозинского.

интересовались его мнением, отвечал: «Какое уж тут мнение! Прощую ночь мы с семьей бодрствовали все до единого — спала только моя подагра». В ответном письме Мюррею Скотт поддержал придуманную им версию: «Уверяю Вас, я сам впервые прочел их уже в печатном виде и могу лишь вслед за всеми поздравить их автора, который описал старинные шотландские нравы столь верно и поразительно». Он еще решительней отмежевался от авторства, заявив издателю, что намерен отрецензировать оба романа. О «Черном карлике» сам он был невысокого мнения, и большинство читателей с ним бы, верно, согласились; но он понимал, что «Пуритане» — лучшее его творение. Оговариваясь на каждом шагу, что роман этот написал вовсе не он, Скотт, однако, так отзывался о нем в своих письмах: «весьма примечательная книга», «очень, очень хорош», «какой силы юмор и чувства» — и признавался, что давно уже так не смеялся, как над некоторыми его страницами.

Леди Луиза Стюарт, из числа друзей, посвященных в его тайну, процитировала в письме к нему слова, сказанные о «Пуританах» одним ее знакомым: «Это, конечно, сочинил не «автор «Уэверли» — слишком уж хороша книга. Вот «Уэверли» написал действительно Скотт. А такого он написать не мог — это ему не под силу; нет здесь и его вечных описаний, от которых одна скука». Не так уж это было глупо замечено, как показалось леди Стюарт. «Пуритане» — первый безусловный шедевр Скотта. Большое вступление, над которым нынешние читатели скорее всего будут зевать, писалось специально для того, чтобы поводить за нос читателей-современников. Но как только начинается действие, роман захватывает и не отпускает до последней страницы. Великолепны типы Берли и Клеверхауза, двух фанатиков, хотя и совершенно разного толка. И уж совсем бесподобны в книге Кадди и Моз, чьи образы выписаны с щедростью, напоминающей лучшие творения Шекспира, и в то же время есть символы общечеловеческого, как Дон Кихот и Санчо Панса. В их характерах со всей щемящей проникновенностью раскрыты отношения сына и матери — отношения, какими Сервантес, понятно, не мог наградить два бессмертных создания своего гения. «Пуритане» — первый великий исторический роман Скотта, где ведущая роль отдана индивидуальным человеческим характерам; он бы стал и последним, не напиши Скотт еще четырех книг.

Одна из них появилась сразу вслед за «Пуританами», причем в обстоятельствах, к созданию шедевров отнюдь не располагающих. 5 марта 1817 года Скотт угощал друзей обедом в своем эдинбургском доме, как вдруг вскочил из-за стола и бросился вон из комнаты с душераздирающим воплем. Для присутствующих это было как гром среди ясного неба. Все поняли, что так вести себя Скотта могла бы заставить разве что жесточайшая пытка. Боль простекла от колки в животе, но причиной всему были унаследованные от матери камни в желчном пузыре. Скотт мучился ими всю последнюю зиму, однако ничего никому не сказал, а пил, чтобы сбить недуг, кипяток и попросил совета у доктора Бейли, брата Джоанны; тот вовремя не ответил, и тут-то со Скоттом и случился приступ, который погнал его из комнаты, к ужасу всех собравших-

ся на Замковой улице. Приступы повторялись через равные промежутки, и врачи пытались выбить клин клином, подвергая его пыткам другого рода. Ему прикладывали к животу раскаленную соль, и та насквозь прожигала рубашку, но он ее даже не чувствовал.

Порой боли бывали такими сильными, что он терял сознание. От обильных кровопусканий в нем почти не осталось крови, а от частых мушек он казался заживо освеженным.

Наконец боли ослабли, и он решил, что пошел на поправку. Но лечение взяло свое: он не мог двигаться от истощения, читать от головокружения, слышать от звона в ушах и думать от общей слабости. Однако даже в таком состоянии он заявил Джоанне Бейли: «У меня нет желания покинуть этот порочный мир без благоприятного предупреждения либо раньше положенного срока». После первой серии приступов боли возвращались к нему на протяжении года, сначала через две недели, потом раз в месяц, но всегда с такой силой, что ему приходилось глотать настойку опия лошадиными дозами. Его заморили диетой, но и это не дало облегчения.

В таких-то условиях он работал над одним из самых великих своих романов — над «Роб Роем». Выход «Рассказов трактирщика» у Мюррея и Блэквуда заставил Констебла капитулировать: он рвался приобрести очередную партию баллантайновских «останков», лишь бы заполучить новый роман Скотта. С этой сделки Весельчак Джонни, который был доверенным лицом автора, выручил для себя около 1200 фунтов, а его патрон получил аванс в 1700 фунтов. В июле 1817 года Скотт побывал на могиле Роб Роя в верховьях озера Лох-Ломонд и задержался в Глазго, на «родине» своего удивительного персонажа — Никола Джарви. Однако рецидив болезни заставил его понять и прочувствовать, что по-настоящему здоровым ему уже не бывать; к тому же опий вызывал у него сильную усталость и хандру. В таком настроении, поднявшись одним тихим осенним вечером на холм к югу от Абботсфорда, он сочинил свое лучшее стихотворение «Печальная перемена»:

Зеленый холм покоем дышит,
Садится солнце за него,
И вереск ветерок колышет,
Лица касаясь моего.
Равнина предо мной простерта
В румянце гаснущего дня,
Но яркость прежних красок стерта,
Она не радуется мне.

Я равнодушными очами
Гляжу на серебристый Твид
И храм Мелроза, что веками
В поверженной гордыне спит.
Лощина. Озеро в тумане.
Деревья. Утлая ладья.
Ужель они не те, что ране?
Иль то переменялся я?

Да, холст изрезанный не в силах
Художник кистью воскресить!
Разбитой арфы струн унылых
Перстам певца не оживить!
И взор мой пуст, и чувства немы,
Кладбищем мнится сад в цвету...
Долину светлого Эдема
Здесь я вовек не обрету!*

Нет ничего удивительного в том, что Скотт находил в «Роб Рое» привкус колбас, что роман ему надоел и он поспешил поставить точку. Джеймс Баллантайн, зайдя к нему как-то за рукописью, удивился при виде чистого пера и пустого листа бумаги. «Эх-хе-хе, Джимми, — ответил Скотт, — вам легко меня торопить, но, черт возьми, как мне заставить жену Роб Роя сказать хоть пару слов, когда в потрохах у меня такой *сумбур*?» Роман появился в последний день проклятого 1817 года и увеличил и без того немалый приток туристов в Шотландию. Учитывая горестные обстоятельства, в которых создавалась эта книга, остается лишь удивляться тому, что «Роб Рой» — самый увлекательный из всех романов Скотта. Да и с точки зрения художественного мастерства, это одно из его высших творческих достижений. Никол Джарви и Эндру Ферсервис просто неподражаемы; Роб Рой — живой человек, а не романтическая фигура; сюжет великолепен, а Ди Вернон — первая героиня Скотта из плоти и крови. Правда, пресловутая счастливая развязка здесь так не вяжется с остальным сюжетом, что производит тягостное впечатление, но безразличие Скотта к подобным «мелочам» — оборотная сторона творческого гения, позволявшего ему создавать такие выразительные характеры. Этот гений был столь же небрежен, сколь плодovit; его недостатки соответствовали его достоинствам. Дарование меньших масштабов не могло бы заставить нас так сильно огорчаться из-за банальной концовки. То, что мы не можем простить ее Скотту, — доказательство его мастерства.

К этому времени никто из хоть что-нибудь знавших о Скотте не сомневался, что романы, приумножившие славу его родины, написаны именно им; однако фарс под названием «Великий Инкогнито» продолжал разыгрываться со всей серьезностью, и «крестины», что каждый раз перед выходом очередной книги устраивал у себя Джеймс Баллантайн, проходили в атмосфере тайны и строгого ритуала. На этих ставших традицией посиделках бывали многие друзья Скотта, включая герцога Баклю, но немало являлось и людей незнакомых. Угощение подавалось простое, но не дешевое — черепаховый суп, оленина и т. п., а к нему — пуниш, эль и мадера. В заключение пиришества Джеймс провозглашал: «За благополучие всех собравшихся!», следом: «За здоровье его величества, да хранит его Бог!», и наконец: «Джентльмены, есть тост, о коем ни разу не забывали и не забудут в моем доме, — предлагаю выпить за здоровье мистера Вальтера Скотта, «ура» в его честь трижды три раза!» Скотт благодарил присутствующих, как положено, миссис Баллантайн

* Перевод Г. Шамакова.

удалялась из комнаты, и бутылка портвейна пускалась по кругу. Затем Джеймс поднимался во весь рост и, уставясь пустым взглядом в пространство, произносил заговорщическим театральным шепотом: «Джентльмены, подыдем бокалы за бессмертного «автора «Уэверли»! Скотт выпивал и кричал троекратно «ура» вместе со всеми. После этого Джеймс сообщил компании, что автор непременно узнает об оказанной чести, объявлял название нового романа, за успех которого тут же и выпивали, и ужин завершался песнями и дальнейшими тостами. Скотт и его самые близкие друзья незаметно исчезали, не дожидаясь, пока начнут расходиться остальные. Гостей обносили вареным мясом и пуншем; и, как обычно, Джеймс, поупиравшись для вида, соглашался прочесть главу из новой книги.

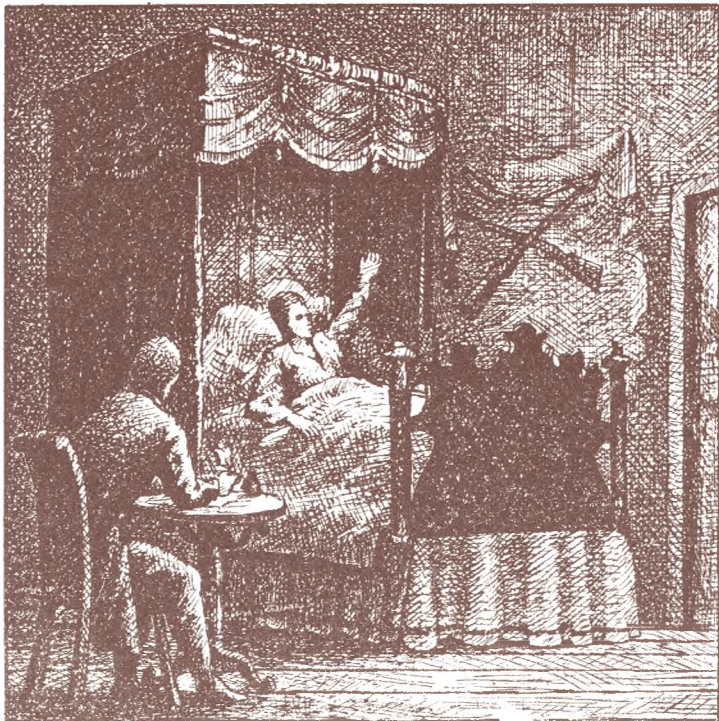
Если в Эдинбурге кто-то еще и сомневался, что «Великий Инкогнито» и Вальтер Скотт — одно и то же лицо, то следующий его роман должен был разрешить все сомнения: он являл собой полный перечень разнообразных интересов автора. Скотт хотел освободиться от последнего и самого крупного своего долга — четырех тысяч фунтов, взятых у герцога Баклю, и, дописывая «Роб Роя», попросил Джона Баллантайна предложить вторую серию «Рассказов трактирщика» Констеблу, который все еще досадовал, что упустил первую. Джон воспользовался моментом и настоял на том, чтобы Констебл приобрел заодно и последние остатки баллантайновских запасов. Прокляв его в душе, Констебл выложил 5270 фунтов за товар, не стоивший и одной трети этих денег, и дал аванс, которого Скотту вполне хватило, чтобы рассчитаться с герцогом. Серия должна была занять четыре тома, и Скотт собирался написать для нее два «рассказа», но, увидев, что первый «рассказ» — «Эдинбургская темница»* — завладевает его воображением все больше и больше, отложил второй, изданный через год под названием «Ламмермурская невеста». Теперь приступы случались со Скоттом реже, раз в пять-шесть недель; поэтому он, вероятно, и решил, что новый роман лучше «Роб Роя». Соотечественники от всей души присоединились к его мнению после того, как в июле 1818 года «Эдинбургская темница» увидела свет. Шотландские старожилы не могли припомнить, чтобы появление книги когда-либо вызывало такую бурю ликования и восторгов. Здесь было все, что дорого сердцу истинного шотландца: религия, право, споры, невинность, злодейство, революция и домашний очаг. Но самое главное — автор польстил национальному тщеславию тем, что вывел в романе безупречную шотландскую героиню — простую, безыскусную и безгрешную Дженни Динс.

При всем том «Эдинбургская темница» не из лучших книг Скотта. Роман затянут, многие страницы скудно читателю: они отмечены печатью усталости. Почтеннейший Дэви Динс — тип религиозного зануды, а Сэдлтри — юридического. В юные годы Скотт, видимо, натерпелся от тех и от других и теперь решил приобщить к своему горькому опыту читателей. Героиня слишком уж идеаль-

* Заглавие русского перевода романа; заглавие книги в оригинале — «Сердце Мидлоттиана» («The Heart of Midlothian»).

на, чтобы походить на живого человека. Ничто так не противопоставлено литературе, как живописание воплощенной добродетели, которой на самом деле не существует. Скотт наделяет ее всего одним недостатком — она немного завидует счастью сестры, но эта человеческая черточка никак не вяжется с ее характером. Мы знаем, что у Дженни Динс был живой прототип; однако дать точный слепок с отдельно взятой природы — этого еще мало, чтобы вдохнуть жизнь в творение искусства, пусть изображенная натура и будет обладать всеми мыслимыми достоинствами. Литературный характер обязан быть в меру сложным и по-человечески противоречивым, так чтобы люди находили в нем какое-то сходство с собой, а Дженни Динс Скотта, как и Крошка Нелл Диккенса*, походят разве что на ангелов. Конечно, в романе есть и великолепные места: восстание жителей и расправа над капитаном Портеусом, суд над Эффи, разговор Дженни с королевой Каролиной. Лучше всех удались Скотту отец и сын Дамбидайксы; описание кончины папаша Дамбидайкса — самая комичная сцена смерти в мировой литературе, и это поразительно, ибо писал ее человек, считавший, что сам он стоит одной ногой в могиле.

* Персонаж романа «Лавка древностей».



Глава 13

Уязвленный «лев»

Скотт навсегда распрощался с поэмами. Последняя из них — «Гарольд Бесстрашный» — вышла в начале 1817 года и продавалась достаточно бойко, чтобы порадовать любого другого, но не настолько, чтобы порадовать Скотта: покупка земельных участков и строительство дома требовали от него прозы, не поэзии. «Никогда я не любил своей поэзии, да и сейчас ею отнюдь не горжусь», — сказал он в 1822 году Джоанне Бейли. К своим стихотворным публикациям он возвращался лишь в том случае, если готовил собрание сочинений. Случайный гость Скотта мог бы подумать, что собаки ему намного ближе стихов. Несколько псов неизменно сопровождали его в Эдинбург на Замокскую улицу, а в Абботсфорде от собак просто проходу не было. После смерти Кемпа его любимцем стал Майда, помесь борзой и мастифа, с косматой, как у льва, гривой, шести футов от кончика носа до кончика хвоста и такой огромный, что когда он сидел за обедом рядом со Скоттом, то мордой доставал до верха хозяйского кресла. Могучий пес мог одолеть волка или свалить матерого оле-

ня, однако кот Хинце не давал ему воли. Как-то Скотт вышел на его жалобный вой и обнаружил, что собака «боится пройти мимо киста, который расположился на ступеньках». Внешность Майды привлекала бесчисленных художников, рвавшихся писать со Скотта портреты, так что пес фигурировал на нескольких таких полотнах, а в ряде случаев выступал моделью сам по себе. «Мне приходилось лично присутствовать на сеансах, — рассказывал Скотт об одном из этих случаев, — ибо натурщик, хотя и получал время от времени по холодной говяжьей косточке, обнаруживал признаки растущего беспокойства». В отсутствие хозяина Майда быстро приходил в ярость, и на свет появлялся намордник. В конце концов пес решительно отказался позировать, и один только вид кистей и палитры заставлял его подниматься и уныло удаляться из комнаты. Но он не мог помешать хозяину «списать» с себя двух псов — Росваля в «Талисмане» и Бивиса из «Вудстока».

Между хозяином и собакой существовало удивительное согласие: болезнь Скотта, длившаяся с небольшими перерывами три года, принесла домашним тем больше неприятных минут, что всякий раз, как Скотт вопил от боли, пес завывал из солидарности с ним. Приступы колик, ставшие в 1818 году более редкими, с началом нового года снова участились и даже усилились. В марте 1819 года Скотт испытывал нечеловеческие мучения. Боли не отпускали его по шесть-восемь часов кряду, а как-то раз приступ продолжался с половины седьмого вечера до половины пятого утра, и все это время он на глазах у охваченных ужасом домашних извивался в агонии, оглашая комнаты стонами и воплями. За приступами следовали припадочки тошноты, и ко всем его недугам прибавилась еще и желтуха. Приступы настолько его ослепляли, что он не различал, кто из дочерей Софья, а кто Анна. Три недели дочери по очереди дежурили у него днем и ночью, пока доктора приходили и уходили, прописывая наркотики, кровопускания, мушки и не пренебрегая ничем, что так или иначе могло ослабить природную сопротивляемость организма. Руки у Скотта были искромсаны ланцетом, мозг одурманен опиатами, ощущения притуплены болью; все его существование сводилось к тому, что он корчился в постели или с посторонней помощью кое-как добирался до нужника и обратно. Три недели боль оставляла его урывками да и то ненадолго; в эти дни он за несколько часов обычно поглощал шесть гранов опиума, три грана гашиша и двести капель опиевой настойки — все безрезультатно. В течение десяти дней он не мог ничего проглотить, кроме гренка с водой и чайной ложки рисового отвара, однако почти ежедневно настаивал на прогулке до дома одного из друзей. Его водружали на пони и всю дорогу поддерживали в седле — сам он не мог и пальцем пошевелить.

В таком состоянии, пользуясь минутными передышками, Скотт диктовал Джону Баллантайну или Вильяму Лейдло третью серию «Рассказов трактирщика», включавшую романы «Ламмермурская невеста» и «Легенда о Монтрозе». С Баллантайном было легче работать — он умел сдерживать свои восторги, тогда как Лейдло, захваченный тем или иным эпизодом, терял самообладание и прерывал диктовку восклицаниями: «Спаси нас, Господи!», «Подумать только!», «Вот те на!» и т. п. Когда Скотт стонал от боли, Лейдло

умолял его отдохнуть от работы, но тот отказывался: «Нет, Вилли, нет, ты только проследи, чтобы двери были закрыты. Как говорится, визгу много, да шерсти мало, однако пусть все это останется между нами. А работать я брошу лишь тогда, когда переселюсь в мир иной». Порой Скотт, не прерывая диктовки, с мучительным стоном переворачивался на другой бок. Порой же его воображение так разыгрывалось, что он поднимался с постели и в лицах представлял своих персонажей, пока снова не валился с ног.

Оба романа были опубликованы в июне 1819 года, и стоит ли удивляться тому, что, читая их в печатном виде, автор не смог припомнить ни единого эпизода, характера или диалога. «Ламмермурскую невесту» он нашел романом столь же несообразным, сколь и объемистым, хотя посмеялся над самыми неудачными его страницами. В «Монтрозе» ему понравился Дугалд Дальгетти, и, возможно, по следующей причине: «Когда мне бывало так худо, что не хватало сил и на пятиминутный разговор, я обнаружил, что, заставляя себя диктовать чушь... на какое-то время забываю о своем состоянии». Сюжет «Невесты» опирается на подлинное событие, но фактическая основа всегда мешала Скотту по-настоящему развернуться; роман мелодраматичен, характеры лишены жизни. Калейб Болдерстон — типично диккенсовская фигура: смешной эффект достигается здесь при помощи затертого театрального штампа — повторений. Крайгенгельт представляет собой вариации на тему Пистоля*. Каждый из этих двух — не более чем литературный тип, а ведь они в романе единственные интересные персонажи. «Легенда о Монтрозе» отмечена сходными недостатками. Скотт часто губил сюжеты своих романов тем, что перегружал их совершенно неинтересным историческим материалом. В данном случае он, очевидно, решил, что масса подробностей о том, как на протяжении веков менялось боевое оружие, увеличит читательский интерес к лукам и стрелам, какими пользовались некоторые шотландские кланы во времена Монтроза. Скотт грешил склонностью путать задачи историка и романиста, подменяя творческое воображение учеными справками. Великолепные эпизоды — поединок Дальгетти с Аргайлом в подземелье, бегство Дальгетти в горы и другие — теряются, как изюминка в тесте, среди описаний, приводящих на память тоскливые часы, проведенные над школьными учебниками. К тому же у Скотта было необъяснимое пристрастие к занудам, и если Дальгетти не попадает в их число, так только благодаря своему юмору — поверхностному и неестественному, хотя местами довольно смешному.

Однако самое поразительное в этих романах — то, что они вообще были написаны, ибо в истории литературы они являют собой удивительнейший пример победы духа над плотью. Скотт понимал, что не вынес бы выпавших ему испытаний, не обладая он «двужильностью лошадиной упряжки». Ему еще предстояло много помучиться, но самое страшное было уже позади; восседая на пони, он, по его словам, был «вылитый образ Костлявой». Он чудовищно исхудал, ссутулился, одежда висела на нем как с чужого плеча, лицо осунулось и пожелтело, волосы поредели и стали

* Пистоль — пройдоха из компании шекспировского Фальстафа.

белее снега. При всем том он писал Саути: «До сих пор моя частная и светская жизнь складывалась — удачнее не бывает; пусть же за темной завесой будущего меня ожидают только боль и несчастья — я их охотно приму, ибо и так уже щедро взыскан Судьбою. Проклятие страха было всегда чуждо моей натуре, и даже самая редкостная непредвиденная удача не может заставить меня жадно цепляться за жизнь».

К маю 1819 года приступы стали реже, хотя и в этом месяце приезжавшие в Абботсфорд могли слышать его вопли на значительном расстоянии от дома, а в одну из июньских ночей он решил, что умирает, и благословил детей. Чуть ли не накануне скончался его близкий друг Чарлз, герцог Баклю, и перспектива за ним последовать Скотта отнюдь не пугала. «Мне казалось невероятным, чтобы при столь огромной разнице в положении люди смогли так искренне привязаться друг к другу», — писал он. Но Скотт был не из тех, кто склонен долго предаваться мыслям о бренности человеческой жизни. Мир не теряет своей притягательности оттого, что в нем умирают люди. И Скотт отвлекся от печальных дум, приступив к работе над новым романом еще до того, как два предыдущих увидели свет. Эту книгу он тоже в основном диктовал, корчась от приступов, терзаясь болью, слабостью, тошнотой и пребывая в угнетенном состоянии, когда «не мог связать и двух слов». Ему и на сей раз хотелось перещеголять самого себя, издав новый роман как дебют начинающего автора; он даже попросил Констебла, чтобы для книги подобрали совсем другие шрифты и формат, чем для предшествующих романов. Но Констебл отговорил его от этой затеи, и в декабре 1819 года «Айвенго» появился как очередное сочинение «автора «Уэверли», хотя Скотт не смог отказать себе в удовольствии озадачить публику предупреждением к роману. В Англии книга имела грандиозный успех — больший, нежели любая из ее предшественниц, и стала настольной у трех поколений мальчишек.

Теперь-то мы понимаем, что тогда все расхваливали «Айвенго» лишь потому, что роман был в новинку. В «Айвенго» черпали вдохновение Дюма, Конан Дойл и многие другие, но из-за болезни Скотта собственное его вдохновение здесь как-то полиняло: ткань книги так плотно расшита историей, что действие задыхается в этом роскошном убранстве. Автору не удается вдохнуть жизнь в действующих лиц, и их судьба оставляет нас равнодушными. Батальные сцены поставлены хорошо, но и только: другого про них не скажешь, потому что все они взяты из театральной бутафорской. Время действия отнесено здесь далеко в историю, и это усугубляет монотонность сюжета и неестественность характеров романа, своим мгновенным успехом в Англии обязанным, возможно, отчасти и тому, что обитатели юга страны возрадовались, не обнаружив в нем надоевшего шотландского диалекта. К сожалению, слава Скотта в значительной степени опирается именно на «Айвенго» — поэтому, видимо, она так потускнела за последнее время. Лучшая сцена романа, рассказ Ревекки о штурме замка, отмечена напряженным драматизмом и свидетельствует, что Скотт так же легко мог бы приспособить свой гений для сцены, как переключил его от поэзии на прозу. Ему часто доку-

чали просьбами написать пьесу, и причины, по которым он отказывался, заслуживают особого разговора.

Когда это бывало возможным, он посылал гранки еще печатавшихся романов Дэниелу Терри, который делал по ним постановки («пужаловки», как называл их Скотт), пожиная с оных приличную мзду. Стоило появиться новому роману Скотта, как на подмостках появлялась и его инсценировка, причем за право на постановку директора театров устраивали форменные гонки; Терри, находясь на привилегированном положении, обставлял других, как правило, на полголовы. В 1823 году лондонские театры только и держались, что пьесами по романам Скотта. Обеспечив существование стольким людям, автор радовался этому, а что сам он не получал с постановок ни гроша, его нисколько не тревожило. Он даже написал пьесу специально для Терри, предоставив актеру полную свободу делать с ней все, что угодно, и распоряжаться доходами с постановки по своему усмотрению. Но когда ему предлагали написать пьесу под собственным именем или под именем «автора «Уэверли», он отказывался, раскрыв в письме к Саути (апрель 1819 года) настоящую причину отказов:

«Писать для вульгарных, невежественных и самодовольных актеров, которых необходимо улаживать, поскольку в их руках ваш успех драматурга, — нет уж, увольте! Как бы понравилось Вам или как бы, по-Вашему, понравилось мне получить письмо, какое Кин отправил недавно одному несчастному автору? Автор, конечно, — надутый болван, но все равно имел право хотя бы на вежливое обращение со стороны этого разряженного горлопана, которого успех и тщеславие лишили последних остатков здравого смысла. К тому же, даже если отвлечься от этого довода, характер лондонской публики, по моему разумению, таков, что я не вижу ровным счетом никакого наслаждения в том, чтобы доставлять наслаждение ей. Одни ходят в театр предаваться разврату и занимаются этим так откровенно, как постыдились бы и в борделе. Другие являются вздремнуть после сытного бифштекса и портвейна. Третьи — это критики с четвертой газетной полосы. Вкусом, остроумием или литературой тут и не пахнет».

Выход «Айвенго» ознаменовал и конец трехлетней голгофы Скотта. Он верил, что ему помогла хлористая ртуть, которую он долгое время принимал маленькими дозами; так оно, возможно, и было. И все же выдержать лечение ему позволило только одно — недюжинная крепость организма. Но с отступлением болезни на него обрушились другие несчастья. В конце 1819 года он за одну неделю лишился и матери, и ее брата с сестрой, своих дядюшки и тетушки Резерфордов. Старая миссис Скотт продолжала называть его «Уотти, ягненок мой» вплоть до той минуты дней за десять до смерти, когда потеряла дар речи после кровоизлияния в мозг. Она отклоняла все попытки Скотта помочь ей деньгами. «Матушка знает, что мой кошелек, как то положено, всегда был и останется в полном ее распоряжении», — говорил он, но ей более чем хватало собственного годового дохода в 300 фунтов, из которых не менее трети шло на благотворительные цели: на остальное миссис Скотт жила безбедно, оказывая еще и немалое гостеприимство. Все похоронные хлопоты Скотт взял на себя.

Другу он писал: «Вы не представляете, что я почувствовал, когда обнаружил скромные подарки к рождеству, ею загодя для нас приготовленные, ибо она хранила верность старым обычаям своего времени, — и понял, что доброе сердце, находившее радость в бескорыстных деяниях любви, перестало биться».

К счастью для Скотта, в нем вновь пробудился воинский пыл, и это облегчило ему печаль, неизбежную спутницу таких прощаний. В ноябре — декабре 1819 года возникли волнения среди горняков Нортумберленда и ткачей Восточной Шотландии. Правительство раздуло из мухи слона, выдав эти вспышки недовольства за восстание, чем привело общество в панику. Скотт понимал, что рост промышленного производства дал хозяевам бесконтрольную власть над наемными рабочими; с другой стороны, он понимал, однако, что закон и порядок надлежит неукоснительно соблюдать. Любовь к действию побудила его организовать вместе с несколькими приятелями отряд Метких Стрелков, впоследствии преобразованный в Легион Баклю. Сам он был уже слишком стар, чтобы сражаться, но тем не менее заявил, что возраст не помеха тому, кто готов отдать жизнь за свои принципы: «Носить шпоры не обязательно, главное — завоевать на них право». Короче, он сам пожелал повести свой отряд, зная, что под его началом все будет хорошо. Он всегда тратил вдвое больше, чем получал с поместья, чтобы обеспечить соседей работой, и не сомневался, что в трудную минуту сможет на них положиться. «Я послал горниста сыграть по окрестным деревушкам «Синий шотландский берет», и к нему тут же сбегались больше сотни парней, изъявивших готовность отправиться в Карлайл или Ньюкасл». Через двадцать четыре часа его отряд был полностью укомплектован добровольцами, и при желании их число можно было удвоить. Скотт не был в состоянии принять командование, хуже того — он и в седле-то держался с опасностью для жизни, но о другом капитане его рекруты не хотели и слышать: они ели его хлеб и без колебаний пошли бы за ним на смерть. «Сейчас его бьет военная лихорадка, чтобы не сказать бешенство, — писала дочь Скотта Софья, — а потому он способен говорить только о своем отряде и более ни о чем». Он и вправду загорелся воинственным духом, уверовав, что «пятьдесят тысяч мерзавцев» якобы вот-вот поднимутся в открытом бунте между Тайном и Виром и нужно защитить Глазго и Эдинбург от грабежей и насилия. «Будь на то моя воля, — заявил он, — они бы запомнили этот день на полстолетия вперед». Однако ткачи и шахтеры решили дать выход своему недовольству менее явным образом. Части, сформированные в Шотландии, разъезжали по стране, учиняли многочисленные марши и контрмарши, которым никто и не думал противодействовать, и вносили в жизнь обитателей тех мест радостное разнообразие. Появление кавалеристов повсюду укрепляло дух правопорядка и национального единения. Если б не эти разъезды, никто бы не догадался о том, что обществу грозит какая-то опасность. Так что Скотту с его жадной столкновений пришлось взять в руку перо вместо шпаги и биться на ином поприще.



Глава 14

В заколдованном замке

«Не успеет шотландец вынырнуть из воды, как сразу же устремляет взоры к земле», — заметил Скотт, и применительно к нему самому это справедливо в буквальном смысле: не успел он обосноваться в Абботсфорде, как потянулся жадным взором к новым землям. До 1816 года он успел приобрести за 3400 фунтов большой участок заболоченной вересковой пустоши, чем в два с лишним раза увеличил свои владения, и приценивался к ста акрам земли по берегу озера Колдшилдс, одного из многих шотландских озер, имевших собственное чудовище, в данном случае нечто похожее на бегемота. Появление этой твари среди бела дня было засвидетельствовано разными людьми, включая некоего «весьма хладнокровного и здравомыслящего джентльмена». Наличие или, напротив, отсутствие подобного создания в том или ином озере — неотъемлемая часть шотландского фольклора на протяжении жизни многих поколений; нашему поколению являлось — или, напротив, не желало являться — чудовище озера Лох-Несс. Скотту его земноводное так и не показалось.

К концу 1816 года владения Скотта разрослись со ста до почти целой тысячи акров. Мелкие землевладельцы, жившие по соседству, завидя у него в глазах жадный блеск, уступали свои участки по неслыханным ценам. Осенью 1817 года он еще прирастил поместье, купив ферму Тофтфилд и прилегающие к ней земли за 10 тысяч фунтов. В то же время он посоветовал Джону Баллантайну урезать себя в личных расходах. Переименовав купленный дом в Охотничий Ручей, он в 1818 году поселил там Адама Фергюсона с сестрами; Вильяма Лейдло он еще раньше назначил своим управляющим и предоставил ему с семьей Кейсайд, другой дом на территории растущего поместья Абботсфорд. Скотт и Фергюсон дружили еще со школьной скамьи, в доме отца Адама Скотт повстречался с Бёрнсом. Адам изучал право, но наука оказалась ему не по зубам, и он устроился в армию. После этого друзья несколько лет ничего не слышали друг о друге, пока Скотт не получил от Фергюсона длинного письма, в котором тот описывал, как каждый вечер читает своим солдатам у Торриж-Ведраш — дело было во время испанской войны — отрывки из «Девы озера» и с каким восторгом солдаты им внимают. После завершения кампании капитан Фергюсон мечтал найти «маленькую уютную ферму на берегу Твида», и Охотничий Ручей вполне удовлетворил его идеалу. Со Скоттом у него сложились шутивно-фамильярные отношения. Они постоянно, хотя и добродушно, поддевали друг друга и радовались каждой проведенной вместе минуте. Второго такого заводили, как Адам, среди друзей Скотта не было; он умел и историю рассказать, и песню спеть, и «уморить все застолье» своими потешными выходками.

Приобретение Охотничьего Ручья обеспечило Скотту постоянное общество Фергюсона, но он ликовал не только поэтому: ведь теперь он стал «большим помещиком». Однако и эта покупка не насытила его страсть к земле. «Я бы не стал так основательно с этим связываться, но только решусь поставить точку, как под руку обязательно подвернется какой-нибудь лакомый участок, и я обо всем забываю», — сказал он Джону Баллантайну в августе 1820 года, а еще через три года признался: «Я вложил в Абботсфорд кучу денег, а отдачи что-то не видно». Единственная стоящая «отдача», на какую можно было рассчитывать, заключалась в продаже леса. Из его акров около пяти сотен были засажены деревьями. Желуди поступали к нему от друзей целыми бушелями*, а еще мы узнаем про тополя для болотистой почвы и лесной орешник для лошин, про три тысячи ракит, столько же шотландских вязов и конских каштанов, про две тысячи кустов шиповника, груды остролиста и сто тысяч берез. Разведение деревьев превратилось у него в манию. «Деревья — те же дети, — говорил он, — чужим они интересны, когда подрастут, а родителям и садовникам — сызмальства». Он с удовольствием отмечал, что у посадок четырехлетней давности вполне «бодрый» вид. Когда он потратил на деревья с десяток лет, кто-то сказал, что он, верно, находит в этом определенный для себя интерес. «Интерес! — вос-

* Один бушель (мера емкости) вмещает примерно 36,3 литра.

кликнул Скотт. — Вы и представить не можете, какое это беспримерное наслаждение: сажающий подобен художнику, который накладывает краски на холст, — он каждую минуту видит воочию результат своих трудов. С этим не сравнится никакому занятию или искусству, ибо здесь воедино слиты все прошедшие, сущие и будущие удовольствия. Я вспоминаю, когда тут не было ни одного дерева, только голая пустошь, а сейчас оглядываюсь и вижу тысячи дерев, и за всеми, я бы даже сказал: чуть ли не за каждым в отдельности я лично ухаживал... В отличие от строительства, даже от живописи и вообще от любого промысла этот не имеет конца, не знает перерывов; им можно заниматься изо дня в день, из года в год со всевозрастающим интересом. Хозяйство я ненавижу: что за смысл откармливать и резать скотину, растить колосья, чтобы после их сжать, ругаться с фермерами из-за цен и все время уповать на погоду? Тот, кто сажает деревья, не ведает ни этих забот, ни этих разочарований». Сочинение поэм и романов было в его глазах пустяковым делом по сравнению с высаживанием кустов и деревьев: «Обещаю вам, что мои дубы переживут мои лавры; я больше горжусь разработанным мною составом навоза, чем любым другим делом, к которому приложил руку». Друзья могли бы ему возразить, что без своих лавров он бы никогда не посадил и своих дубов, а его литературные работы обогатили Шотландию куда больше, чем навоз из его конюшен.

Владения Скотта расширялись, а с ними рос и его дом. В 1816 году он собирался пристроить к дому всего четыре комнаты, причем оговаривал: «И хорошо бы это сделать поаккуратнее». К 1818 году дом уже начал превращаться в то, чему Скотт дал название «Заколдованный замок». Архитектором Эдуарду Блору и Вильяму Аткинсону пришлось приводить свои проекты в соответствие с изменившимися требованиями заказчика. Строительство продолжалось несколько лет — то одно, то другое, — и Скотт втянулся в этот процесс так же основательно, как в разведение деревьев. В 1822 году он писал: «Я убил все это лето на то, чтобы закончить свой дом-роман, выстроенный по образцу помещичьих особняков старой Шотландии, и, надеюсь, небезуспешно передал натужливый стиль этих почтенных сооружений». О доме он отзывался как о «Великом Столпотворении», им же самим возведенном, а архитектурные украшения именовал «этим дурачеством». Он мог, конечно, посмеиваться над собственными грезами, однако Абботсфорд со всеми своими акрами воплотил в землях и камне любовь к романтическому, столь очевидную в его стихах и романах. Он не стремился копить деньги — ему нравилось их тратить, чтобы воплощать свои мечты или облегчать жизнь другим. Может быть, самая привлекательная форма тщеславия — покупка поместья: это позволяет человеку наладить связь с матерью-землей и повысить ее плодородие, а также помочь своим ближним, если он к тому расположен. Скотт был образцовым лендлордом. Он жил в поместье, когда не требовалось его присутствия в Эдинбурге, глубоко вникал во все дела, лично знал всех своих наемных работников, заботился об их благополучии, был гостеприимным, щедрым и патриархальным хозяином. Он постоянно держал тридцать работников, даже зимой, когда другие поме-

щики сокращали число рабочих рук, и часто посылал для них управляющему Лейдло деньги из Эдинбурга. В его владения имел доступ любой: «Ни за что не соглашусь вывешивать объявления, запрещающие под страхом судебного преследования вход посторонним». Такие надписи он считал в высшей степени обидными и оскорбительными для человеческого достоинства. У самого дома для удобства семьи было огорожено несколько тропок — «по остальным моим землям всяк волен гулять где заблагорассудит ся». Скотту было отрадно сознавать, что дети, нарвав с его орешника полные карманы орехов, побегут ему навстречу; от одной мысли, что при виде его они могут броситься в бегство, его бы передернуло. С соседями — будь то «старый чудака себе на уме» или «скользкий юный боб» — он поддерживал великолепные отношения. Скотт установил, что, как бы неприступно или грубо кто из них ни держался вначале, рано или поздно можно добиться расположения этого человека, если обращаться к нему по-дружески. Скотт терпеть не мог ворчания и кислых лиц и всегда давал извозчикам и официантам слишком щедро на чай, чтобы заставить их расплыться в широкой улыбке.

В 1820 году он прикупил еще земли, а на рождество 1823-го отметил завершение строительства новой библиотеки танцами, продолжавшимися до тех пор, «пока не погасли и луна, и звезды, и газовые рожки». В те дни газ был в новинку, и Скотт завел в Абботсфорде газовую цистерну. Монтаж оборудования и поставки газа обошлись ему много дороже, чем он предполагал, но яркий свет его радовал, а запаха он не замечал. Домашние, отличавшиеся более тонким обонянием, скоро взмолились о свечах и керосиновых лампах; однако сам Скотт как по утрам любил работать при ярком солнечном свете, так и по вечерам наслаждался ослепительным блеском прямо над своей конторкой. Комбинация смрада и слепящего света в конечном счете не пошла на пользу его здоровью. Было и другое нововведение — звонки, «работавшие по фундаментальному принципу духового ружья и звонившие под воздействием сжатого воздуха без вульгарного посредничества шнурков». Реконструкция Абботсфорда еще не закончилась, когда туда на встречу нового, 1825 года съехалась масса народа, и ужин устроили в просторном холле, где, как заметил Скотт Дэниелу Терри, «моего собрания развешанных по стенам рогов... хватило бы на всех рогиносцев в мире». Но человек предполагает, а бог располагает. Это первое многолюдное беззаботное празднество в Абботсфорде оказалось и последним в таком роде.

Правда, за время преобразования фермерского дома в феодальный особняк там происходило много столь же веселых, хотя и менее людных сборищ, когда футбольные встречи, выезды на охоту и на рыбную ловлю завершались танцами, песнями и пиршеством. Если гостей набиралось побольше, Скоттов волынщик принимался, как только все усаживались за стол, маршировать перед домом, извлекая из своего инструмента те самые неподобающе пронзительные звуки, которые, по утверждению Шекспира, действуют на мочевой пузырь отнюдь не лучшим образом. В определенный момент представления хозяин приглашал музыканта в дом и подносил ему полную кружку неразбавленного виски, которую тот истово

осушал, после чего роковой шум за окнами возобновлялся. Иногда гости плясали под волынку. Иногда женщины исполняли старинные баллады под аккомпанемент гитары и арфы. Иногда мужчины рассказывали всякие истории. И все это происходило в атмосфере добродушия и веселья. У хозяина была одна забота — чтобы все были счастливы. Сам он держался с такой простотой и общительностью, что кто-то однажды заметил: «Он ничем не выделяется среди прочих гостей». Гостей же в доме всегда было полным-полно; не успевали уехать одни, как появлялись другие, и комнаты никогда не стояли пустыми; и столько народу прибывало без приглашения, что трактирщикам в Мелрозе и Селкирке было дано указание сдавать комнаты только одним приглашенным.

Шарлотта Скотт, которой приходилось управляться с бесконечным потоком гостей, говорила, что Абботсфорд — самый настоящий постоянный двор, с той лишь разницей, что на нем нету вывески и не надо платить за постой. Как-то раз в доме оказалось одновременно тринадцать чужих горничных. Шарлотта была идеальной хозяйкой, очень гостеприимной и столь обязательной, что ни один из гостей, похвалив за столом какое-нибудь блюдо, не уезжал от нее без рецепта. Ее легкий акцент и маленькие странности в речах и поведении кое у кого вызывали смех, а «синие чулки», разумеется, считали, что она недостойна такого великого мужа: «И что он в ней нашел?» и т. д. и т. п. Но самого Скотта ее равнодушие к его увлечениям, работе и занятиям древностями ни капельки не беспокоило; он только посмеивался, когда она заявляла: «Голубчик, написал бы ты новый роман, а то мне нужно новое платье». В кругу семьи и ближайших друзей он величал ее «маменькой», неизменно был к ней внимателен и однажды прервал сеанс у художника, академика Ч. Р. Лесли, который писал его портрет, чтобы поспеть к жене до грозы; Шарлотта боялась грома. Еще когда они жили в Ашестиле, она пользовалась от болей наркотиками, и это вошло у нее в привычку, что не могло не сказаться на состоянии нервной системы. Но Скотт знал все ее достоинство и утверждал, что у нее «самое честное, щедрое и преданное сердце, какое когда-либо билось под солнцем».

Не было случая, чтобы Шарлотта не оправдала звания хозяйки дома. Абботсфорд, ставший местом паломничества еще при жизни владельца, славился, помимо прочего, удобствами и добрым столом, которые были не хуже, чем в самом первоклассном трактире. Может быть, во все времена никто из писателей не пользовался такой широкой известностью и всеобщей любовью, как Вальтер Скотт, и, уж наверное, никто из людей выдающихся не был так равнодушен к славе, как он. Поглядеть на «Великого Инкогнито» приезжали паломники с четырех сторон света, и он выносил их поклонение с удивительным добродушием: «Что до моей особы, коей подчас выпадает играть роль «льва», то я неизменно беру в пример это благородное животное, без нужды потревоженное Рыцарем Печального Образа*. Тот лев поднялся, повернулся в клетке, показав морду и зад, вылизал усы языком в две пяди длину, зевнул во всю свою огромную пасть и снова мирно улегся».

* См.: Сервантес. Дон Кихот, часть II, глава XVII.

Когда приходят к знаменитости, то, как правило, хотят поговорить с нею о собственных проблемах. Дружелюбие Скотта выдерживало и эту пытку, но он не жаловал расспросов о себе самом. «Посылаю к Вам янки, из которого получился бы Генеральный прокурор Соединенных Штатов, — писал Скотт Баллантайну. — Если он подвергнет Вас такому же перекрестному допросу, каким замучил меня, Вам не удастся утаить от него много секретов». Одному американскому гостю, впрочем, были очень рады в Абботсфорде — Вашингтону Ирвингу, о котором Скотт отозвался: «И сам он, и его книги пришлись мне по сердцу». Ирвинг скоро почувствовал себя у них как дома, был в восторге от душевного приема. Его упросили погостить несколько дней и познакомиться со всем и со всеми — с ландшафтом, который, по словам Скотта, являл собой самую наготу, и с простым людом, о котором Скотт заметил: «Характер народа нельзя познать по сливкам общества». Несмотря на свой консерватизм, Скотт симпатизировал Соединенным Штатам и сожалел о размолвках между англичанами и американцами, объясняя их тем, что два эти народа «имеют столько общего, что с особым рвением склонны обсуждать то сравнительно малое, в чем отличаются один от другого... Американцы так напоминают англичан, а англичане — американцев, что и те, и другие упрекают друг друга в отсутствии между ними полного сходства во всем без исключения... Хотелось бы верить, что обе нации, имея столько похожего в широком смысле, смогут извлечь для себя пользу, спокойно сопоставив то, что их разделяет, и, может быть, такое дружеское обсуждение пойдет им во благо... В раздорах между нами и американцами я вижу угрозу неизмеримого вреда для каждой из сторон и ни для одной не вижу сколько-нибудь серьезной выгоды».

Гостям из-за Ла-Манша Скотт бывал не очень чтобы уж рад. Один такой гость, герцог де Леви, написал ему, что прибыл в Шотландию с единственной целью — повидать великого гения, которому восхищается весь читающий мир. Прочитировав доктора Джонсона, в свое время сказавшего, что если некогда увидал Великую китайскую стену, то даже внук его может этим гордиться, де Леви заявлял, что Скотт — предмет более достойный, нежели упомянутое дальневосточное сооружение. Герцога пригласили в Абботсфорд, и Скотт резюмировал: «...самая законченная французская балаболка, с какой мне доводилось встречаться». Наш помещик вообще не жаловал чужеземцев: «Ненавижу бесстыдство, с каким рассыпаются в комплиментах перед незнакомым человеком и позволяют себе в доме писателя разглагольствовать о его книгах; как правило, это свидетельствует о дурных манерах». Графы, маркизы, герцоги и прочая титулованная дребедень почему-то считали само собой разумеющимся, что имеют полное право мучить Скотта своей благосклонностью. Он терпеливо носил их присутствие, и лишь его чрезвычайная щепетильность мешала дать им почувствовать, что хозяин не чает от них избавиться. Его экипаж был всегда к их услугам, когда подходило время уезжать. Кто-то из них выразил сожаление, что принужден воспользоваться хозяйским экипажем — вдруг тот понадобится в Абботсфорде. «Для моих лошадей не может быть ничего лучше, как

отвезти Вас Вашей дорогой», — ответил Скотт, и эти слова приняли за комплимент.

Но были и другие гости, чьим обществом он наслаждался: Джоанна Бейли, ничем не напоминавшая тип «дамы-авторессы», и Вильям Вордсворт, «человек и джентльмен до кончиков ногтей», как писал о нем Скотт, добавляя, однако: «Только не в те минуты, когда он садится на своего критического конька и начинает доказывать, что Поп не поэт. С таким же успехом он мог бы спорить, что Веллингтон — не солдат, потому что носит синий мундир, а не кольчугу из вороненой стали». В июле 1823 года Абботсфорд посетили Мария Эджуорт и две ее сестры. «Скоро я смогу с Вами поговорить или, что еще лучше, Вас послушать», — писала она накануне приезда, однако, приехав, решила пожертвовать удовольствием слушательницы ради необходимости высказаться и две недели не закрывала рта. Шарлотта удивилась, что Мария не познакомилась с Вальтером еще в 1803 году, когда была в Эдинбурге. «Ты забываешь, дружок, что в то время мисс Эджуорт еще не ходила в «львицах», да и моя грива, представь себе, только-только начинала пробиваться», — объяснил Скотт. К Марии он относился с величайшим восхищением, называл ее одним из чудес века и убеждал ее в том, что романы «автора «Узверли», хоть он о них и высокого мнения, не идут ни в какое сравнение с ее книгами. В Абботсфорде ее монолог изливался почти без помех, одному лишь Скотту время от времени удавалось пресекать поток ее красноречия. За пару дней до отъезда все три сестры принялись лить слезы в предвидении расставания. «Прощание было чудовищным, — сообщала младшая дочь Скотта Анна. — Мария Великая едва не забилась в истерику — до того успела она ко всем нам привязаться».

Как правило, гости покидали Абботсфорд с сожалением, но было и одно исключение. В 1825 году миссис Коутс, богатая вдова знаменитого банкира, прибыла в трех каретах (остальные четыре остались в Эдинбурге), каждую из которых тащила четверка лошадей. Ее свита состояла из двух врачей (на случай, если один заболит), компаньонки, двух личных горничных (на случай, если одной занеможет), нескольких лакеев на разные случаи и герцога Сент-Олбанского с сестрой. Герцог годился ей в сыновья, однако мечтал жениться на состоятельной вдовушке, и Скотт, посмеиваясь, наблюдал, как эта «Дама алмазов» с видом победительницы таскает герцога при своей особе, хотя тот и выглядел «по уши влюбленным дурнем». В те времена одного богатства, которое Скотт именовал «скучнейшей из всех забот», было еще недостаточно, чтобы заставить общество принять бывшую актрису, хотя бы и ставшую вдовой миллионера, так что титулованные дамы вконец заклевали миссис Коутс. Скотту же она понравилась своим добродушием, и он был всерьез озабочен поведением других гостей, полагавших, будто кровь и порода не нуждаются в хороших манерах. За столом он был бессилен что-нибудь предпринять и только следил за поединком знатности и богатства, но после обеда отвел леди Комптон в сторонку и откровенно высказал ей, что она и ее друзья ведут себя гнусно: их за два дня предупредили о приезде миссис Коутс, и у них вполне хватало времени уехать,

если они не желали с нею встречаться. Леди Комптон проглотила выговор, намекнула об этом своим друзьям и, со своей стороны, до конца вечера пыталась, как могла, вежливо обходиться с миссис Коутс. Последняя тем не менее покинула Абботсфорд на другое же утро, хотя намеревалась погостить трое суток. В конце концов она вышла за герцога Сент-Олбанского, который, по мнению Анны Скотт, был изрядный дурак, но добрый малый, и зажила с ним в Хайгете в «Домике под остролистом». Однажды кто-то из гостей сказал ей, что впервые встречался с нею в Абботсфорде. «Как же, помню! — воскликнула она. — Это в тот раз, когда там были эти противные женщины. Сэр Вальтер был очень добр и сделал все от него зависящее, но я не смогла оставаться с ними под одной крышей».

Человек исключительно покладистый и терпимый, Скотт был, однако, полным хозяином в доме, королем в своем замке. Его приказам надлежало повиноваться, и ему не было нужды повторять их дважды: нахмуренной брови вполне хватало, чтобы подчеркнуть решение, которого не решались оспаривать ни дети, ни слуги. Впрочем, он предпочитал все решать на разумной основе. Когда жена Тома Парди посетовала, что бедняки слишком часто обращаются в Абботсфорд за помощью, Скотт сказал ей: «Будьте с ними вежливы и тогда, когда вам нечего им подать, и вот почему: хоть вы и живете под моей крышей, но судьбы своей знать не можете. Кто из нас сегодня посмеет сказать с уверенностью, что завтра сам не пойдет по миру?» Он был снисходительным хозяином, однако из всех его слуг, пожалуй, один Том Парди позволял себе с ним повольничать. Том недвусмысленно дал понять, что хороший рабочий день должен начинаться с подходящей порции виски, и Скотт распорядился, чтобы он получил таковую. Для Тома романы «автора «Уэверли» были «нашими книжками»; он утверждал, что они большая ему поддержка, потому как ночью, если не идет сон, стоит взять любую из них в руки — и через пару страниц он засыпает как убитый. Скотт признавался, что помешан на своей книжной коллекции и каждая пылинка на книге ему что острый нож в сердце; однако абботсфордскую библиотеку он доверил именно Тому Парди, и нельзя не подивиться заботе и аккуратности, с какими бывший пахарь ухаживал за книгами. Когда в 1824 году Том тяжело заболел, его хозяин не на шутку перепугался: он ухаживал за больным, как за малым ребенком, дежурил у его постели и пошел отдохнуть лишь тогда, когда миновала опасность. «Я едва не потерял моего бедного Санчо Пансу, — сообщал Скотт одному из друзей. — Его бред надрывал мне сердце: то он охотился в горах со своими собаками, то обращался ко мне, словно мы прогуливались по лесопосадкам».

Другим подопечным, которого Скотт глубоко полюбил, был Вильям Лейдло — человек простой, скромный, мягкий и честный. Фермера из него не получилось, и Скотт сделал его своим управляющим, поселив с семьей в удобном домике на территории поместья. Денежное вспомоществование Скотт оказывал ему и раньше, до того как Лейдло перебрался в Кейсайд, а после помогал ему писать статьи для «Журнала Блэквуда». Литературным занятиям пришел конец, когда виг Лейдло убедился, что журнал

становится все более и более консервативным. Мы уже видели, что разница в политических взглядах ни в малейшей степени не влияла на дружеские привязанности Скотта, о котором можно без преувеличения сказать, что ближнего он любил, как самого себя. Томсон, одноногий репетитор, готовивший его сыновей к поступлению в школу, остался жить в Абботсфорде, и обедавшие там знаменитости не раз дивились этой странной фигуре, отрешенно восседающей за столом или слоняющейся по дому, что-то бормоча себе под нос.

Со слугами Скотт обращался не менее уважительно, чем с гостями, полагая, что долг по отношению к хозяину они исполнят точно так же, как он — свой по отношению к ним. Почти со всеми — от герцога Баклю до церковного сторожа в Мелрозском аббатстве — он был на дружеской ноге. Кстати, он отдавал аббатству много дум и времени, пока возводил Абботсфорд. Гостей обязательно водили поглядеть на развалины, где — не забывая напомнить — «архитектор найдет для себя сокровищницу древней лепки, а поэт — древних преданий. У этих руин, как у стилтонского сыра*, есть своя особая прелесть — и в том же вкусе: чем больше плесени, тем лучше». В 1822 году он ископал у опекунов юного герцога Баклю разрешение произвести расчистку и наладить строительные работы по спасению аббатства. Это строение стало главным «героем» романа, за который он было взялся, но оставил, чтобы написать «Айвенго», и к которому вернулся, закончив последний. «Монастырь» вышел в марте 1820 года и разочаровал всех, включая самого автора. Этот роман — из числа худших у Скотта: скучный сюжет, тяжелый стиль, банальные характеры и неправдоподобная интрига. У истинного гения есть свои взлеты и свои провалы, и взлеты эти столь же великолепны, сколь провалы чудовищны. На приличном среднем уровне работают заурядные таланты. Романы «автора «Уэверли», как и пьесы Шекспира, писались *currente calamo***». «Порой мне кажется, что рука у меня пишет сама по себе, независимо от головы, — признавался Скотт. — Раз двадцать я начинал писать по определенному плану, но ни разу в жизни его не придерживался до конца, в лучшем случае — на полчаса (понятно, когда писал что-то художественное)». Он уподоблял себя пьянице, который может бежать, но спокойным шагом идти не способен. Работая над одной главой, он зачастую не имел представления о том, что будет происходить в следующей. Вымышленные характеры завладевали пером, фабула складывалась как-то сама собой, преизбыток воображения изливался потоком нужных слов, и он редко достаивал рукопись второго взгляда, впервые читая написанное полностью только тогда, когда правил текст в печатной корректуре. Что до стиля, грамматики и прочих тонкостей, то он считал так: если необходимо сказать очень многое, то пусть это будет сказано неряшливо, но не скучно. Когда писателя величают

* Стилтонский сыр, как и рокфор, созревает с помощью плесенного грибка.

** Беглым пером, крайне быстро (*лат.*).

«художником», это в большинстве случаев означает, что читать его невозможно; когда называют «ученым», это значит, что его никто не читает. Скотта частенько ругали за недостаток художественности и учености, но он оставался равнодушен к нападкам: «Мнения рецензентов слишком уж противоречат одно другому, чтобы по ним можно было что-нибудь заключить, и тут уж неважно, хвалят ли они вас или совсем напротив. Ведь главная цель рецензий, как правило, — продемонстрировать способность их авторов вымучивать критические суждения». Пристрастие к бумагомаранию, говорил он, — непонятная склонность, и ее ничем не излечишь. О своей работе он был невысокого мнения, что, однако, вовсе не умаляло в нем тяги к писательству. Свои литературные труды он называл «пустым времяпрепровождением, вроде игры в мячик или катания обруча», но не мог бросить их и на минуту. Лежал ли он без сна, одевался, прореживал лес, ездил верхом, гулял, забирался по грудь в воды Твида или боролся с ветром в горах — сюжеты и характеры теснились у него в голове и жили в его воображении куда более полной жизнью, чем на странице печатного текста: «Гений всегда не уверен в лучших своих творениях, ибо то, что он делает, неизбежно и неизмеримо ниже того, что рисует ему его воображение; картины, которые по его воле возникают перед глазами читателя, много уступают тем, какие открываются перед его мысленным взором».

Тем не менее одни из своих книг он предпочитал другим, и «Аббат», появившийся через полгода после «Монастыря» и привлекавший внимание любителей местных достопримечательностей к замку Лох-Ливен, ему нравился. Этот роман выдвинулся в число лучших творений Скотта благодаря одному качеству, которого лишены большинство других его лучших книг, — великолепно обрисованным характерам героя и героини. Все главные герои Скотта немного напоминают их создателя: предусмотрительность и идеализм совмещены в них примерно в той же пропорции, как и в самом Скотте, и чаще всего именно это скрывает развитие характера. Однако в «Аббате» Роланд Грейм справляется с указанной пропорцией убедительнее других, а Кэтрин Ситон не только самая естественная из его героинь, но и самая яркая и привлекательная героиня во всей романтической прозе. Сюжет романа хорош, персонажи — живые люди, хотя ни один из них не входит в число лучших характеров Скотта, да и Мария, королева Шотландская, какой ее показал здесь автор, внушает сочувствие. Нарисовать же ее портрет Скотту было отнюдь не просто из-за двойственного отношения к оригиналу. Через восемь лет после опубликования «Аббата» Скотт писал: «Никак не придумаю, чью биографию мне было бы легко написать, не считая королевы Марии, но как раз о ней-то я ни в коем случае не буду писать, потому что мое мнение здесь решительно расходится с общепринятыми чувствами, да и моими собственными тоже».

К этому времени творческая плодовитость Скотта начала не на шутку беспокоить знатоков из тех, кто, не признавая никаких гениев, склонен давать изобилию великих творений весьма своеобразное объяснение, скажем, такое: пьесы Шекспира писал совсем не Шекспир, а Фрэнсис Бэкон или иной пэр из палаты лордов.

Американцы подвели под романы «уэверлеевского» цикла теорию двойного авторства: мнимый автор в сотрудничестве с неизвестным сумасшедшим. Эта теория привела Скотта в восхищение: разумеется, «кто, кроме безумца, сумел бы напридумывать столько чепухи?» — и, понятно, никакому нормальному человеку не пришла бы в голову мысль подкупать кого-то, чтобы «не только не заявить права на собственные произведения, но отречься от них». Мария Эджуорт объявила, что любой цивилизованный суд оправдает Скотта по обвинению в авторстве и половины приписываемых ему книг, ибо рука человеческая не в состоянии написать всего этого за столь малое время, а разум не способен всего этого выдумать. И верно, гости, наезжавшие в Абботсфорд, полагали, что Скотт так или иначе посвящает им все свое время, с утра до вечера. Откуда им было знать, что до завтрака он успевал хорошо поработать не меньше трех часов, что перо его строчило без остановки, а рука, водившая этим пером, едва поспевала за бегом его мысли?



Глава 15

Отпрыски

Каждый должен иметь свои игрушки, чтобы было чем заняться, что лелеять и чем восхищаться; это могут быть книги, клюшки, монеты, машины и все, что угодно. Игрушки утоляют что-то в человеческой природе, не дают предаваться тягостному самоанализу, уменьшают желание властвовать над другими или лезть в чужие дела, одним словом, помогают человеку стать цивилизованным существом. У Скотта было больше игрушек, чем у многих других, а потому и меньше поползновений заедать жизнь родным, друзьям и соседям. Он получил юридическое образование, но сам был органически не способен к сутяжничеству, признаваясь: «Страшно боюсь, как бы кто не проведаль, что я готов отдать все на свете, только бы не обращаться в суд». Холл, библиотека, спальня и его кабинет в Абботсфорде были забиты историческими и личными сувенирами, которыми он дорожил и которые с гордостью выставлял на обозрение. Но одного этого было мало, чтобы дать выход энергии, бурлившей в том, кто не мог и минуты оставаться без дела, кто, даже сидя в кресле и

беседуя с другом, занимал руки, поглаживая собак или свертывая бумажные жгутики. Не успокоившись на посадках деревьев и строительстве дома, он, казалось, находил особое наслаждение в играх с опасностью. Однажды он прогуливался по самому краю обрыва над озером Колдшилдс, и, когда попытался плотнее укутаться в плед, порыв ветра едва не сбросил его вниз; собрав все силы, он чудом сохранил равновесие и спасся от гибели.

На те месяцы, что ему приходилось ежегодно проводить в Эдинбурге, зеленый сельский скотук сменялся на черный городской, а преизбыток энергии находил иные формы разрядки. Скотт исполнял обязанности президента новой нефтегазовой компании. Он основал Баннатайн-клуб, занимавшийся переизданием редких шотландских книг и исторических документов, и был избран в его президенты. Он был президентом Эдинбургского королевского общества и председателем бесчисленных многолюдных собраний, где его здравый смысл, невозмутимость, терпимость и добродушие оказались просто незаменимыми качествами. В Лондоне он был избран членом знаменитого клуба Джонсона и клуба Роксбург, а также назначен на должность профессора древней истории Королевской академии наук. Вице-президенты Оксфорда и Кембриджа несколько раз просили его принять почетную степень доктора права, но ему все не удавалось выбраться из Шотландии на актовые дни университетов. Одни только общественные обязанности Скотта отняли бы у большинства людей все силы и все свободное время. Скотт же ухитрился заседать в суде по утрам, бывать на светских приемах, исполнять дела общественные и писать романы, причем с такой быстротой, что читатели не успевали переварить последнюю его книгу, как уже появлялась новая.

В 1820 году он написал «Монастырь» и «Аббата», а в начале 1821-го увидел свет «Кенилворт». Первоначально он хотел назвать роман «Особняк Камнор», но изменил заглавие, послушавшись Констебла. От этой уступки издатель пришел в такой восторг, что, как передает, даже воскликнул: «Ей-богу! Теперь я только что не «автор «Уэверли»!» «Кенилворт» вызвал в Англии не меньший фурор, чем в свое время «Айвенго». Со всей страны в Камнор повалили толпы страждущих; приходский псаломщик сколотил маленькое состояние, показывая туристам, где находился старый особняк; вообще каждое придуманное Скоттом местечко получило свои точные географические координаты и было обращено в местную достопримечательность. Его вымысел обрел реальность и еще в одном плане. Граф Лестер, потомок Дадди по боковой линии, именем святой троицы письменно вызвал Скотта на «поединок чести» за обвинение его предка в убийстве. Скотт начертил на обороте письма: «Совсем спятил», перечитал письмо и добавил: «Совсем спятил». Заметим, что от такой формы безумия биографам достается чаще романистов. «Кенилворт» породил бурю восторгов, а его автор откровенно признался, что на его долю досталось «больше славы и денег, чем литература когда-либо приносила человеку». Много позже он удостоился похвалы и от равных себе, ибо Томас Гарди сказал: «Ни один историк не показал нам историческую Елизавету живой женщиной, такой, какова вымышленная королева Елизавета в «Кенилворте». Другие персонажи книги не

так запоминаются. Однако, если не считать описаний пирушек в замке Кенилворт, которые излишне затянуты, этот роман — из лучших у Скотта, и отдельные его эпизоды, особенно с участием Елизаветы, исполнены высокого драматизма.

Скотт и на сей раз позволил Джону Баллантайну урвать куш за посредничество. Он даже согласился написать биографии виднейших романистов к изданию их сочинений, прибыль от которых должен был получить все тот же Джон, но смерть Весельчака Джонни, последовавшая в июне 1821 года, перечеркнула эти благие планы. Стоя у его могилы — в эту минуту облака разошлись и выглянуло солнышко, — Скотт прошептал одному из друзей: «Я чувствую, что огненные солнце будет светить мне уже не так ярко». Джон, никогда не забывавший о своих благодетелях, завещал Скотту две тысячи фунтов: но — увы! — скончался он весь в долгах, и Скотт не только тогда же вручил его вдове личную сумму, но продолжал выплачивать ей ежегодное пособие даже после того, как сам попал в стесненные обстоятельства.

Он рвался оказывать поддержку всем на свете, будь это в его силах: желание помогать людям было у него столь же могучим, сколь неистощимой — энергия. Ему не сиделось спокойно, он каждую минуту стремился чем-то заняться, для него не было ничего тяжелее, чем позировать художникам, и большинство портретистов, его рисовавших, занимались своим делом, пока сам он с головой уходил в писание. Посетил Абботсфорд и живописец совсем иного плана — Дж. М. В. Тернер, которому поручили сделать пейзажные иллюстрации к поэзии Скотта. Скотт восхищался картинами этого художника, но от его личности был далеко не в восторге: «Едва ли не единственный известный мне гений, зараженный корыстолюбием». За деньги Тернер выполнял любые заказы, но ничего не делал бесплатно.

Жаль, что Тернер не проиллюстрировал романа Скотта «Пират». Вот где редкостный дар этого удивительного художника мог бы развернуться в полном объеме и даже в известной мере искупить недостатки самой книги, действие которой разворачивается на Оркнейских и Шетлендских островах — шерифом там был близкий друг Скотта Вильям Эрскин. «Пират» вышел в декабре 1821 года, почти через одиннадцать месяцев после «Кенилворта», — разрыв, позволяющий заподозрить Скотта чуть ли не в спячке. Не исключено, что он вложил в книгу много труда, ибо в ней нет и следа вдохновения: можно догадаться, что писал он, потея от натуги. Завязка романа овееяна поистине ибсеновским драматизмом, но сюжет быстро расплзается по швам, а персонажи совершенно безжизненны. Чувствуется, что главное в книге — пейзаж, выписанный и разукрашенный в духе путеводителя. Скотт так и не понял, что пейзаж могут одушевить только переживания воспринимающего его человека, что он становится ярким или, напротив, мрачным в зависимости от настроения персонажа. К тому же рассуждения Скотта на темы морали по своей тяжести не уступают в этой книге описаниям. Огульное захваливание романов Скотта повредило его репутации; мы не сможем воздать должное его хорошим произведениям, если не признаем, что «Пират» — плохое.

Принято считать, что дети любят истории про пиратов. Возможно, Скотт рассчитывал, что и его роман придется им по вкусу. Однако собственные его отпрыски уже вышли к этому времени из надлежащего возраста. Теперь они могли получать от его романов удовольствие, вместо того чтобы с ненавистью «проходить» их в школе. Обращение Скотта с детьми настолько высвечивает его натуру, что следует на этом остановиться. Сразу же оговариваясь: ему бы и в голову не пришло заставить или хотя бы побуждать своих мальчиков читать собственные сочинения. Больше того, он бы пришел в возмущение, узнав, что с тех пор его романы «задавались» для чтения не одному поколению школьников. Нет никаких свидетельств о том, что дети Скотта имели о них представление, и можно с уверенностью сказать, что его книги никогда не обсуждались у них в семье. В Лассуэйде и Ашестиле он читал детям старинные волшебные сказки, ибо питал отвращение к повестушкам из жизни пай-мальчиков, поставившимся на рынок фирмой «Сандфорд и Мертон»: «Вся мораль, какую можно извлечь из сотни историй про Примерного Мальчика Томми, не стоит и единой слезинки, пролитой над Красной Шапочкой».

Старший ребенок, Софья, видимо, наследовала мягкость отца, но ни капли его гениальности. Из нее вышло простое, без претензий, добродушное существо, умевшее очаровательно петь баллады, чем она и покорила отцовское сердце. Став женой и матерью, она, по словам Скотта, превратилась в «законченную няньку» — вероятно, потому, что ее собственные родители слишком уж нянчились с нею с детства. В 1826 году Скотт писал ее мужу: «Я счел нужным по-отцовски предостеречь Софью, чтобы она опять не завела себе домашнего врача, каковой наряду с домашним священником есть зло чистейшей воды. Один внушает, что без него вам не сохранить здоровья, другой — что вам не спасти без него души, однако их подопечные все равно помирают и идут в ад и, может быть, делают это даже скорее, чем без их помощи... Пристрастие к врачам я полагаю самым серьезным ее недостатком». Когда у Софьи заболелся малыш, Скотт уповал: «Я с тем большим основанием рассчитываю на выздоровление мальчика, что в округе, как мне хорошо известно, нет ни одного эскулапа». С мужем Софьи нам предстоит познакомиться на следующих страницах.

За Софьей шел Вальтер, наследник Абботсфорда. Он не любил сидеть в четырех стенах и этим напоминал отца, который и научил мальчика ездить верхом; стрелять и всегда говорить правду, доверив все остальное репетитору Джорджу Томсону и Эдинбургской средней школе. В четырнадцать лет юному Вальтеру вручили ружье, и Скотт сообщал Джоанне Бейли: «Честное слово, когда он уложил своего первого тетерева, я преисполнился такой гордости, какую испытал только раз в жизни, когда сам подстрелил своего, а было это двадцать лет тому назад». К литературе Вальтер проявлял полнейшее равнодушие, Гомеру предпочитал Евклида, поэзии же не понимал и не чувствовал, а посему отец был доволен уже и тем, что «Дьявол не заполнил пустоту сию показной любовью к вещам несуществующим, ибо я больше всего на свете страшусь дутого вкуса и питаю к нему отвращение».

К восемнадцати годам Вальтер превратился в высокого, красивого и застенчивого юношу атлетического сложения — доброго, разумного, увлекающегося математикой и инженерным делом, но не очень сведущего в других науках. Он был другом и бесшумным товарищем отца в развлечениях и забавах на свежем воздухе, и, когда в 1819 году он стал корнетом 18-го гусарского полка и перебрался в Корк по месту службы, отец очень по нему скучал. Чин корнета исхлопотали через главнокомандующего — герцога Йорка, и Скотту пришлось раскошелиться на (как он их называл) «безделушки для парня»: «Говорят, одежда *красит человека*, — она же, судя по всему, вполне способна и *разорить* его». Вальтер щедро получал на карманные расходы да еще и обращался к отцу за дополнительными средствами, например, когда у него подох боевой конь. «Что ж, придется вставать часом раньше и ложиться часом позже, — заметил Скотт своему дворецкому Даглишу, — ведь без коня ему не обойтись. Но, сказать по правде, настоящая лошадь — это я: он меня оседлал и выезжает на моих деньгах». Вальтера он предупредил, что, если у того начнут дохнуть кони, ему придется ходить в атаку пешком порядком.

Письма Скотта к сыну в Ирландию полны домашних новостей, таких как: «У Софьи режется зуб мудрости. Надеюсь, мудрости будет много, потому что боль адская». Но в основном письма дают примеры отеческих наставлений. Скажем: «Со стыдом и сожалением должен признаться, дабы тебя остеречь, что привычка к возлияниям, столь распространенная в дни моей юности, явилась, по глубокому моему убеждению, причиной терзающих меня кишечных недугов». Или: «При исполнении служебных обязанностей заботься о нижних чинах; ты сильный — поэтому будь милосерден».

Отец частенько жаловался на почерк сына — «как будто курапатка нацарапала в пыли под живой изгородью». Но скоро у него появились для жалоб более веские основания. Офицеры полка, где служил Вальтер, совершили серьезный проступок — упившись до положения риз, пустили в офицерскую столовую даму сомнительной репутации, а один из них позволил себе непочтительно отозваться о королеве, чью непорочность ставил под сомнение ее собственный супруг. Полк решили наказать переводом в Индию, и Вальтеру пришлось отчитываться перед родителем за случившееся; при этом он всячески преуменьшал тяжесть проступка и сетовал на жестокость наказания. Скотт с порога распознал попытку оправдать преступление и 10 мая 1821 года преподал сыну хороший урок строгости и здравого смысла:

«За одну попойку не становятся подлецами, и, если молодой человек дошел до такого скотства, что представил своим товарищам обыкновенную потаскуху, да еще ввел ее в полковую офицерскую столовую, — пьянство тут ни при чем, и, по моему разумению, он и в трезвом виде не способен на истинно джентльменские чувства. Не похвалю и тех, кто сразу же не выставил вон эту во всех отношениях подходящую друг для друга парочку. То же самое могу сказать и про мистера Мэйчелла с его *какой-то* там фразой о королеве. Напившись, допустимо впасть в ярость или неистовство, но вино едва ли способно превратить джентльмена в подонка

или лояльного подданного — в смутьяна. Вино лишает человека сдержанности и выпускает страсти на волю, однако не порождает привычек или воззрений, которые уже не были бы в нем изначально... Я хочу чтобы ты раз и навсегда запомнил: если я услышу (а у меня длинные уши), что ты снова участвовал в одной из постыдных оргий, какие за последнее время не редкость в 18-м полку, это будет для меня сигналом к безотлагательной (*couste**) твоей отставке. Мне больно писать тебе слова порицания, но я обязан исполнить *мой* долг, в противном случае я не смогу требовать, чтобы ты исполнял *свой*.

В одном из писем молодой корнет утверждал, что никакого скандала бы не было, если б дела не раздули адвокаты и сплетники Эдинбурга. Отец возразил, что адвокаты и сплетников Эдинбурга, «между коими твоя воинская вежливость, адресуясь к адвокату, ставит роскошный знак равенства», интересуют только и исключительно части, расквартированные в Эдинбургском замке. Однако будущему наследнику Абботсфорда было негоже убивать свои дни в Индии, где, разъяснял Скотт сыну, «тебе не приобрести ни профессионального опыта, ни репутации, ни состояния, вообще ничего, а обрести только безвестную смерть при штурме горной крепости какого-нибудь раджи, которого и имени-то не выговорить... а если ты и уцелеешь, так лишь затем, чтобы через 20 лет вернуться лейтенантом или капитаном, истрепанным тропической лихорадкой, с больной печенью и без рупии в кармане — в обмен на загубленное здоровье». Поэтому Скотт использовал все свои связи, чтобы перевести Вальтера в другой полк, но еще до этого перевода он выказывал озабоченность тем, что сыну некоторое время пришлось находиться в ирландской столице: «Меня очень тревожит, как идут у тебя дела в развеселом городе Дублине; прошу тебя со всей серьезностью — не слишком предавайся беспутной жизни». Еще большую тревогу Скотта вызвало, несомненно, «крайне необоснованное сообщение, что некая молодая дама пользуется с твоей стороны вполне определенными симпатиями. Заклинаю тебя не делать ничего такого, что могло бы оправдать подобные слухи, ибо я буду *в высшей степени недоволен*, если ты поставишь себя или иное лицо в ложное положение». Вальтеру также настоятельно советовалось, пока он в Лондоне, являться на утренние приемы к герцогу Йорку: «Застенчивость не только глупость, но прямая дерзость, когда хорошее воспитание и чувство благодарности обязывают тебя найти способ дать понять людям, что ты помнишь об оказанных тебе благодеяниях».

Безусловно, опасаясь, как бы его красавец сын не угодил в хитро раскинутые брачные сети, Скотт клюнул на предложение своего друга Адама Фергюсона женить Вальтера на Джейн Джобсон, племяннице жены Адама и наследнице большого поместья в Лохоре. Вальтеру — тогда ему было двадцать два года — девица в меру понравилась, и он завел с нею флирт, однако разговор о браке зашел вплотную лишь по прошествии двух лет, когда Скотт письменно сообщил сыну, что одобряет этот союз, и перечислил все практические соображения в его пользу: «неблагородное имя

* Любой ценой (*фр.*).

Джейн Джобсон» звучало не так уж и грубо вкупе с собственностью на 50 тысяч фунтов, открывавшей к тому же виды на большую политическую карьеру, что могло помочь юному гусару преуспеть на избранном поприще. Одним словом, Вальтеру, считай, еще повезло, но, писал Скотт, «при том, что с главным все как будто в порядке, тебе самому решать, насколько она тебе нравится, и так далее». Однако Джейн, девушка милая, осторожная и робкая, находилась в полном подчинении у матушки, пресвитерианки строгих правил, для которой выдать родную дочь за беспутного солдата (все солдаты беспутные), да еще и сына нечестивца поэта (все поэты — нечестивцы) значило обречь дитя на проклятье. Скотт называл эту даму «Водянкой», и ее пастырю понадобился не один словесный вытяжной пластырь, прежде чем он наконец ухитрился заставить ее прикусить язык*.

В Абботсфорде их союз был делом решенным. Свадьба состоялась 3 февраля 1825 года. На другой день Скотт писал снохе: «Любимая моя девочка, вчера я не захотел без нужды смущать вас перед отъездом изъяснением собственных чувств — я вообще не склонен обнаруживать на людях такого рода переживания». В другом месте он говорил, что ненавидит, когда «пускают сопли и прочищают носы», и считает публичную демонстрацию чувств и эмоций самой гнусной формой выставлять себя на посмешище: «Уж коли прибегать к обману, так лучше делать это с пользой для наших талантов, благосостояния или вкуса, нежели симулировать благочестие либо чувствительность ради них самих». В июне того же года официальный бюллетень сообщил о производстве Вальтера в капитаны гусаров его величества; это продвижение обошлось отцу в 3500 фунтов. Полк стоял в Дублине, и к своим обязанностям хозяйки Джейн впервые приступила в доме № 10 по Сент-Стивен-Грин, который они снимали с другой семьей. Любящему свекру она сообщала, что, когда они с Вальтером как-то в полночь отправились спать, их слуги все еще продолжали распивать пунш.

Анна, третий ребенок в семье, была честной, прямой и чувствительной девушкой, однако со склонностью высмеивать ближних, каковую отец пытался пресечь. Скотт звал ее Беатриче в честь шекспировской героини** и гордился ее стройными ножками. Затяжная истерика, в которую Анну поверг отъезд Вальтера к месту службы, несколько встревожила ее стоически настроенного родителя, и без того порицавшего дочь за ехидство. В целом же он был доволен как Софьей, так и Анной, утверждая, что обе ни в малейшей степени не заражены претенциозностью или тщеславием и получили скорее недостаточное, нежели чрезмерное образование: «Я так боялся, как бы из них не вышли «львицы» дешевого толка, что в основном положился на те способности, что им отпустила матушка-природа».

* Свидетельство в пользу другой стороны. Из «Воспоминаний шотландской леди, 1797—1827» Элизабет Грант можно заключить, что «Водянка» не очень гордилась своей новой родней, понимая, что Джейн могла бы составить партию и повыгодней: «Девочка вышла всего лишь за баронета, да и то новоиспеченного» (примеч. авт.).

** Беатриче — героиня комедии Шекспира «Много шума из ничего».

По естественному ходу вещей Анна восхищалась крепким, застенчивым и довольно-таки бессловесным братцем Вальтером, избрав мишенью для насмешек младшего брата Чарлза, неглупого, болтливового, ленивого и приятного паренька, отличавшегося блестящими манерами и неимоверной самонадеянностью. Если Вальтер наследовал от отца любовь к действию, то Чарлз разделил его страсть к книгам и веселой компании. Скотт с ужасом наблюдал, как в его младшем отпрыске возрождается его собственная юношеская тяга к праздности и беспредметной мечтательности. Решив, что привычка к безделью будет развиваться в Чарлзе и дальше, если его оставить дома, Скотт в 1820 году поручил мальчика заботам преподобного Джона Вильямса, викария местечка Лампистер в графстве Кардиганшир, который слыл прекрасным наставником молодежи. Там Чарлз неплохо себя проявил: у него заметно поубавилось фанабери и несколько прибавилось прилежания. Время от времени в Лампистер приходили поучения от отца, который рекомендовал сыну больше работать, изучать историю и чаще писать домой. «Господь, — внушалось юному Чарлзу, — обрек нас *трудоу* во всякий час нашей жизни. Ценно лишь то, что достается трудом, — будь это хлеб, который пахарь добывает в поте лица своего, или утомительные забавы, посредством которых богач спасается от одолевающей его скуки, — охота, спорт и т. п. Вся разница между ними заключается в том, что бедняк утруждается, чтобы заработать себе на обед сообразно аппетиту, а богач — чтобы заработать себе аппетит сообразно обеду». Мораль — самые блестящие дарования и задатки сгинут втуне, если к ним не прибавить усердия, — иллюстрировалась на примере печальной судьбы родного дядюшки Чарлза и брата Скотта — Тома. «Попотеешь весной — пожнешь осенью», — говорил Скотт. Том умер в 1823 году. Скотт еще раньше усыновил его ребенка, а после кончины брата опекал его вдову и детей, которые подолгу гостили в Абботсфорде.

В должный срок Чарлз стал студентом Оксфордского университета, где перед ним открылись широкие возможности без помех предаваться врожденной лени. Весной 1825 года родные узнали, что он гостит в Стоуи, имении герцога Бекингэмского. «Одному Богу ведомо, как он там очутился! — прокомментировала Анна. — Его письма — сплошь пересказ того, что сказал ему Герцог и что *он* сказал *Герцогу*». Чарлз, подобно отцу, со всеми заводил дружбу, но не в пример отцу бежал необходимости выбрать для себя жизненное поприще. Он было заговаривал об армии, но как-то неопределенно: когда же ему указали, что он рискует выбросить на ветер годы в Оксфорде, он намекнул, что не прочь бы пойти в священники, за что получил строгий нагоняй от отца. Скотт считал, что подаваться в священники — «подлость, если только решение это не продиктовано сильным чувством и убеждением». Чарлз продолжал бездельничать и по утрам валяться в постели. Как-то летом он изъявил охоту посмотреть Голландию, Бельгию, долину Рейна и Альпы. Скотт послал ему на путевые расходы 50 фунтов, но ехидно присовокупил: «Альпы, сей предмет вполне законного любопытства, легко найти там и тогда — там, где они пребывают в настоящее время, и тогда, когда у тебя выпадет».

дет свободная минутка отправиться их поискать». В конце концов Скотт ухитрился через самого Георга IV подыскать беспечно-му юнцу местечко в министерстве иностранных дел, и Анна нашла достойный повод поупражняться в остроумии, сообщив брату Вальтеру: «Наши иностранные дела отбыли блистать своими талантами на Даунинг-стрит*».

Хотя Анна обладала даром сочинять забавные письма, а Чарлзу нравились те же книги, что и отцу, никто из детей Скотта не проявлял интереса к его деятельности в области права, истории и литературы. Поэтому ему повезло, когда он свел знакомство с представителем молодого поколения, который мог беседовать с ним на любимые темы, обнаруживая тонкость суждений и понимание предмета. В мае 1818 года на приеме для узкого круга он встретился с адвокатом и журналистом Джоном Гибсоном Локхартom, сразу же растопив своей сердечностью присущую тому холодность. Узнав, что Локхарт недавно побывал в Германии, Скотт завел разговор об этой стране и ее литературе и с удовольствием выслушал рассказ о посещении молодым человеком Веймара. Локхарт спросил у слуги на постоялом дворе, в Веймаре ли сейчас Гёте. Это имя, судя по всему, ничего слуге не сказало. «Великий поэт», — пояснил Локхарт. Тот о нем и не слыхивал. На помощь поспешила хозяйка: гость имеет в виду господина тайного советника фон Гёте? Ну кто же не знает его высокопревосходительства!

«Надеюсь, вы днями выберетесь погостить у меня в Абботсфорде, — пригласил Скотт, — но, когда доедете до Селкирка или Мелроза и начнете спрашивать дорогу, даже у трактирщицы осведомляйтесь, где вам найти *Шерифа*, — только так!» Потом Скотт дал Локхарту возможность подзаработать в издававшемся Баллантайном «Эдинбургском ежегоднике», и они стали близкими друзьями.

Локхарт, сын фанатика священника из Глазго, родился в 1794 году. У него была тяжелая юность, и впоследствии он говорил дочери Скотта Софье, что ее отец, возможно, непревзойденный поэт, но зато его родитель в прозе жизни кому угодно даст сто очков вперед. Переболев в детстве корью, Локхарт остался глухим на одно ухо и, видимо, по этой причине чувствовал себя в обществе крайне стеснительно: не расслышав, что говорят другие, восприимчивый человек склонен принимать сказанное на свой счет и думать бог весть что. Не исключено, что Локхарт вообще был обижен на всю часть рода человеческого, наделенную нормальным слухом. Несмотря на свой физический недостаток, он неплохо успевал в средней школе Глазго и еще лучше в Оксфордском университете, где пятнадцати лет добился именной стипендии для поступления в колледж Баллиол. Выдающиеся успехи в Оксфорде не принесли ему ровным счетом ничего: окончив университет, он пару лет перебивался в Глазго, где написал так и оставшийся непубликованным роман, и более сносно зажил в Эдинбурге, где выучился на адвоката и в 1815 году был допущен к практике. Кли-

* На Даунинг-стрит в Лондоне находится резиденция премьер-министра Великобритании; в переносном смысле Даунинг-стрит — английское правительство.

ентуры у него не было, но время от времени он пописывал статьи в газеты и свел знакомство с Джоном Вилсоном, человеком ярким, грубым, энергичным и черствым, занимательным собеседником и капризнейшим другом. Он и Локхарт на пару выступили на страницах «Журнала Блэквуда» и быстро взбудоражили всю литературную общественность. Внешне они являли полную противоположность друг другу: Вилсон, неотесанный шумный блондин, и Локхарт, чопорный молчаливый брюнет.

Красивый, утонченный и умный Локхарт пользовался славой в высшей степени неприятного субъекта, поскольку держался с людьми высокомерно, язвительно и подчеркнуто холодно. Скотт обратил внимание на его привычку удаляться от общества и, уединившись где-нибудь в сторонке с одним из друзей, перемывать косточки присутствующим. За его неприступной внешностью и саркастическими речами скрывался, однако, веселый и приятный характер, который постепенно открывался близким друзьям; но глухота и постоянное расстройство пищеварения подпортили его натуру, что отчасти объясняет ту неприязнь, с какой встречали в обществе его появление, а также яростную сатиру и ядовитые выпады в печатных его выступлениях. Сердечным и мягким он становился только при теплом и добром к себе отношении; со Скоттом он полностью оттаивал и делался самим собой.

Блэквуд, владелец журнала, для которого писал Локхарт, был человек пробивной, деятельный и вульгарный, лишенный воображения, но зато крайне хитрый и одержимый жгучим желанием выжить Констебла из Эдинбурга, чтобы занять место самого влиятельного издателя. И он в конце концов добился известности, основав, как он произносил с гордостью, «мо-ой жа-анал», который сотрудники и авторы называли по этой причине «Можа», а читающая публика знала под заглавием «Ежемесячный журнал Блэквуда». Официального редактора у журнала не было, но его ведущими авторами стали Локхарт и Вилсон (взавысив псевдоним «Кристофер Норт»); они-то и задали тон этому изданию — тон пасквильерский, бесстыжий, клеветнический, злобный, свирепый, мерзкий, вульгарный, но прежде всего ребячливый. Последнее определение выражает существо явления. Локхарт и Вилсон вели себя с невоспитанностью и безответственностью диктаторов и уличных мальчишек, они упивались злорадством, поливая грязью и поносой своих ближних, причем предавались этому занятию с пагубной изобретательностью. Они выбирали жертв главным образом по политическому принципу; мишенью их ядовитых инвектив стали Китс, Хэзлитт и Ли Хант. Казалось бы, Локхарта еще можно было извинить по молодости лет и неспособности зарабатывать на жизнь более достойным мужчины способом, но факты доказывают обратное. Через полтора десятка лет, уже будучи признанным редактором ведущего лондонского журнала, он тиснул разгромную и с головой выдающую его самого рецензию на стихи Теннисона; после которой поэт замолк на целое десятилетие.

Скотт был в ужасе от их жестоких и грубых забав. Сноровку, с какой Локхарт пускал стрелы по конкретному адресу, он считал отвратительной и утверждал, что жизнь предоставляет массу возможностей посмеяться над другими честно и необидно, а если уж

критиковать, то объективно и беспристрастно, ни в коем случае не переходя на личности. По словам Скотта, от Локхарта было не меньше бед, чем от мартышки в посудной лавке, и сам он прилагал все силы, чтобы занять молодого человека более подобающим делом. Оснований придерживаться такой линии у Скотта прибавилось, когда Локхарт вознамерился жениться на его дочери Софье. «Она могла бы найти человека и побогаче, но едва ли более совершенного и достойного», — отметил Скотт, во всем предпочитавший находить светлую сторону. В январе 1820 года Локхарт явился к матери Софьи и сделал официальное предложение; миссис Скотт предпочла бы более аристократическую партию, но никаких возражений, кроме этого, против своего будущего зятя не имела. Да и самому Скотту в Локхарте нравилось решительно все, кроме напыщенности, скрытности, скованности и связей с «Журналом Блэквуда». Софья и Локхарт обвенчались 29 апреля. Братец Вальтер присутствовал при полном параде, хотя скудость усиков, украшавших его верхнюю губу, чуть-чуть подпортила ему удовольствие. В качестве косметического средства отец порекомендовал ему женую пробку, но родительский совет был отвергнут. Несколько лет молодая чета с весны до осени проживала в домике Чифсвуд на территории Абботсфорда. Раньше домик принадлежал несговорчивому полоумному скряге, и, когда Скотт загорелся желанием его приобрести, герцог Баклю предупредил, что ему никогда не сторговаться с этим мошенником и сумасшедшим. «Как знать, — ответил наш землевладелец. — Он мошенник, а я законник; он сумасшедший, а я поэт».

После замужества Софьи Скотт первым делом ублажил Локхарта, устроив избрание Джона Вилсона на кафедру этики Эдинбургского университета. Покончив с этим, он решил, что теперь-то может себе позволить преподавать зятю пару-другую отеческих советов. Дождавшись бешеного наскока со страниц журнала на одну из местных знаменитостей, Скотт написал Локхарту, что решительно не приемлет сатиры *на личности*. Тот против ожиданий принял укор абсолютно спокойно, и Скотт признался Софье: «Старому чудаку весьма лестно узнать, что молодой друг склонен прислушаться к его мнению в этом вопросе».

Но зло уже совершилось. Редактором «Лондонского журнала Болдуина», печатного органа вигов, был Джон Скотт*. Обуянный жаждой мщенья, он ринулся в атаку на блэквудовцев, публично назвал редактором их издания Локхарта, связал его имя с именем Вальтера Скотта, смешал Локхарта с грязью по методу последнего и объявил его лжецом. Локхарт попросил своего друга Джонатана Кристи зайти к редактору «Лондонского журнала» и объясниться с ним. Несколько недель прошли в опровержениях и намеках на то да на это, и дело запахло дуэлью. Локхарт выехал в Лондон, однако приятели не допустили встречи противников, и Локхарт возвратился в Эдинбург, предварительно опубликовав заявление, что не имеет никакого отношения к руководству «Журналом Блэквуда», а Джон Скотт — лжец и мерзавец. Затем последовало заявление Кристи. Джон Скотт, и без того бушевавший от ярости, воспринял

* Однофамилец Вальтера Скотта.

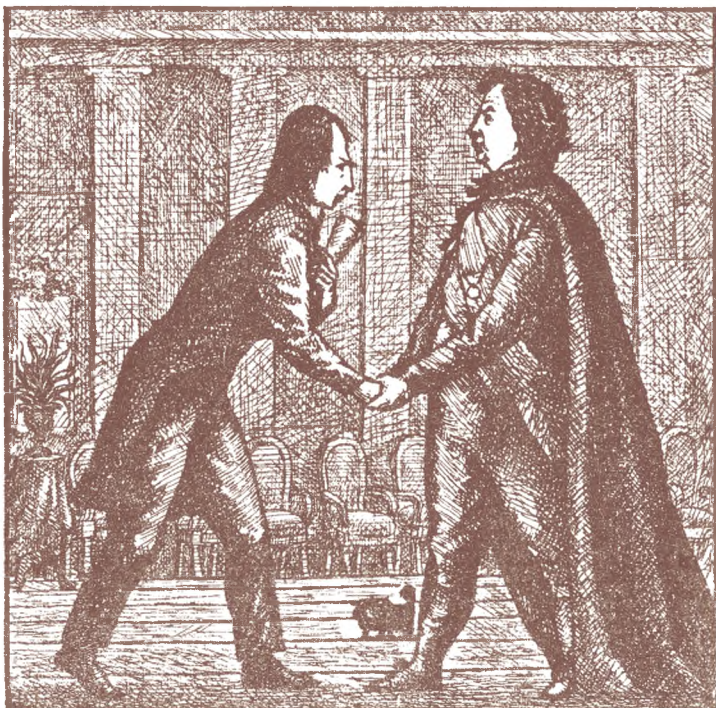
последнее как личное оскорбление и вызвал Кристи на поединок. Лунным февральским вечером они сошлись в местечке Чок-фарм. Кристи стрелял в воздух, Скотт стрелял в противника, но промахнулся. Пистолеты перезарядили, и следующий выстрел оказался для Скотта смертельным. Доставив раненого в ближайшую таверну, Кристи и секунданты скрылись. Вальтер Скотт в это время случайно находился в Лондоне. Он разузнал, где скрывается Кристи, выяснил подробности дела, сообщил о нем Локхарту и предупредил того: «Отныне Вы не должны иметь ничего общего с монстрами от журналистики и охотниками до скандалов... Вам следует отказаться от Ваших проказ и выходов...» И вообще Локхарту нужно порвать с журналом, который для него, с его страстью к сатире, всегда будет представлять соблазн и ловушку: «Не *обещайте*, но действуйте — незамедлительно и со всей решимостью... Это мое последнее слово, и больше на эту тему я не собираюсь ни писать, ни разговаривать с Вами». Раненый скончался, Кристи бежал во Францию, и Вальтеру Скотту пришлось взять на себя заботы о жене беглеца, совсем обезумевшей от горя, и о его престарелом отце. Когда Кристи вернулся, суд признал его невиновным в преднамеренном убийстве, а Локхарт, которому за два дня до трагедии в Чок-фарм жена подарила сына, хотя и продолжал писать для «Журнала Блэквуда», дал тестю честное слово не участвовать впредь в сатирических битвах на его страницах.

Будущее Локхарта определилось, когда лондонский издатель Джон Мюррей надумал основать консервативную газету и главным редактором пригласил зятя Скотта. В 1825 году в Чифсвуд пришло письмо с сообщением о скором приезде мистера Дизраэли, который сам обо всем расскажет. Ожидая увидеть известного автора Айзека Дизраэли, Локхарт был шокирован чрезмерно красочной внешностью Бенджамина, сына Айзека. Справившись с удивлением, он выслушал молодого человека, после чего они вместе отправились к Скотту поговорить о делах. До сих пор через порог Абботсфорда еще не переступало личности более странной; мы бы многое дали, чтобы посмотреть на реакцию Скотта, если бы ему сообщили, что его бойкий расфуфыренный гость станет в один прекрасный день премьер-министром Великобритании. Бенджамин провел в Чифсвуде три недели и часто навещал Скотта. Вот как он описал хозяина Абботсфорда: «Человек добрый и даже несколько царственный, с огромным лбом, пронизательным взором, седой, облаченный в зеленую охотничью куртку. Он отличался исключительным гостеприимством; за обедом у него не было недостатка в кларете, а после обеда приносили виски и большие бокалы. Я запомнил его восседающим в кресле в его роскошной библиотеке, где обычно собиралась вся семья и где мы встречались по вечерам, а вокруг него — с полдюжины терьеров: на коленях, на плечах и в ногах. «Потомство Дэнди Динмонта», — объяснил он мне. У всех псов было только два имени — Перец либо Горчица, в зависимости от масти и возраста. По вечерам он читал нам вслух, а то его дочь Анна, интересная девушка, исполняла какую-нибудь балладу, аккомпанируя себе на арфе. Он любил рассказывать истории про вождей шотландских кланов или про шотландских юристов».

Мысль о зяте в роли редактора ежедневной газеты была Скотту явно не по душе: занятие это никак не приличествовало джентльмену. Бенджамин постарался представить дело в более respectable свете, заменив «редактора» на «генерального распорядителя». Однако, на взгляд землевладельца и противника «Журнала Блэквуда», связываться с руководством ежедневной газеты было неблагородным промыслом. Бенджамину пришлось удовольствоваться обещанием Локхарта приехать в Лондон и лично поговорить с Мюрреем. В Абботсфорде Бенджамина познакомили с «огромным, тучным и румяным человеком» по имени Арчибальд Констебл. Они отправились в Лондон одним дилижансом, и у Дизраэли сложилось из беседы с Констеблом впечатление, что его попутчик и есть «автор «Уэверли». «Он водрузил на голову роскошную бархатную шляпу с широкой золотой лентой и стал похож на большого геральдического льва при короне... Он также сообщил мне, что в будущем году намерен пристроить к Абботсфорду новое крыло... В жизни не видел другого такого хвастуна и спесивца». Можно представить, сколь тщательно хранил бы издатель тайну «автора «Уэверли», если, по свидетельству Дизраэли, Констебл не мог удержаться и выболтал ему, случайному знакомцу, хотя, разумеется, под строжайшим секретом, имя лица, которое только что опубликовало в очередном выпуске «Эдинбургского обозрения» анонимную и вызвавшую много толков статью о Мильтоне, — некто Маколей, от коего издатель многого ожидал в будущем.

Поездка в Лондон закончилась тем, что Локхарт согласился стать редактором журнала «Квартальное обозрение» и получать за это тысячу фунтов в год — в придачу к 1500 фунтам за участие в выпуске газеты, которая, по расчетам Мюррея, вот-вот должна была начать выходить. Редактором «Квартального обозрения» Локхарт оставался до тех пор, пока сам не ушел на покой, хотя он и жаловался Скотту, что Мюррей «вечно пьян и с ним почти невозможно серьезно поговорить о делах». А ежедневная газета просуществовала всего несколько месяцев, так что Локхарту в порядке возмещения утраченного дохода пришлось самому взяться за писание книг и статей. Когда Софья с Локхартом переехали в Лондон, Скотт очень по ним скучал; он неоднократно пытался выхлопотать для зятя какую-нибудь казенную синекуру, однако безрезультатно. «При том, что он один из лучших, добрейших и даже умнейших людей, каких я знаю, склонность и талант Джона наживать врагов, и врагов могущественных, — это нечто из ряда вон выходящее», — жаловался он Софье.

Но Локхарт обладал одним выдающимся достоинством — он любил Скотта, восхищался им и проявил верность его памяти, подчас в ущерб памяти других современников, когда составил жизнеописание Скотта в десяти томах, то есть в миллион с лишним слов. Это неисчерпаемая сокровищница, из которой позднейшие исследователи смогли извлечь много драгоценностей.



Глава 16

В честь короля

Когда в 1815 году они встретились в Лондоне, Скотт попросил принца-регента об одолжении. Со времен унии судьба регалий шотландского трона была покрыта мраком неизвестности. Никто ничего не знал о местонахождении этих символов национальной независимости, и пьяные якобиты распевали непристойные песенки о том, по какому назначению употребляются шотландские корона, скипетр и т. п. при английском королевском дворе. Скотт просил разрешения обследовать тронный зал Эдинбургского замка, и регент позволил. Для этой цели создали комиссию, и 4 февраля 1818 года Скотт с замирающим от волнения сердцем присутствовал при вскрытии сокровищницы, простоявшей запечатанной свыше ста лет. Все регалии были обнаружены в полной сохранности. Чувство облегчения, испытанное при этом Скоттом, можно было сравнить лишь с охватившим его трепетом. На другой день некоторые члены комиссии привели в замок домашних полюбоваться на регалии. Скотт взял с собой Софью; батюшкины разговоры на эту тему взвинтили ее до такой

степени, что она едва не упала в обморок, когда сокровищницу открыли вторично. Вдруг она услышала, как отец воскликнул: «Ради бога, не надо!» Один из членов комиссии, будучи в игривом настроении, собирался возложить корону на голову какой-то присутствовавшей при сем девушке; голос Скотта и выражение лица, однако, заставили того передумать, и он нервно положил диадему на место. Несчастный пришел в столь очевидное замешательство, что Скотт прошептал: «Умоляю, простите!» Затем, увидев, что Софья побледнела и, чтобы не упасть, прислонилась к притолке, он отвел ее домой. Она заметила, что рука у него время от времени подрагивает. Как мы уже отмечали, патриотический пыл Скотта никогда не влиял на его дружеские симпатии, и вскоре он уже хлопотал об учреждении синекуры для Адама Фергюсона, который со временем был назначен хранителем регалий шотландского трона и, как того требовала должность, произведен в рыцарское звание. Последнее не вызвало энтузиазма у Тома Парди, заметившего: «Теперь нашего блеску поубавится». Сам Скотт незадолго до этого получил титул баронета.

Он впервые услышал о желании регента даровать ему титул в последних числах ноября 1818 года. Скотт был не из тех, кто пришел бы от такого известия в безумный восторг, но ему все равно было приятно. «Наш толстый друг, — писал он Морриту, — желая почтить литературу в лице моей недостойной особы... вознамерился пожаловать меня в баронеты. Я мог бы с легкостью наговорить сотню высоких фраз о своем презрении к титулам и так далее; но хотя я бы не ударил и палец о палец, чтобы выпросить для себя, либо купить, либо выклянчить, либо одолжить какую бы то ни было награду — лично мне она принесет больше неудобств, чем всего остального, — в данном случае это исходит непосредственно от символа феодальной чести и само по себе почетно, так что я и в самом деле за него благодарен... В конце концов, если уж говорить про себя, геральдический щит и девиз на моем гербе не запятнаны ничем, кроме пограничных разбойничьих вылазок да государственных измен — преступлений, смею надеяться, вполне джентльменских». Он обратился к герцогу Баклю и Скотту из Хардена, «главам моего клана и моим сеньорам», и те посоветовали принять титул. Сам Скотт относился к баронетству со здравым безразличием, однако титул мог оказаться полезен сыну и порадовать жену. Больше того: «Куда тщеславнее, думаю, будет отклонить, нежели принять то, что мне, в соответствии с ясно выраженным пожеланием Монарха, предложено в знак особой милости и отличия».

Из-за болезни он смог отправиться в Лондон получать свое баронетство только весной 1820 года. Ему снова пришлось скучать в свете и сносить его ласки. Только что скончался Георг III, и регент, ставший Георгом IV, решил украсить портретом Скотта большую галерею Виндзорского замка: «Король повелел мне позировать сэру Томасу Лоуренсу, дабы повесить портрет в самых сокровенных своих покоях. Я хочу позировать вместе с Майдой — пусть на картине будет хоть один красивый мужчина». Скотт позировал также сэру Фрэнсису Чантри, лепившему с него бюст. Среди вихря приемов был и ужин у герцога Веллинг-

тона, который с отменным добродушием вторично переиграл все свои баталии, чтобы доставить удовольствие свежее испеченному баронету и его сыну Вальтеру. «Вернувшись, надеюсь застать тебя настоящей красоткой, — писал Скотт жене, — ибо здесь, даю тебе честное слово, я пользуюсь успехом у очень хорошеньких дам и надеюсь увидеть столь же веселые лица, когда возвращусь домой». Повторы во фразе свидетельствуют о том, как ему не терпелось распрощаться с Лондоном.

Титул дал ему возможность вдоволь про себя позабавиться. Георг IV выделил его из обычной толпы ничтожеств, собирающихся в апартаментах к королевскому выходу: «Видел сегодня Короля и засвидетельствовал ему свое почтение. Вряд ли кому из подданных Монарх оказывал более милостивый прием — он не позволил мне преклонить перед ним колено, несколько раз крепко пожал руку и наговорил столько любезностей и приятностей, что стыдно повторять. Самое смешное заключалось, однако, в том, что собравшиеся, которым моя внешность скорее всего не давала основания считать меня чем-то особенным, увидев, как хорошо меня приняли, удостоили меня не менее полутысячи церемонных поклонов и расшаркиваний, пока я удалялся во всем величии любимца Короны». Воздействие его баронетства на других, как он отметил, свелось к тому, что лакеи начали ему кланяться на два дюйма ниже и распахивать двери на три дюйма шире, чем раньше, хотя его рост и размеры остались все теми же. У короля хватило пронизательности понять, что, воздавая почести Скотту, он воздает почести самому себе. «Мне всегда будет лестна мысль о том, что сэр Вальтер Скотт стал первым творением моего правления», — говорил Георг IV. Наибольшее удовлетворение получил, однако, Том Парди, отметивший это знаменательное событие тем, что всем абботсфордским овцам, уже помеченным на спине инициалами владельца — «В. С.», — он подставил к клейму букву «С», означавшую «сэр».

В начале 1821 года Скотт опять оказался в Лондоне по делам Высшего суда. Он остановился на Джермин-стрит, в гостинице «Ватерлоо». Собак там не держали, но зато имелся «кот, с которым можно с грехом пополам поговорить и который утром съедает со мной за компанию блюдечко сливок». Началась обычная карусель приемов, и он заявил Софье, что за восемь недель всего два раза крепко сажился в калошу, но удачи надолго не хватит. Она и вправду едва ему не изменила, когда однажды у него вылетело из памяти, где он обещался обедать, и он только случайно вспомнил, что приглашен к знаменитому государственному деятелю лорду Кэстлери, в то время министру иностранных дел. «Поведай я об этом своим дорожным попутчикам или в случайной компании, меня бы сочли тщеславным щенком, однако все это — святая истина, как и то, что в этот же самый день я принимал у себя в гостинице двух синеленточников* и одну маркизу. И вот вам результат — я превратился... в весьма важную особу. Хозяин гостиницы просит похлопотать, чтобы ему возобновили лицензию

* То есть кавалеров одной из высших наград Британской империи — ордена Подвязки, носимого при ленте синего цвета.

на его заведение. Владелец прокатных конюшен рассчитывает на разрешение завести шестиместные экипажи, и одному Богу ведомо, сколько других тщетных надежд породило то, что я хожу в фаворитах». К концу марта он был «по горло сыт изысканным обществом и изысканным образом жизни, начиная от герцогов и герцогинь и кончая рыбой тюрбо и яйцами ржанки. Все это очень мило, пока в новинку, но чем дольше, тем больше чувствуешь себя пуделем, которого все время заставляют ходить на задних лапках». Он решительно не был создан для светской жизни; он потому и надумал отправиться долечиваться в Карлсбад, что английские курорты кишели охотниками за знаменитостями: «Я не умею давать отпор этой публике, хотя кому еще так от них достается, как мне!»

Тем не менее он поддался искушению побывать на коронации Георга IV, для чего вторично посетил Лондон в том же году. Он отбыл в июле морем на одном из первых пароходов, который назывался «Город Эдинбург», хотя, по мнению Скотта, его следовало бы окрестить «Новым дымоходом». Путь морем от Лейта до Уоппинга занимал шестьдесят часов и стоил три гинеи, тогда как дилижанс добирался до Лондона неделю и обходился от 30 до 40 фунтов. Скотт приглашал с собой Джеймса Хогга, чтобы устроить того на какое-нибудь местечко или выхлопотать ему пенсию, но Этрикский пастух не захотел пропускать ежегодную ярмарку на выгоне Святого Босуэлла.

Такого дивного зрелища, как эта коронация, Скотт, по его словам, не мог и вообразить. Красота и торжественность древнего обряда, совершенного в Вестминстерском аббатстве, произвели на него неизгладимое впечатление. Всю эту роскошь подпортила одна-единственная ложка дегтя: королева. Как мы знаем, тори поддерживали Каролину после того, как она ушла от регента, который был вигом, и Скотт навещал ее в Блэкхите. Сейчас все стало наоборот. Вспомнив, как обошелся с Фальстафом принц Хэл*, регент отказался от своих старых друзей и превратился в тори, когда от трона его отделяла всего лишь церемония коронации. Посему виги взяли сторону той, кого теперь величали «много пострадавшей женщиной». В 1814 году Каролина покинула Англию и обосновалась в Италии. Странные слухи о ее тамошнем поведении дошли до ее высоконравственного супруга, и на рассмотрение палаты лордов был представлен законопроект о разводе. Однако регент не пользовался у толпы популярностью, адвокат Броугем ловко защищал Каролину, и законопроект сняли с обсуждения во избежание революции. Узнав об этом, лондонцы от радости посходили с ума, высыпали на улицы и перебили все окна, где в ознаменование прекращения дела о разводе не выставили зажженных свечей.

Желание Каролины посчитаться с мужем не удивило Скотта, но он не питал иллюзий в отношении как самой королевы, так и тех, кто ее поддерживал: «Пользуйся она в верхах той же поддержкой, что и в низах (я имею в виду пропорцию), и имей деньги на экипаж-

* См.: Шекспир В. «Король Генрих IV», часть I—II. Принц Хэл — прозвище Генриха IV в ту пору, когда он еще не был монархом.

ровку своих сторонников, я бы не поразился, увидев, что она, натянув на свою толстую задницу пару лосин, ведет на Лондон целое войско — а там была не была!» Он говорил, что толпа отнюдь не заинтересована в счастливом воссоединении супругов. В этом быстро забытом скандале Скотт тоже сыграл свою маленькую роль — со свойственными ему сообразительностью и здравым смыслом. После вступления Георга на престол королева объявила, что намерена поселиться в шотландском замке Холируд, и Тайный совет обратился к Скотту за помощью, как помешать этому. Скотт подчеркнул, что королеве, разумеется, не может быть оказано никакого сопротивления силой, и порекомендовал немедленно отправить во дворец с полсотни рабочих, приказав им заняться ремонтом, побелкой и настилкой полов во всех комнатах разом, с тем чтобы сделать дворец совершенно непригодным для проживания. Его совету последовали, и королева отказалась от намерения обосноваться в Шотландии. Но во время коронации супруга она таки учинила дебош, пытаясь прорваться в Вестминстерское аббатство. В толпе многие возмущенно кричали: «Позор! Позор! Прочь отсюда!», однако группа хулиганов, возможно, специально для этого нанятых, подбадривала ее возгласами: «Давай, Каролина! Покажи им, милашка!» Эпизод был в целом довольно гнусный, и Скотт поставил на ней крест: «Не королева, а осатаневшая сука».

Сам он получил от церемонии огромное удовольствие, которое возросло еще больше благодаря одному приятнейшему происшествию. Возвращаясь в третьем часу ночи пешком из Вестминстера после банкета, он и его молодой друг застряли в толпе, собравшейся на улице Уайтхолл. Скотт попросил сержанта полка шотландских драгун позволить ему пройти на середину дороги, где был оставлен проезд для экипажей знатных особ. Тот ответил, что это никак невозможно — есть строгий приказ не пускать. В эту минуту толпа наддала, и его спутник произнес: «Осторожней, сэр Вальтер Скотт, осторожней!» Сержант встрепенулся: «Что?! Сэр Вальтер Скотт? Сейчас мы ему поможем! А ну, ребята, потеснись, дай пройти сэру Вальтеру Скотту, нашему славному соотечественнику!» «Ребята» не только потеснились, но и призвали благословение на голову своего знаменитого земляка. Из этого следует, что тогда в армии служили люди грамотные. По дороге же в Абботсфорд Скотт отдал дань уважения знаменитейшему из англичан — остановился в Стратфорде-на-Эйвоне и расписался на стене комнаты, в которой, по преданию, родился Шекспир.

Оказав честь собственному монарху, Скотт решил оказать честь и королю Шекспира. Он тщательно проштудировал литературу, историю, трактаты и документы начала XVII века и осенью 1821 года создал стилизацию в форме переписки, относящейся якобы ко времени правления Иакова I*. Поначалу он хотел ее издать, выдав за подлинную, но друзья уговорили его не губить материал, из которого может получиться добротный роман, и вместо публикации писем он написал «Приключения Найджеда».

* Впервые опубликовано полностью в 1947 г. под названием «Частная переписка из семнадцатого века. Сочинение Вальтера Скотта» (примеч. авт.).

Книга была закончена в начале 1822 года и в мае увидела свет. Констебл сообщал из Лондона, что его агенты, фирма «Херст, Робинсон и К⁰», получив тираж, распродали семь тысяч экземпляров романа в тот же день уже к половине одиннадцатого утра. Констебл утверждал, что своими глазами видел, как прохожие на улицах читают книгу прямо на ходу: «Поверьте, я не преувеличиваю. Каждый новый роман «автора «Уэверли» отгесняет на второй план... любое другое литературное произведение». Констебл и его компаньон Кейделл пребывали в лихорадочном возбуждении. «Сэр Вальтер Скотт, вне всяких сомнений, — самый необыкновенный из ныне здравствующих людей: его знания во всех областях поразительны», — писал Констебл Кейделлу. «Автор «Уэверли» — самый выгодный наш товар; так будем держаться за него обеими руками и черпать все глубже и глубже из этого неиссякаемого источника», — писал Кейделл Констеблу. После выхода романа Флит-стрит и древнее здание Уайтфраерс, бывший кармелитский монастырь, оказались в центре внимания; люди, всю жизнь прожившие в непосредственной близости от Лондонских ворот перед Темплом, стадами бросились осматривать свой район, а миссис Хьюз, жена священника, обитавшая на Амен-Корнер, заявила, что теперь она, по ее мнению, живет в *самой завидной* части города.

«Приключения Найджела» — наиболее хитросплетенный и богато расцвеченный роман Скотта. В книге все первоклассно: увлекательный сюжет, яркий фон, захватывающие повороты интриги, живые, запоминающиеся характеры; последние, как всегда у Скотта, — особое достоинство повествования. В романе действует очаровательная героиня, самая привлекательная у «автора «Уэверли», если не считать Кэтрин Ситон, и герой, чьи отнюдь не героические качества превращают его едва ли не в живого человека. Великолепен образ сэра Мунго Мэлегроутера, да и портреты Джорджа Гериота, Мониплайза и дамы Эдлчоп вряд ли выпишешь лучше. Но самое замечательное в книге — Иаков I. За три года до того, как этот монарх появился в «Найджеле», он фигурировал на страницах другого романа в виде пьяного идиотика, что не понравилось Скотту, который тогда же упрекнул автора: «Мудрейший дурак христианского мира»* заслуживал более яркого характера. Порой мне приходит в голову, что его остроумие, проницательность, педантичность, самомнение и тщеславие, его жадность и мотовство, его привязанность к фаворитам и потуги на мудрость делают его самой полнокровной комической фигурой в реальной истории». Под пером Скотта он и стал самым полнокровным комическим образом исторического деятеля, какой мы встретим в романе или драме. По-человечески он много естественней и понятней, чем монархи у Шекспира или Дюма, и куда занимательней. По оригинальности же замысла и тому смеху, что он вызывает у читателя, этот образ не уступит величайшим комическим характерам мировой литературы, причем Скотт не прибегает здесь к тем преувеличениям и театральным эффектам, от которых столь часто страдают «чудаки» Дик-

* Так сказал об Иакове французский король Генрих IV.

кенса. По существу, король Иаков Скотта — творение поэтического юмора и стоит в одном ряду с сэром Джоном Фальстафом.

Собственный монарх Скотта тем временем вновь потребовал от него внимания к своей особе, и летом 1822 года первый великий писатель, удостоенный титула за заслуги перед литературой, организовал прием первого венценосца из Ганноверской династии, ступившего на землю Шотландии. Не кто иной, как Скотт уговорил Георга IV посетить Эдинбург, и своим успехом этот визит обязан ему и только ему. Он лично руководил практически всем, у него спрашивали совета (и этим советам следовали) даже по таким пустякам, как оставить или счистить с арки моста Ватерлоо памятную надпись о том, что при открытии моста присутствовал принц Леопольд, — королю Георгу предстояло здесь проезжать, а с Леопольдом, своим зятем и будущим правителем Бельгии, отношения у него были напрочь испорчены. Скотт выразительно ответил, что скорее подожжет Эдинбург своими руками, чем допустит оберечь королевские нервы ценой шотландского достоинства. Сначала, как водится, было создано бесчисленное количество разных комитетов по встрече, чтобы все вконец развалить, ибо (не секрет) любые советники и советчики чувствуют себя в безопасности лишь тогда, когда их видимо-невидимо. Явившись в столицу, Скотт застал полный беспорядок и начал мало-помалу прибирать все к рукам, так что вскоре ему на добровольных началах уступили бразды правления. Его превратили в нечто вроде главного консультанта и представляли ему на рассмотрение каждую мелочь. С семи утра и до полуночи его дом напоминал ярмарку: в день к нему за советом приходило не менее шести десятков людей, и он был вынужден разрешать ссоры, сглаживать трения, смягчать предубеждения, выбивать деньги и поддерживать тесные постоянные связи со всеми мыслимыми светскими, религиозными, профессиональными и общественными институтами Шотландии. Английская знать тоже причиняла немало хлопот, требуя, чтобы все делалось так, как хотелось бы англичанам; однако в конце концов все было сделано так, как хотелось Скотту. Около трехсот шотландцев спустились с гор во главе со своими вождями, полностью оснащенные оружием и волынками. Вожди вступали между собой в бесконечные раздоры, поэтому всех горцев отдали под начало к Скотту, и каждый день они у него пачками маршировали по Замковой улице с волынками и знаменами. Горожане опасались, не слишком ли большая роль отводится в церемонии горцам и не оттеснят ли они все остальное на второй план; но вид у горцев был весьма живописный и романтический, а Скотт умел показать товар лицом. Целый месяц он с невозмутимым добродушием и неколебимым тактом корпел над порученным ему делом, но сумел и тут выкроить время, чтобы показать развалины часовни святого Антония и курган Масгета, увековеченные в «Эдинбургской темнице», поэту Джорджу Краббу, который приехал к Скоттам погостить за неделю до предполагаемого прибытия короля.

14 августа королевская яхта с эскортом военных кораблей под проливным дождем пристала к берегу неподалеку от Лейта. Скотт отправился засвидетельствовать свое почтение. Когда его

лодка подошла к «Королю Георгу», об этом доложили монарху, и он воскликнул: «Как! Сэр Вальтер Скотт! Вот кого из шотландцев мне хочется видеть в первую очередь! Пригласите его подняться». Взойдя на борт, Скотт произнес речь, король ответил на приветствие, приказал подать бутылку виски и выпил бокал за здоровье баронета. Скотт провозгласил ответный тост и попросил короля подарить ему бокал, из которого тот пил. Бокал он с осторожностью упрятал в карман сюртука. Вернувшись на Замковую улицу, он увлекся беседой с Краббом, забыл про бокал, уселся на него и раздавил на мелкие осколки. Для него это было не менее характерно, чем запомнить об обеде у Кэстлери. Он хотел сохранить что-то на память об историческом событии, но сердечность общения с другим человеком заставила его обо всем позабыть. Затем пошли речи, процессии, банкеты, утренние приемы у короля, служба в церкви святого Джайлза и спектакль по «Роб Рюю». Король остановился во дворце Далкейт, откуда выезжал на различные церемонии в Холируд и другие места. Как-то Скотту выпало пройти по Верхней улице в компании сэра Роберта Пиля, который отметил, что горожане приветствуют его спутника едва ли не так же почтительно, как самого короля.

В разгар «наицарственнейшей неразберихи», как именовал ее Скотт, он днем и ночью урывал каждую свободную минуту, чтобы посидеть у постели своего старого друга Вильяма Эрскина, который по ходатайству Скотта был произведен в члены Высшего суда и получил титул лорда Киннедера. Эрскин давно чувствовал себя неважно, а теперь окончательно слег из-за слухов о его связи, или, как это тогда называлось, «преступной интриге», с некой замуженной дамой. Слухи были совершенно бездоказательными, но они истерзали Эрскина, отличавшегося обостренной чувствительностью, и частые кровопускания, которые ему прописали от начавшейся лихорадки, свели его в могилу. Скотт вырвался на его похороны в один из самых загруженных дней.

Король пробыл на севере две недели и перед отъездом пожаловал в рыцари Адама Фергюсона и Генри Рэйберна — Скотт замолвил за них словечко. Скотт также просил о дозволении возвратиться в Эдинбургский замок знаменитую пушку Монс Мег, вывезенную в Лондон после якобитского восстания 1745 года. Эта пушка работы французских или фламандских мастеров XV века треснула в 1682 году во время салюта, но шотландцы чтили ее как национальную святыню. Король дал согласие, и в 1829 году, когда премьером был герцог Веллингтон, славное орудие перевезли в Эдинбург. Сэр Вальтер обратился к королю и с другим ходатайством — о восстановлении нескольких шотландских пэрств, упраздненных после выступлений сторонников Стюартов в 1715 и 1745 годах. На это также было получено соизволение. Георг IV был в восторге от оказанного ему в Эдинбурге приема и благодарен Скотту за все, что тот сделал, дабы превратить этот визит в достойное и памятное событие. Монарх горячо выразил свои чувства; то, что король так и не узнал об отказе поэта написать текст нового государственного гимна, оказалось, видимо, к лучшему.

Работы и заботы в связи с высочайшим посещением вызвали у Скотта на руках и ногах кожные высыпания, именуемые медиками потницей. Скотт опасался, что новый роман «Певерил Пик», отложенный им на полтора месяца трудов, горестей и насильственного веселья, будет припахивать апоплексическим ударом. Не исключено, что он уже различал первые признаки болезни, которой предстояло свести его в могилу; но если и так, то он держал это в тайне. Пока же, оправляясь от недуга, напавшего на него после отъезда монарха, он закончил «Певерила», «чертовски» при этом устав. Роман вышел в январе 1823 года и, хотя занимал четыре томика и стоил две гиней, хорошо расхотился. «Лучше осадить на бегах верного фаворита, чем мешать преуспевающему любимцу публики», — говорил Кейделл, рекомендуя «автору «Уэверли» не снижать производительности. Романист не нуждался в подобном совете: его переполняли новые замыслы. Однако и для его здоровья, и для его работы было бы лучше, если б время от времени он позволял себе роздых. После «Кенилворта» безостановочное писание явно давало о себе знать — хорошие и плохие романы начали чередоваться с регулярностью колебаний маятника. Жертва вдохновения, Скотт в равной степени страдал и от отсутствия оного, когда писательский зуд не желал считаться с реальными творческими возможностями. Слабые его книги — верный показатель того, что в период их создания ему бы не следовало брать в руки перо. Вяло написанные, они усыпляют и своего читателя. Порой хорошая сцена или точно схваченный характер указывают, что автор решил вдруг встряхнуться, но уже в следующей главе он, как правило, снова погружается в спячку. Блестящие места есть и в «Певериле», но их мало, и читатель устает от книги так же «чертовски», как устал сам автор. Роман тонет в многословии, но мы не станем тонуть с ним вместе и проследуем дальше.

Нет сомнения в том, что Скотт не догадывался об истинной природе своей гениальности; в противном случае до идиотизма ходульные любовные описания не соседствовали бы у него с ярко воссозданными характерами. Понимай он, на какое совершенство способен, он и не подумал бы стряпать или, на худой конец, издавать свои самые несовершенные книги. За «Певерилом» быстро — слишком быстро для рынка — последовал «Квентин Дорвард», появившийся в книжных лавках примерно через четыре месяца после первого: вымучивая предыдущий роман, Скотт уже был полон новым. На родине писателя «Дорвард» приняли довольно прохладно: читатели, вероятно, еще не успели переварить «Певерила» и не были готовы к очередной книге того же автора. Но во Франции «Дорвард» неожиданно произвел такой же фурор, какой в свое время «Уэверли» вызвал в Шотландии, а «Айвенго» — в Англии. Французские модницы принялись шить наряды из шотландки цветов дома Стюартов — *à la Walter Scott**, и каждое утро цепочки экипажей выстраивались перед лавкой, где торговали этой материей. Об авторе заговорил весь Париж, и роман расхотился тысячами. В Германии у Скотта уже было много

* В духе Вальтера Скотта (фр.).

приверженцев во главе с Гёте, объявившим его и Байрона своими любимыми писателями. Теперь же сэру Вальтеру предстояло сделать жанр романа модным и во Франции; Дюма, Бальзак и Гюго признали влияние Скотта на их творчество. Италия и другие страны тоже не остались в стороне. Парижская шумиха перекинулась на Британские острова, и «Дорварда» начали раскупать так бойко, что Констебл, которого низкий спрос на книгу поверг было в малодушную панику и заставил просить Скотта написать что-нибудь о расхожих суевериях, теперь умолял его не бросать романов. Впрочем, Констеблу было из-за чего волноваться: в «автора «Уэверли» он вложил немалый капитал, уплатив 22 тысячи фунтов за права на уже к тому времени опубликованные романы, от продажи которых Скотт успел получить половину прибыли, и выдав авансом еще 10 тысяч фунтов под еще не написанные и даже не задуманные произведения. Порядочную часть этих сумм Скотт истратил на столь любезные его сердцу покупки земель и строительство Абботсфорда, но он и друзьям не отказывал в помощи. Взгляд Скотта, достаточно острый и проницательный, когда речь заходила о чужих делах, туманился, как только надлежало подумать о собственных, и то, что он писал Баллантайну, было истиной до последнего слова: «Судьба даровала мне все необходимое для достижения мирских благ, но она же вложила мне в душу полное к ним безразличие, и за второе я ей более признателен, чем за первое». Когда французский переводчик его романов захотел, чтобы Скотт как-то выгадал на их продаже, тот заявил, что, не будучи автором, не может вступать ни в какие соглашения с французскими книгопродавцами.

Прибыли, собранные «Квентином Дорвардом» в одной лишь Европе, любого писателя убедили бы в том, что его будущее обеспечено. Роман заслужил выпавший на его долю успех. Времена Людовика XI Скотт считал «самой колоритной из всех эпох», но таковой их сделало его волшебное перо. Сюжет и характеры пребывают здесь в более точном равновесии, чем в предшествующих его книгах: Скотт не допускает и малейшего перекоса. Может быть, «Дорварду» недостает творческого накала «Найджела», однако сюжет тут лучше — и лучше оформлен, и действующие лица сопряжены с ним целиком и полностью. Портреты исторических лиц — герцога Бургундии Карла Смелого, Гийома де ла Марка, Оливье ле Дэна, кардинала де Балю, астролога Галеотти Мартивалле — таковы, что равных им не найти у других сочинителей, а высшее достижение Скотта в этом романе, Людовик XI, не только бесподобный тип лукавого, суеверного и безжалостного политика-интригана, но и самый достоверный и тщательно разработанный образ «злодея» в мировой литературе.



Глава 17

Ширра

Из Франции Людовика XI возвратимся в Шотландию Вальтера Скотта, как сделал это он сам в своей следующей книге. Написать роман о людях и событиях современного ему Мелроза Скотту присоветовал Вильям Лейдло; вполне возможно, однако, что писатель, всегда восхищавшийся произведениями Джейн Остин — в 1815 году он поместил о них большую статью в «Квартальном обозрении», — решил попробовать, а не получится ли и у него чего-нибудь в том же духе. Он постоянно перечитывал ее романы, про себя или вслух, для домашних, и его преклонение перед нею отразилось в одной из дневниковых записей Скотта, которую почему-то очень любят цитировать: «Эта молодая дама обладала уникальнейшим, на мой взгляд, талантом описывать хитросплетения, чувства и типы обыденной жизни. Писать в напыщенно-витийственном духе — эдак сумею и я, и всяк из ныне здравствующих литераторов, а вот искусство тонкого штриха, которое правдивостью описаний и передачи чувств сообщает интерес банальным, затертым вещам и

характерам, — такого искусства мне не дано». В Гилсланде он познакомился с типичной курортной публикой и теперь постарался воссоздать социальную атмосферу таких курортных местечек в романе «Сент-Ронанские воды», перенеся место действия на берега Твиды. Книга была представлена на суд читателей в декабре 1823 года, через семь месяцев после «Дорварда». О результатах своей попытки вывести в книге современных ему дам и джентльменов сам Скотт отзывался весьма скептически, и мы охотно к нему присоединимся. Писатель бывает на высоте лишь тогда, когда пишет о том, что его интересует; светские условности интересовали Скотта разве что в том виде, в каком они возникали у Остин на страницах «Эммы» или «Гордости и предубеждения». Мег Додз и Тачвуд, хорошо очерченные персонажи его романа, чужды миру этих условностей, поэтому и описание курортного образа жизни у него заурядно. А так как он в отличие от Диккенса не обладал душевной чувствительностью, которую мог бы вдохнуть в дурацкие, с моральной точки зрения, ситуации, требующие ходульной героини и мелодраматических слез, то и драматизм романа неубедителен.

Книга разочаровала читателей-англичан, но порадовала земляков автора; жители Иннерлейтена возликовали, мигом распознав в топографии романа прямые аналогии с родными местами, и потребовали, чтобы их забытый богом источник был переименован в Сент-Ронанский. Местечко быстро вошло в моду. Толпы охотников до минеральных вод начали прибывать туда в экипажах, каретах и дилижансах. Улицы и гостиницы срочно переименовывались в «Абботсфордскую», «Уэверли», «Мармион» и т. п.; были учреждены ежегодные Сент-Ронанские пограничные игры с поднятием тяжестей, метанием молота и стрельбой из лука, на которых окрестные парни могли блеснуть своими талантами в беге, борьбе и прыжках. Иннерлейтен-на-Твиде повторил судьбу Стратфорда-на-Эйвоне: литература принала ему деньги и убила его красоту. Через пару лет городок стал богатым, знаменитым, процветающим и в достаточной степени отвратительным. В Эдинбурге пользовалась успехом постановка по книге, а природа, верная своему правилу подражать искусству, извлекла из небытия некоего лейтенанта Мак-Терка, который отождествил себя с однофамильцем — персонажем романа и в виде компенсации потребовал, чтобы автор похлопотал перед королем о его восстановлении в гвардейских драгунах и продвижении в чине. Скотт рассудил, что Мак-Терк «спятил еще в допустимых границах».

Как шерифу Селкирка, Скотту часто приходилось иметь дело с людьми если и не полностью невменяемыми, то уж, безусловно, «тронутыми». Многие кляузы, какие ему доводилось разбирать, с точки зрения здравого смысла не имели оправдания, и он тратил время, пытаясь уговорить тяжёбщиков взяться за ум. Одному человеку он настоятельно советовал не преследовать по суду родного брата, напомнив о библейской заповеди прощать обиды. «Уж мне ли Писания не знать, я вон сколько его перечитывал, — заявил истец, — и я прощал ему семижды семь раз, пушай теперь он мне простит». У Скотта слово не расходилось с делом; оннисходительно относился к ворам, когда сам становился их жертвой.

Как-то в Ньюарке, по дороге на пикник, у него стащили корзину с завтраком на всю компанию. Через две недели корзину вернули — вилки, ножи, тарелки и штопор были аккуратно завернуты и уложены вместе с запиской следующего содержания: «Надеюсь, сэр Вальтер простит кражу этой корзинки, и, будьте уверены, ее содержимое радовало меня целых пять дней». Скотт сказал, что вор оказался честным человеком и ему бы хотелось с ним встретиться — не для того, чтобы наказать, а чтобы наградить за возвращение краденого. Не обижался Скотт и на брань, когда бывал ее мишенью. Однажды на проселке его виртуозно обложил какой-то возница: его телега и экипаж Скотта сцепились колесами. Скотт пригрозил, что притянет возницу на суд к шерифу. Обидчик возразил, что шерифом у них сэр Вальтер Скотт и он его отпустит; чтобы это доказать, он заявился в Абботсфорд собственной персоной. Скотт посмеялся, когда обалдевший возница его признал, и дал ругателю полкроны* «за изысканные обороты речи по дороге к шерифу».

В Шотландии у шерифского суда были примерно те же функции, что в Англии у суда графства, правда, с одной существенной разницей: первые помимо гражданских имели право рассматривать и уголовные дела. Скотт был шерифом Селкиркшира с декабря 1799 года до самой смерти. Поскольку же большую часть времени Скотт проводил в Эдинбурге на скамье секретаря Высшего суда, его шерифские обязанности зачастую исполнял заместитель, его друг Чарлз Эрскин; после смерти Эрскина в 1825 году Скотт назначил на эту должность своего родственника Вильяма Скотта из Рэйберна. Самому шерифу было не обязательно жить в Селкирке; судебные дела в основном проходили через его заместителя; однако Скотт иногда появлялся в суде, чтобы лично выслушать свидетелей по важному делу, и почти не пропускал слушания уголовных дел. В остальном же протоколы разбирательств посылались к нему на дом. Он тщательно их изучал, составлял глубоко продуманные заключения и возвращал заместителю. В его обязанности также входило присутствовать на выездных сессиях, которые время от времени проводились в Джедбурге. С одной из таких сессий он писал: «Вчера умудрились растянуть заседание на несколько часов, обсасывая дело о краже головки сыра... двумя несчастными мальчишками». Больше им нечем было заняться. Заседания его собственного шерифского суда проходили в куда более деловой обстановке, а решения Скотта отличались справедливостью, мягкостью и духом миротворчества; он даже не налагал штрафа, если без этого можно было обойтись. Если он состоял с одной из сторон в кровном родстве, он отказывался разбирать тяжбу и передавал дело своему заместителю. На его приговоры не влияли ни дружба (однажды он вынес решение против Джеймса Хогга), ни давление сверху: он счел лесничего герцога Баклю виновным в попытке «засудить» какого-то пастуха по обвинению в браконьерстве. Скотт вообще выказывал больше симпатий к работникам, чем к хозяевам. Когда несколько юнцов попортили лес в угодьях Баклю, Скотт отстаивал интересы горожан. Герцог решил

* Крона — монета достоинством в 5 шиллингов, или в 0,25 фунта.

закрывать поместье для посторонних, но Скотт его отговорил, убедив, что нельзя заставлять целый город расплачиваться за горстку виноватых. «Боюсь, что наша прямая обязанность — посылить добро... — писал он Баклю, — уповая при этом на Всемогущего (чьей благостью вызревает брошенное в землю семя), что наши добрые дела не пропадут втуне, но со временем принесут плоды, в коих нам не придется раскаиваться».

Вот какими соображениями руководствовался Скотт, исполняя свои обязанности стража закона. Но он безжалостно наводил дисциплину, когда политические страсти доводили людей до скотского состояния или организованного бунта. «Если эти дикие выходки повторяются еще раз, я сурово покараю смутьянов, к какой бы партии они ни принадлежали», — написал он после выборов, сопровождавшихся буйным разгулом страстей. Однообразие мелких дел — браконьерство, воровство, клевета — порой нарушалось убийством, кровосмешением, изнасилованием или другим столь же серьезным преступлением; но усилия Скотта главным образом сводились к тому, чтобы примирить стороны, заводившие тяжбы из-за каких-то совершенно детских обид. «Если эти джентльмены и попадут в рай, их, наверное, придется разместить в противустоящих уголках небесной сферы», — заметил он по поводу одного из таких дел.

Вот пример его подхода к типично дурацкому иску.

Раз в год границу городских земель пересекала внушительная процессия, в составе которой находились и городские судьи. Ежегодное празднество Общего Выезда, как правило, проходило в атмосфере всеобщего согласия, но в 1804 году корпорация портных отказалась участвовать в общей процессии, заявив, что на другой день устроит свое собственное шествие. Городской суд обнародовал решение, запрещающее это шествие. Портные решения не признали и свою процессию организовали, однако во время последней некто Эндрю Браун, подмастерье, в корпорации, надо полагать, не состоявший, набросился на знаменосца и, вырвав у того знамя, «изорвал оное таким образом, чтобы сделать его непригодным к дальнейшему употреблению». Глава корпорации подал на Брауна в суд, требуя от него либо приобрести новое знамя, либо оплатить стоимость старого в размере 20 фунтов. Эндрю в свое оправдание заявил, что действовал в соответствии с решением суда о запрете процессии и за порчу знамени, поскольку таковая имела место, не может нести никакой ответственности, тем более что оно не стоит и четверти названной суммы, «ибо есть невообразимо старая, протертая до дыр и перелатанная тряпка». Портные заявили решительный протест, утверждая, что их знамя было одним из лучших в Селкирке и причиненный им моральный ущерб значительно превышает его чисто номинальную стоимость или что-то еще в том же роде. Скотт вынес решение, чтобы Эндрю Браун залатал и подштопал порванные места. Решение, однако, не удовлетворило портных, которые попросили шерифа пересмотреть дело, во всех подробностях расписали необычные красоты своего знамени и попытались доказать, что с помощью иголки и нитки его никак не восстановишь, ибо заплаты придадут ему вид крайне нелепый. Скотт «пересмотрел» дело и принял окончательное решение:

«Селкирк, июня 23 дня 1805 года. Ознакомившись с настоящим прошением и лично осмотрев знамя, о коем идет речь, шериф полагает упомянутое поддающимся ремонту и, движимый чувством глубокого уважения к корпорации, передает упомянутое для починки в собственную семью. Посему отклоняет поименованное прошение и закрывает настоящее дело. Стороны освобождаются от уплаты судебных издержек».

Здесь, возможно, и была нарушена буква закона, но зато восторжествовал здравый смысл.

Среди своих разнообразных служебных интересов Скотт уделял особое внимание проблеме воспитания малолетних правонарушителей; точнее говоря, он поощрял все виды воспитания и обучения молодежи, ощущая, видимо, что собственное его обучение в свое время находилось в небрежении, хотя ему было попросту отказано в нем. 1 октября 1824 года на открытии Эдинбургской гимназии-интерната он произнес речь о значении школьного образования, под которой подписался бы любой школьный наставник. Сделал он это, однако, без особой охоты, признавшись одному из друзей: «Честно говоря, я не великий охотник до подобный торжеств; впрочем, наше время так пристрастилось ко всякому вздору, что, может быть, без всей этой чепухи нынче не обойтись». Поскольку ректором нового заведения был назначен — в основном стараниями Скотта — бывший наставник его мальчиков Джон Вильямс, участие самого Скотта во «всей этой чепухе» становится вполне понятным. А через несколько недель после выступления Скотта произошло нечто такое, что едва не покончило со всеми без исключения учебными заведениями в старой части города Эдинбурга.

Где-то в середине ноября вспыхнул пожар на Главной улице, а на другой день загорелись дома на Парламентской площади. Здания были высокие, проулки же и проходы между ними узкие, так что пожарным командам едва-едва удавалось протиснуться к месту пожара. Вероятно, город спасла перемена ветра или иное нежданное чудо в том же духе. Однако значительная часть Парламентской площади и половина южной стороны Главной улицы выгорели дотла. Скотт с трепетом наблюдал, как высокие здания с грохотом оседают в огненную пучину, а из подвалов, где содержались запасы спиртного, пышными фонтанами бьет пламя. Через полгода от другого большого пожара пострадала и противоположная сторона Верхней улицы, там, где она граничит с Северным мостом. На тушение сразу же были брошены местные добровольческие части. Анна Скотт сообщает, что Локхарт пробыл на пожаре целые сутки: «Хоть он и укреплял себя крепкими напитками, но, когда все кончилось, он валился с ног от усталости».

Накануне того, как на его глазах погибло столько зданий, памятных ему еще с юности, Скотт написал книгу, не лишенную привкуса ностальгии и воскрешавшую те дни, что он провел в отцовской конторе, а также облик той девушки, которую он впервые увидел в зеленой накидке, — Вильямина Белшес, предмета его второй и единственной любви. Сама она не появляется на страницах произведения, но тень ее витает над книгой точно так же,

как в свое время витала над автором. То был последний из бесспорно великих романов Скотта; мы знали бы его под названием «Херрис», если б Констебл с Баллантайном не уговорили автора переименовать его в «Редгонтлет». Книга появилась в июне 1824 года и была встречена с меньшим восторгом против обычного — возможно, потому, что добрая ее половина написана в эпистолярной форме. Сам автор считал, что роман ему удался; но о том, как относился Скотт к собственным произведениям, дает представление хотя бы такой случай: посылая Локхарту для «Квартального обозрения» свою статью о Пипсе, он просил зятя, не стесняясь, орудовать «ножом, секачом или топором, *ad libitum**. Вы знаете, что мне наплевать на мною написанное и что с ним будет».

Наряду с «Антикварием» «Редгонтлет» — самая личная из книг Скотта. В два этих романа автор вложил больше от самого себя, чем в две дюжины остальных, и оба они отмечены особой прелестью, способной пленить многих читателей, равнодушных к другим его сочинениям. В «Редгонтлете», как и в «Антикварии», нет великих скоттовских персонажей, но книга насквозь просвечена личностью Скотта и является наиболее сокровенным его творением. Обстановка действия дана здесь в намеке, отнюдь не навязана характерам и поэтому органически сливается с сюжетом. Общая атмосфера книги от этого сильно выигрывает — рамка оказывается в пору картине и тем увеличивает ее привлекательность.

О поздних романах Скотта мы не собираемся особо распространяться, поэтому подведем кое-какие итоги. Когда наш великий романист создавал образы людей, которых встречал в своей жизни или досконально изучал по сохранившимся источникам, он не грешил романтикой. Диккенс воспринимал свои персонажи зрительно и давал их бесподобные фотографии — Скотт же впитывал свои всеми порами и давал их правдивые портреты. Диккенс разыгрывал характеры — Скотт ими жил; один наблюдал — другой чувствовал. Скотт постигал людей чувством, не разумом. Он не извлекал из своего подсознания расплывчатые образы, в которых мы с трудом находим отдаленное сходство с собой; он взирал на ближних с пронизательностью и состраданием, пропускал их сквозь фильтр своего воображения и лепил характеры, которые мы мгновенно отождествляем с непредугаданностью и поэзией окружающего мира.

«Болваны толкуют о моем сходстве с Шекспиром — да я недостойн завязывать ему шнурки на башмаках», — записал Скотт в «Дневнике». Скотта нельзя сравнивать с Шекспиром в том смысле, что последний обладал беспримечной силой слова и проник как в сложности жизни, так и в ее первоизданную простоту. Но как творец характеров Скотт равен Шекспиру, у которого, не считая Фальстафа, мы не встретим таких по-своему комических и уж тем более живых фигур, как Эди Охилтри в «Антикварии», Кадди и Моз в «Пуританах», Никол Джарви и Эндру Ферсервис в «Роб Рое», Мэлегроутер и Иаков I в «Приключениях Найджела» и Людовик XI в «Квентине Дорварде». Некоторые из этих

* Сколько угодно; на выбор (лат.).

характеров в придачу к шекспировскому великолепию обладают еще и вселенской значимостью великих героев Сервантеса.

Скотт-прозаик отличался крайней небрежностью. «Легко писалось — тяжело читается», — сказал Шеридан. Верно и обратное: легко читается — тяжело писалось. Скотту писалось слишком легко; назвать его скучным романистом — значит признаться в собственной тупости, однако справедливо отметить, что многие его сочинения испытывают долготерпение читателя. Это в основном предисловия к «Рассказам трактирщика» и «Монастырю», а также этот последний роман и ряд последующих, читать которые — дело тягостное. Но в искусстве портрета он как прозаик не имеет соперников. Характеры и исторический фон его лучших книг — до этого не дотянулся ни один романтик. В художественной прозе романтизма высшими достижениями остаются «Пуритане», «Роб Рой», «Аббат», «Приключения Найджела» и «Квентин Дорвард», к которым следует присоединить раскрывающие личность Скотта «Антиквария» и «Редгонтлета». Добавьте к этому пару романов с увлекательнейшей интригой — «Гая Мэннеринга» и «Кенилворт» — чего же нам еще требовать от художника?!

Полнейшее равнодушие Скотта к своим шедеврам хорошо иллюстрирует случай с его школьным приятелем Чарлзом Керром, некоторые черточки которого мы находим в Дарси Латимере из «Редгонтлета». Керр приехал в Абботсфорд покаяться, что однажды перед братьями-офицерами он присвоил себе какой-то из романов «автора «Уэверли». Будучи убежден в том, что нанес большое оскорбление другу, он предложил Скотту дуэль. Скотт заявил, что не имел бы ничего против, если б тот выдал себя за сочинителя всех романов «автора «Уэверли». Керр вылетел из Абботсфорда, хлопнув дверью и поклявшись, что отныне знать не желает о Скотте. Он сдержал клятву.



Глава 18

Женщины и дети не допускаются

Вопреки общей закономерности Скотт с возрастом не посуровел, но стал еще мягче; к середине жизни воинские доблести и прелесть охотничьих забав утратили для него свой былой блеск. В одном отношении он всегда оставался верным себе. Маленьким мальчиком он на ферме деда подружился с овцами и с той поры не мог употреблять в пищу скотину или птицу, если ему доводилось ее приласкать или сказать ей несколько ласковых слов. Когда он служил в коннице, он завел обыкновение, отводя лошадь в стойло, подбрасывать овса семейству белых индюшек, проживавшему на конюшне: «С болью сердечной я отмечал, как их число постепенно тает, и всякий раз, когда пытался отведать индюшатины, неизменно испытывал тошноту. Однако же я суров и стоек в достаточной степени, чтобы исполнять свои многообразные обязанности по службе без особых сентиментальных угрызений». В Ашестиле у него была упряжка из двух волов, которых звали Гог и Магог. Он восхищался тем, как они ходили под плугом, и не мог заста-

вить себя отведавать их мяса, когда они появились на обеденном столе в разделанном виде, хотя все находили, что лучшей говядины не сыщешь ни в этом, ни в трех соседних графствах. Охота с ружьем не очень его привлекала. «С тех пор как я подстрелил своего первого тетерева и пошел его поднять, а он с укоризною поглядел на меня закатывающимся глазком, мне всегда бывало на охоте чуть-чуть не по себе». Он, однако, не хотел, чтобы соседи считали его слишком чувствительным, и был счастлив, когда наконец смог вести себя как ему нравилось, не опасаясь стать всеобщим посмешищем. К пятидесяти годам он забросил ружье и с радостью наблюдал за пролетающими птицами, которым отныне с его стороны ничего не грозило. «Впрочем, — замечал он, — я не требую от других подобной утонченности чувств». В октябре 1824 года он признался: когда «господин Лис пронесся мимо, а следом — гончие мистера Бейли», его «потянуло не столько «принять участие в звонкой гонке», сколько посочувствовать жертве преследования». А еще через шесть лет он сказал Марии Эджуорт, что разучился получать удовольствие от оленьей охоты: «Меня начинает терзать совесть, когда приходится загонять до смерти этих невинных прекрасных животных, возможно, потому, что даже упоение гона не дает мне забыть о боли, на которую мы их обрекаем». Из всего этого можно заключить, что его привлекало возбуждение от погони как таковой, а не конечный ее результат.

Скотт был чувствителен не только к ощущениям бессловесной твари, но и к болезненной реакции тех, кого природа наградила даром речи. В частном письме он мог, например, отозваться о «Жизнеописаниях шотландских поэтов» Дэвида Ирвинга: «Книжонка Ирвинга донельзя убога, и лишь исключительная вежливость удерживает меня от определения куда более сильного». Но в своих многочисленных статьях для «Квартального обозрения» и других журналов он не позволил ни единого обидного слова о собратьях-писателях. Созданное человеком неотделимо от его личности в широком смысле слова, и личность эта накладывает свой отпечаток на труды его. Скотт по натуре любил доставлять радость; большинству своих романов он дал счастливые развязки — не потому, что их требовал читатель, но потому, что так нравилось ему самому. Публике, к счастью, тоже.

Именно желание приносить радость заставляло его принимать гостей на широкую ногу, превратило его в хлебосольного и обязательнейшего хозяина. За обедом он уделял внимание каждому, следил, чтобы всем было легко и непринужденно; молчаливых он втягивал в общий разговор, противников успокаивал, а грозившие вспыхнуть ссоры заливал кларетом. Он так стремился к тому, чтобы все ладили друг с другом, что за столом не допускал споров, не высказывал резких суждений и не пускался в разглагольствования, способные нарушить всеобщее согласие. По этой причине его беседы по преимуществу сводились к цепочке историй, каждая из которых иллюстрировала предмет разговора. Он любил застольную болтовню и анекдоты. Глубокий голос с раскатистыми модуляциями пограничного акцента позволял ему легко управлять разговором или вообще переводить его в другое русло,

когда спорщики начинали повышать голоса в несогласном хоре. Скотт отличался прекрасной мимикой, и что бы он ни рассказывал — истории трогательные или, напротив, потешные, — в его исполнении все они звучали блестяще; при этом он и стиль речи выбирал по собеседнику: со знатью говорил на ее языке, с фермерами на их диалекте. Для Скотта-рассказчика были характерны непринужденность и неисчерпаемость. «Ну, доктор Вилсон, — сказала как-то Шарлотта врачу, который в свое время излечил мальчика Уотти от шепелявости, — вижу, что вы самый умный доктор во всей Великобритании: как вы завели тогда Скотту язык, так он с тех пор не дал ему и минутки передохнуть». Все мужнины истории она, судя по всему, давно уже знала наизусть, так что в конце концов перестала к ним прислушиваться и чисто механически вставляла время от времени свои замечания в поток его красноречия. Однажды он завел рассказ про владетеля Макнаба, «который, бедная его душа, приказал нам долго жить». «Как, мистер Скотт, разве Макнаб помер?» — удивилась Шарлотта. «Клянусь честью, милочка, если не помер, так, значит, с ним предурно обошлись, зарыв его в землю».

К великосветским беседам он не питал интереса; две записи в его «Дневнике» показывают, что, пока Сэмюэл Роджерс «стрелял остротами, как из пушки» или какие-то пустомели лезли вон из кожи, изощряясь во взаимных любезностях, мысли Скотта были обращены на другое. «Беспримерное мы бы увидели зрелище, если б все разговоры вдруг схлынули подобно отливу и открыли все то, о чем люди думают на самом деле!» «О, когда б мы только смогли проникнуть взглядом в души наших сотрапезников за этим светским столом, мы бежали бы от людей в недоступные убежища и пещеры». Преизбыток веселья располагал его к печали, но это можно отчасти объяснить его способностью пить наравне со всеми, оставаясь при этом трезвым. Доброе вино, говаривал он, делает добрыми и людей — дарует им счастье на один вечер, но тем самым сближает их и на будущее. В обществе он бывал неизменно добродушным и, повествуя о чем-нибудь забавном, сам смеялся смехом глубоким, однако негромким, причем его акцент становился все более шотландским, слова все более выразительными, а веселье всеобъемлющим. Он обожал истории про сверхъестественное и частенько делился воспоминаниями о том, как в первый и последний раз в своей жизни повстречал привидение. Однажды вечером он совершал верховую прогулку по лесу вблизи Ашестила. «Счастлив отметить, что это происходило еще до обеда* и сразу же после захода солнца, так что и в глазах у меня никак не могло двоиться, и свету вполне хватало, чтобы все разглядеть». Скотт выехал на поляну и вдруг увидел впереди человека с длинным посохом, который прохаживался взад и вперед. Когда, однако, до него оставалось несколько ярдов**, человек исчез. Скотт внимательно огляделся, убедился, что спрятавшись тут решительно нигде, и тронулся дальше. Отъехав на пол-

* Во многих английских семьях был (и сохранился) обычай обедать в 7—8 часов вечера.

** Один ярд равен примерно 0,914 м.

сотни ярдов, он оглянулся и увидел, что фигура опять появилась. Тогда он развернул коня, пришпорил его, быстро доскакал до места, но человек снова пропал. Выход из положения нашла лошадь — во весь опор понеслась домой.

Мать Скотта была прекрасной рассказчицей; одну из рассказанных ею историй, которую та, в свою очередь, слышала от своей матери, Скотт впоследствии обработал и опубликовал под названием «Зеркало тетушки Маргарет». На вопрос, не может ли он как-то эту историю объяснить, Скотт ответил: «Ей-богу, я пересказал только то, что всегда слышал от матушки, и могу придумать всего одно объяснение — бабушка у меня, верно, была любительница приврать». Другая из матушкиных историй была про старого фермера, который всего через месяц после смерти жены попросил объявить в церкви о его предстоящем венчании с новой подругой. «Какое венчание, Джон! — воскликнул пораженный священник. — Друг мой, это невозможно. И месяца не прошло, как мы отпевали твою жену. Она, бедняжка, еще и остыть не успела в могиле». — «Чего там, сэр, пушай вас это не тревожит, — возразил Джон. — Вы, главное дело, про меня объявите, а уж до венчания-то она, глядишь, в самый раз и остынет».

Но, может быть, с особым вкусом Скотт рассказывал про то, что случалось чуть ли не у него на глазах. В одной из таких историй фигурировал пастух Томас Скотт, которого сэр Дэвид Уилки изобразил в костюме крестьянина южных графств на эскизе к семейному портрету владельца Абботсфорда. Другой пастух, Эндрю, заедал Томасу жизнь своими бесконечными хвастливыми речами про то, как он видел в Лондоне Георга III. Эндрю почему-то считал, что это возвышает его над более состоятельным и разумным соседом. Когда эскиз Уилки был на выставке в Лондоне, газеты сообщили, что Георг IV удостоил его особого внимания. «В восторге от этой новости, Томас Скотт выбрал невыносимо жаркий день и пешком отправился за пять миль в Бауден, где обитал его соперник. Не успев переступить через порог, Том спросил: «Эндрю, дружище, это ты тут видал короля?» — «Видал, видал, Том, как Бог свят, видал, — ответил Эндрю, — садись-ка послушай, и я тебе все расскажу по порядку. Значит, стою это я в Лондоне, там, где у них называется парк, — до наших парков ему, конечно, далеко...» — «Да погоди ты! — оборвал Томас. — Про это я уже слышал; а пришел я затем, чтобы тебе сказать: если ты видал короля, то меня видал сам король». Он вернулся с веселым сердцем и заявил друзьям, что «был здорово рад почитаться с Эндрю».

Локхарт сообщает, что многие устные рассказы Скотта появлялись потом в его романах и письмах, так что мы можем восстановить их почти в том виде, как они рассказывались. Корреспонденция Скотта дает представление и о свойственной ему манере вести беседу. Вот характерный образец: «Некий ученый муж — имя его запамятовал — выдумал теорию, объясняющую все мелкие злоключения, несчастные случаи и капризные несообразности нашей жизни существованием особой разновидности бесов низшего порядка, которым не под силу чинить великие или обширные катастрофы вроде землетрясений, революций, разрух или

извержений, но которых хватает ровно на то, чтобы опрокинуть чайник, грохнуть фарфор, заслать не по адресу письмо, впустить нежелательного посетителя, не допустить встречи с друзьями, которых мечтаешь увидеть, одним словом, заварить эту нескончаемую *petite guerre**, что ведется против нашего христианского терпения». Забавные суждения хозяина о людях оживляли застолье в Абботсфорде или на Замковой улице, как то было с отъездом Скотта о Чарлзе Стюарте, бывшем священнике одного из сельских приходов, ставшем в Эдинбурге врачом: «Этот взбалмошный старик всю свою жизнь убил на поиски северо-западного прохода** в рай и, перепробовав с дюжину сект, осел в лоне, как он ее именует, вселенской церкви христовой, которая состоит из него самого, его экономки, одной из горничных и мальчонки-посыльного. Дворецкий еще не обращен, но, по слухам, не безнадетен». У Скотта всегда был наготове рассказ про тот или иной забавный случай, иллюстрирующий какое-нибудь свойство человеческой природы. Так, в качестве образца невозмутимости Скотт однажды привел ответ кровельщика, который сорвался с крыши Сент-Джеймского дворца, но спасся, угодив в кучу навоза. Некто, увидев его в этой куче, осведомился, который час. Вероятно, около трех, ответил кровельщик, потому что, пролетая мимо окон шестого этажа, он обратил внимание, что накрывают на стол.

Некоторые из историй Скотта явно не годились для слуха детей и женщин. Однако первая половина его жизни приходится на XVIII век, когда в мужском обществе любили побеседовать в раблезианском духе, так что Скотт, подобно большинству своих современников, не страдал ханжеством. Ему, скажем, нравился анекдот про то, как двое состязались, кто лучше срифмует. Первый начал:

Я, Джон Мактрой,
Спал с твоей сестрой.

«Неправда», — сказал второй. «Зато в рифму», — возразил Джон. Тогда его противник парировал:

Я, Джордж Грин,
Спал с твоей женой.

«Не в рифму», — сказал Джон. «Зато правда», — ответил Джордж.

Историю, которая так ему нравилась, что он дважды помянул ее в «Дневнике», Скотт, очевидно, пересказывал много раз. Когда в 1745 году горные кланы захватили Карлайл, одна старушка решила, что ей грозит насилие, и заперлась у себя в спальне. Поскольку же никто и не думал нарушить ее затворничество, она начала опасаться, уж не увлеклась ли развратная солдатня выпив-

* Малая война; война местного значения (фр.).

** Английские и другие европейские мореплаватели долго верили в существование так называемого северо-западного прохода из Атлантики в Тихий океан.

кой, забыв про прекрасный пол. Старушка высунулась в окошко и спросила какого-то прохожего: «Простите, сэр, вы случайно не слышали, когда точно будут насиловать?»

Излюбленной темой среди мужчин было происхождение института шотландских баронов — этот титул получали мелкие землевладельцы в основном из горных районов, подчинявшиеся непосредственно шотландской короне. Скотт приводил в пример «барона Кинкливена, владеющего паромом через речку Тэй и дюжиной акров земли, кои были пожалованы его предку за то, что тот верноподданнейше взял на себя ветры, пущенные Марией Стюарт; этот маленький грех случился с ней в ту минуту, когда она перебиралась с берега в лодку. Наш лодочник выступил вперед и принес всем присутствующим извинения. Сей знак вежливости пришелся весьма по душе королеве, которая тут же осведомилась: «Чей ты слуга?» Узнав, что он арендатор или виллан графа Мара, королева попросила своего родича Джока Мара даровать ему свободу, более того, — произвести его в упомянутое звание, каковое граф ему, соответственно, и пожаловал».

Скотт ко всем умел найти подход — пленял женщин чувствительными пустячками, развлекал мужчин солеными анекдотами и баловал детишек романтической чепухой. В июне 1825 года он опубликовал первое после «Редгонтлета» произведение — «Повесть о крестоносцах», предназначавшееся, судя по всему, исключительно для мальчиков. Первый роман, «Обрученные», писался, видимо, в полусонном, если не в коматозном состоянии и на конкурсе наискучнейших и наиместолковейших книг, созданных людьми гениальными, завоевал бы одно из призовых мест. Во втором, «Талисмане», больше действия, но такого, что руки опускаются. Персонажи изъясняются до смешного высокопарно, эпизоды — словно поделка невзыскательного драматурга, который стремится возместить недостаток воображения преизбытком ходячего пафоса, а в итоге предлагает нам кукольную мелодраму взамен драмы человеческих страстей. В обоих романах действуют равно нелепые сверхмужественные мужчины и сверхдобродетельные женщины, имеются переодевания, привидения, стандартные «злодеи», и над всем этим царит дух рисованных задников и театральной бутафорской. Верность долгу, вознагражденная отвага, гнусный мерзавец и выследивший его благородный пес — романы состоят из таких и подобных ухищрений, граничащих с чудесами; а задира рыцарь из «Талисмана», Ричард Львиное Сердце, на долгие годы стал любимым героем мальчишек школьного возраста. Впрочем, на чтиво, как и на все остальное, мода меняется, и в наше время скорее всего герой с сердцем льва уступил место герою с «душой» машины.



Глава 19

Философ

Гениальность, не уравновешенная человечностью, — скорее бедствие, нежели благо; то же можно сказать и об энтузиазме без сострадания. Скотт следил за тем, куда идут наука и политика его времени, и это ему не нравилось. Он видел, что страсть к знанию способна творить зло, что любовь к отвлеченностям растлевает души, а в основе того и другого лежит жажда власти. Сказанное им по этому поводу более ста лет назад мы с еще большим успехом можем отнести к нынешним временам. Для начала выслушаем его мнение о цене любознательности в медицине, гуманнейшей из всех наук. Незадолго до смерти Скотта Англию потряс неслыханный процесс по делу об убийствах. Вильям Берк и его приятель Вильям Хейр как-то нашли на улице мертвое тело и доставили его знаменитому патологоанатому, известному преподавателю Эдинбургского медицинского института доктору Роберту Ноксу, который у них это тело купил. Некоторое время парочка жила тем, что выкапывала из могил свежие трупы; но, когда кража мертвецов пре-

вратилась в распространенный бизнес и на кладбищах выставили охрану, Берк и Хейр взяли за живых людей, чье исчезновение, по их расчетам, могло пройти незамеченным. Они заманивали жертвы в квартиру Хейра в лондонском районе Уэстпорт, напаявали несчастных допьяна, душили так, чтобы по возможности не оставить следов, и продавали еще теплые трупы доктору Ноксу или его коллегам. За год они таким манером спровадили на тот свет не менее пятнадцати человек. Дело запахло разоблачением, Хейр, спасая шкуру, выдал своего сообщника, и Берк кончил на виселице, оставив в английском языке свое имя как синоним тайного удушения*. Следственная комиссия не обнаружила доказательств того, что Нокс знал про убийства бедняков, чьи тела попадали к нему на анатомический стол, однако всеобщее мнение было таково, что ему не мешало хотя бы потщательней осведомляться о происхождении трупов, причинах смерти и т. п. Скотт разделял точку зрения тех, кто обвинял доктора в пассивном соучастии, и вся эта история натолкнула его на некоторые размышления общего характера:

«Я не очень-то верю в необозримые блага, которые нам якобы сулит развитие науки; занятия в этой области, если им предаваться до невоздержанности, ведут к тому, что ученый ожесточается сердцем, а философ готов всем на свете пренебречь ради целей своего исследования; равновесие между духом и чувством нарушено, и разум слепнет, сосредоточившись только и исключительно на одном предмете. Так, религиозные секты, внедряя строгие нормы морали, постоянно обращают рвение человеческое противу оных, и удивления достойно, сколь глухи мы бываем даже в судах к правде и кривде, если от нашей глухоты зависит, выиграем мы дело или проиграем его. Я и сам часто диву даюсь, сколь равнодушным меня оставляют ужасы уголовного процесса, когда заходит речь о формальных определениях закона. Равным образом и занятия в медицинских исследованиях подвергают мучениям малых тварей мироздания, а в конечном итоге оказываются в одной компании с этой парочкой из Уэстпорта».

Обо всем этом Скотт писал другу:

«Вот что причинили стране наши новомодные умники: изобрели новейшую фразеологию, чтобы с ее помощью выдавать зло за добро, а добро — за зло. И Джон Буль развесил свои ослиные уши, словно и впрямь слова сами по себе могут творить добродетели или злодейства. Надумай они оправдать тиранию Бонапарта — извольте, чего уж легче: его правление всего лишь было чуть-чуть более цивилизованным, чем нужно. Робеспьер грешил слишком широким либерализмом — это ли не благородное заблуждение? Вы обратили внимание на то, как приукрашивают самую гнусную тиранию и самую кровавую анархию, открывая старый счет на новое имя?»

Скотт был человеком уникальным в том смысле, что многое от творческого гения Шекспира соединял с немалым же от мудрости доктора Джонсона. Мы можем постигнуть истинную при-

* То burke — убить, задушить, вздернуть; разделаться с кем-нибудь или чем-либо тайно и незаметно (англ.).

роду воображения и пронизательности Скотта, взяв половину от поэта и половину от мудреца и слив эти половины в единое целое. Другого великого писателя, в ком два этих качества пребывали бы в таком соответствии, мы не знаем. Личность творца полностью явила себя в семи великих романах; его мудрость нашла отражение в письмах и в «Дневнике». Поскольку же нельзя составить о человеке полного представления, не познакомившись с образцами его трезвых обиходных суждений, мы подобрали примеры последних, сняв сливки с его корреспонденции. Многие из них уже появлялись в тексте нашего жизнеописания, там, где это было уместно; некоторые другие, затерявшиеся в потоке высказываний на страницах его длинных писем, воспринимаются нами сегодня как афоризмы; их-то мы и собираемся привести, особо оговорив те немногие случаи, когда высказывание взято нами не из писем, а из его «Дневника».

О литературе

«Нет ничего бесполезней мнения завсегдаев лондонских литературных салонов, только не нужно говорить им об этом».

«Когда мы судим о книге, следует учесть, что писалась она не год, а может стать, всю жизнь».

«Тошно думать о том, сколько злобных и гнусных чувств пробуждает к жизни одно лишь упоминание о признанном совершенстве».

«Никому не удастся добиться и малой известности, чтобы не вызвать к себе ровно столько же недоброжелательства со стороны тех, кто либо из чувства соперничества, либо из одного желания разрушать созданное другими готов при первой возможности низвести прославленного человека до того, что именуется «настоящим его уровнем».

«Сколько способных мальчишек розга превратила в тупиц, сколько самобытных сочинений редакторы обратили в посредственность» («Дневник»).

Совет издателю: «Страшитесь напыщенности — это верный признак, что автору не хватает дыхания».

В ответ на вопрос, не будет ли он возражать против слишком восторженного посвящения: «Восторги друзей подобны нежностям любящих — всегда приятны с глазу на глаз, однако довольно нелепы, когда их расточают на публике».

О политике

«Свободу так часто превращали в повод для расправы над ее лучшими защитниками, что самой немислимой тирании я готов ожидать от записных демагогов».

«Оратор подобен волчку. Оставьте его в покое — рано или поздно он сам остановится. Подхлестните его — и он будет тянуть до бесконечности» («Дневник»).

«Правое дело всегда отстаивают куда менее рьяно, чем неправое».

«Людам по-настоящему честным достаточно обменяться мнениями, чтобы прийти к согласию, тогда как дураки и мошенники напридумывают себе и лозунгов, и паролей, и боевых кличей, лишь бы избежать справедливой договоренности».

«В наше время нет хуже обмана, чем водить за нос широкую публику, внушая ей, будто существует некое радикальное средство, а точнее — *заклинание* от недугов государственной политики».

«Не приходится осуждать Кромвеля: его власть была ему едва ли по силам, однако же отступить от этой власти было еще губительней. Человеку порой безопаснее стоять на вершине, окруженной провалами, нежели пытаться с нее спуститься; таковы законы, коим честолюбие подчиняет своих присных».

О человеческом общении.

«Если кто и притворяется, что состоит с кем-то в близких отношениях, так лишь потому, что притворство такого рода возвеличивает самого хвастуна».

«Самый верный признак уважения — когда вам отваживаются написать в письме бессмыслицу».

«От пристального внимания к мелочам в жизни зависит много больше, чем готовы признать философы Вашего толка».

«И самые тесные узы дружбы рвутся от трения при слишком частом и тесном общении» («Дневник»).

«Ослабить в чем-либо жизненную хватку под давлением обстоятельств — значит сделать еще один шаг к безразличию и растительному прозябанию старости» («Дневник»).

«Одиночество доставляет радость только тогда, когда можно в любую минуту найти себе общество, стоит лишь пожелать. Плохо быть одному. Одиночество притупляет наши способности и замораживает наши живые достоинства» («Дневник»).

На разные темы.

«Когда отгремят кровопролитные войны, газеты начнут жить кровавыми убийствами».

«Знания, что мы приобретаем добровольно и как бы само собой, подобны пище, съеденной с аппетитом: и то и другое великолепно усваивается и раз в десять полезнее пиршества обжоры».

«Пути тщеславия таковы, что большинству людей много предпочтительней удостаиваться похвалы и отличий за достоинства, коих у них нет и в помине, нежели за добродетели, какими они обладают на самом деле».

«Люди всегда тянутся к тому, чего, по их мнению, нелегко добиться, хотя бы к этому и не стоило стремиться».

«Я имел возможность убедиться, что если могущественное лицо заподозрит вас в том, что вы причинили или собирались причинить ему какой-то ущерб, как бы вы перед ним ни оправдывались, оно по-прежнему будет видеть в вас злоумышленника».

«Я знавал немало могущественных лиц, коих опровержение некоторых подозрений приводило в такой же гнев, как сами эти подозрения, когда лица полагали их истинными».

«Мы редко удовлетворяем жажду обогащения даже тогда, когда получаем больше того, чем можем воспользоваться, насладиться или отказать в завещании».

«Ожидания и надежды даруют нам больше радостей, чем само обладание вождеденным».

«Люди гениальные способны к делам мирским не только не хуже, но много лучше заурядных тупиц, однако при том непрерывном условии, что найдут своим талантам достойное применение, взнуздав их прилежанием».

«Счастье зависит от богатства куда меньше, чем от умения наслаждаться тем, что имеешь».

«Насколько я могу судить, великое искусство жить заключается в настойчивости и силе духа... Несчастья неудачников, хотя они и сваливают вину на злой рок, чаще всего проистекают от недостатка умения и настойчивости».

«Настоящую выгоду приносит не знание само по себе, а умение обратить его на пользу».

«Мне нравится друг-горец, на которого я могу опереться не только тогда, когда прав, но и тогда, когда чуть-чуть ошибаюсь».

«В этом мире не место ни сумасбродным упованиям, ни безнадежно мрачным предвидениям».

«С ходом времени свидетельства очевидцев становятся все более неустойчивыми: люди начинают все больше воображать, нежели опираться на твердую память».

«Самый действенный способ выказать любезность — это согласиться принять такую».

«Не способно устоять лишь то, что не основано на истине; тому же, что на истину опирается, не страшна и самая придирчивая проверка — оно само, по долгу чести, обязано требовать такой проверки».

«В юности мы ищем наслаждений, в зрелые годы — славы, богатства и положения в обществе, а под старость рады уже и тому, что все спокойно и нигде не болит».

«Одна из худших особенностей нашего миропорядка состоит в том, что причинить боль в сто раз легче, чем даровать наслаждение» («Дневник»).

«Что жизнь земная? Сон во сне: с возрастом каждый наш шаг становится пробуждением. Юноше кажется, что он пробудился от детства; муж в расцвете сил презирает обольщения юности как призрачные видения; для старца же годы зрелости — лихорадочный бред. Могила — вечный сон? — Нет: последнее и конечное пробуждение» («Дневник»).

Эту последнюю мысль Скотт записал в «Дневник» после того, как сам пережил жестокое пробуждение от повторяющегося наваждения собственной жизни. Однако еще до этих трагических событий он заявил Джоанне Бейли: «Я в ужасе от того, как мне повезло». Предощущение надвигающегося краха, возможно, и продиктовало ему фразу из «Талисмана»: «Когда мы на вершине успеха, наша предусмотрительность обязана бодрствовать, не смыкая глаз, дабы предотвратить несчастье». В июне 1825 года сам он был на вершине успеха. «Повести о крестоносцах» расходились, как горячие пирожки; его слава затмила известность всех живых современников и прогремела по обе стороны Атлантики, в Европе и в Северной Америке. Для него все еще не было ничего непосильного в литературе. Он любил повторять испанскую поговорку «Я и время любых двоих одолею» и был настолько уверен в себе, что задумал написать жизнь Бонапарта. Это планировалось как

биография исторического Наполеона, которую должен был выпустить Наполеон издательского дела, а написать Наполеон от литературы, хотя Скотт себя таковым и не числил. Предполагалось, что сие жизнеописание станет составной частью грандиозного плана Констебла, который тот развивал в Абботсфорде перед Скоттом, Локхартом и Баллантайном в мае 1825 года.

К этому времени Констебл дошел до той стадии невменяемости, когда наполеоны принимают решение идти походом на Москву. В 1822 году Констебл болел, и Скотт советовал ему полагаться не на врачей, а на себя самого. Оправившись, издатель навеслил Скотта, и тот «распознал у него признаки безумия», главными симптомами коего были раздражительность, несдержанность и утрата ясности в суждениях, за что, по словам Скотта, Констебла следовало скорее жалеть, чем винить. Издатель держал себя в руках в присутствии Скотта, чьи романы составляли главную опору всего его дела и чьи рукописи были переданы ему на том условии, что при жизни писателя он будет хранить их в тайне и предъявит публике лишь в том случае, если понадобится обнаружить авторство Скотта. «Влиятельные лица сразу же нагоняли на него ужас, — отмечал Скотт, — но он, как обычно, отыгрывался на тех, кто попадал к нему в зависимость из-за бедности». Когда весной 1825 года Констебл изложил в Абботсфорде свои далеко идущие замыслы, его подмеченная Скоттом мания проявилась в «безудержном честолюбии, которое уже и само себя не вмещало». Он намеревался произвести революцию в области издания и распространения книги и для начала объявил, что книготорговля все еще не выросла из пеленок. Баллантайн от изумления разинул рот, а Скотт хмыкнул и, указав на бутылку виски, попросил Локхарта «плеснуть нашим двум сосункам по капельке материнского молочка». Тогда Констебл привел выкладки в доказательство того, что читающая публика еще толком и не раскошелилась по причине слишком высоких цен на книги. Констебл надумал, как этому помочь: ежемесячно выпускать по томику стоимостью в полкроны, который начнет расходиться сотнями тысяч. Все, кто считает себя человеком грамотным, кинутся эти томики покупать, книготорговец же вскорости станет вторым Крезом*. На эту тему Констебл распространялся долго и весьма красноречиво. Скотт заметил, что, если книги будут хорошие, дело наверняка выгорит, и он готов помочь. Он считал, что прибыльная жила художественной литературы разработана почти до конца, и серьезно подумывал взяться за исторические сочинения. Еще раньше Скотт назвал Констебла «великим Наполеоном империи книгопродавцев», а теперь задал ему вопрос: «Что вы скажете на предложение открыть военные действия жизнеописанием *другого* Наполеона?» Констеблу пришлось это сказать, ибо спустя три года после его смерти Скотт напомнил Локхарту об этом разговоре. Издатель уехал из Абботсфорда, договорившись о том, что «Альманах Констебла» (так предстояло называться новой серии) откроется первой половиной «Уэверли», а начальные главы «Жизни Наполеона» составят

* Крез — легендарный царь Лидии, обладатель несметных богатств.

содержание второго тома. Скотт обещал заручиться для этого начинания покровительством короля — и заручился. Но по причинам, о которых пойдет речь в свое время, великий проект Констебла так и не был реализован его автором, хотя частично этот проект осуществили другие, и пророчество Констебла о революции в книготорговле полностью подтвердилось.

Обговорив дела с преисполненным оптимизма издателем, Скотт поехал в Ирландию с дочерью Анной и зятем Локхартом. Перед поездкой он завел нового пса вместо Майды, который умер в предыдущем году и был погребен у парадных дверей Абботсфорда под грубым камнем, обточенным в пределах известного сходства с покойным. Преемника Майды звали Нимродом; как и его библейский тезка из Книги Бытия, он был «сильный зверолов перед Господом», и в свое время это звероловство привело к маленькой трагедии в доме хозяина.

Путешественники отплыли пароходом из Глазго в Белфаст и 14 июля 1825 года прибыли в Дублин. Здесь они остановились у сына Скотта (уже в чине капитана) и его жены Джейн в их доме на Сент-Стивен-Грин. Такого приема, как сэру Вальтеру, в ирландской столице еще никому не оказывали. Вице-король Ирландии, архиепископ Дублинский, ректор колледжа святой Троицы, настоятель собора святого Патрика, генеральный прокурор, военный главнокомандующий Ирландии — вся верхушка явилась засвидетельствовать ему свое почтение, а когда его карету узнавали на улицах, ей не давали проехать: приветствовать его сбегались толпами. Дублинский университет вручил ему диплом почетного доктора права; он побывал на могиле Свифта в соборе святого Патрика и в театре на постановке «Много шума из ничего». Там он скромно устроился в третьем ряду главной ложи, но публика прознала о его присутствии и часто прерывала пьесу, требуя его на сцену, а между вторым и третьим действиями учинила такой тарарам, что после антракта невозможно было поднять занавес. Виновник происходящего тихо отсиживался в глубокой ложе, пока не стало ясно, что ему нужно сказать речь, иначе спектаклю конец. Тогда он произнес несколько благодарственных слов, объяснив, что не сделал этого раньше, поскольку не хотел «принимать на свой счет столь высокие почести», которых он, по его «глубочайшему убеждению, никоим образом не заслуживает». Видные представители общества с уважением отнеслись к его капризу скрыть авторство своих романов; исключением явился один университетский профессор, заявивший: «Я был так занят, что еще не успел прочитать вашего «Редгонт-лета». На это Скотт возразил: «Я что-то не помню, доктор, чтобы мне доводилось писать сочинение под таким названием».

Несколько дней они провели в холмах Уиклоу, а в долине Глендалу, хотя Локхарт и умолял его воздержаться от этого, Скотт прополз краем пропасти, чтобы добраться до основания скалы Святого Кейвина, после чего признался: «Цепляясь за выступы над обрывом, я не мог удержаться от смеха, представив, каково было бы Констеблу видеть, как будущий биограф Бонни на манер глупыша приник к груди утеса и лишь одной ногой опирается на уступ, отделяющий его от тридцатифутового прова-

ла. Зрелище сие наверняка заставило бы его читать *pater noster**». Когда кто-то объяснил проводнице, что Скотт — знаменитый поэт, та не поверила: «Поэт! Как же, рассказывайте! Он джентльмен — дал мне целых полкроны». Ирландский юмор пришелся Скотту по душе. Однажды он вручил какому-то малому за услугу шиллинг вместо положенных шести пенсов, прибавив: «Не забудь, за тобой шестипенсовик». — «Чтоб вашей чести дожить, пока я его верну!» — ответил тот. Скотт сравнивал: шотландец думает об аде в загробной жизни, англичанин превращает в ад эту жизнь, а ирландец тем временем над всем потешается и все обращает в шутку. Однако Скотт впервые увидел, что чудовищная нищета может существовать бок о бок с такой безграничной роскошью, как это было в Ирландии.

Прихватив с собой капитана Скотта и Джейн, они затем отправились погостить у Марии Эджуорт в Эджуортстауне, графство Лонгфорд, где прошли юные годы Оливера Голдсмита. Как-то, гуляя с тестем по парку, Локхарт заметил, что поэты и романисты взирают на жизнь как на материал для творчества. Скотт возразил: «Уж не слишком ли вы увлекаетесь, ко всему подходя с литературными мерками и считая, что невелика цена тому человеку, у кого нет ни подготовки, ни вкуса к этим вещам? Каким бы жалким выглядел наш мир, если б ваша теория — упаси, Господь! — оказалась истинной! Я прочитал немало книг, многое повидал и в свое время беседовал с умами выдающимися и блистательно образованными. Уверю вас, однако, что таких возвышенных суждений, какие мне доводилось выслушивать от темных бедняков обоего полу, когда трудности и несчастья понуждали их к суровому, хоть и кроткому героизму, либо житейские обстоятельства друзей и соседей заставляли их поделиться своими мыслями, — таких суждений я не встречал нигде, кроме как в Библии. Мы никогда не научимся ощущать и уважать наше призвание и предназначение, если сперва не приучимся считать все на свете пустыми фантазиями в сравнении с воспитанием сердца».

Вместе с присоединившейся к ним Марией Эджуорт они проследовали в Килларни, причем Скотту повсюду воздавали чуть ли не королевские почести. Лодочник, катавший их по озеру Килларни, смог через двадцать четыре года похвастаться, что компания Скотта и Марии заставила его забыть о пропущенном в тот день представлении — публичной казни на виселице. Жители Корка хотели воздать Скотту почести — пришлось завернуть и туда. Его выбрали почетным гражданином, он принимал бесконечные депутации и наслаждался щедрым гостеприимством. Четырнадцатилетний мальчик по имени Дэниел Маклиз нарисовал с него портрет; Скотт ободрил паренька и предрек ему большое будущее. Компания устроила пикник в замке Блэрни, где Скотт облобызал знаменитый камень**. Довольные своей увеселительной поездкой, пресытившиеся пиршествами и почестями, они

* «Отче наш» — христианская молитва (лат.).

** По преданию, этот камень награждает всякого, кто его поцелует, даром влеречивости и убеждения.

возвратились в Дублин, откуда 18 августа отбыли в Холихед. Во время плавания стюард предложил одной из пассажирок выпить от морской болезни стаканчик виски. «Я не смогу его удержать», — пожаловалась та. «Эка беда! Тогда ваша милость доставит себе удовольствие и примет еще стаканчик». Скотт, как добрый мореход, этого удовольствия не сподобился.

Несколько дней отдыха в Сторзе, на берегу озера Уиндермир, задержали их возвращение. Они были гостями богатого купца по имени Болтон, который на эти дни собрал у себя политика Джорджа Каннинга, профессора Джона Вилсона и поэта Вильяма Вордсворта. Отличная погода, изысканное общество, занимательные беседы, поездки за город в живописные уголки, блестящая регата — за всем этим время пролетело незаметно. В письме к жене Софье Локхарт так описывал Вордсворта: «Старый, и напыщенный, и претенциозный, и невероятно, до смешного высокомерный — он, видимо, считает, что Каннинг и Скотт вместе взятые не стоят одного его мизинца»: Они проехали с Вордсвортом от Уиндермира до Райделла, а затем — в Кесвик к Саути. Вордсворт «всю дорогу с чувством поливал нас своими стихами», не прочитав, однако, и строчки из Скотта; сэр Вальтер же декламировал Вордсворта всякий раз, как последний замолкал, чтобы перевести дух. Скотту, который не разделял вордсвортовской «поэтической системы», как он ее называл, и в голову не приходило равнять свою поэзию с поэзией Вордсворта, «лучшего, — по его словам, — и самого здравомыслящего из людей». Бенджамин Хейдон считал, что, выпави успех Скотта на долю Вордсворта, тот стал бы несносным человеком, тогда как Скотт, приведись ему испытать пережитые Вордсвортом неудачи, нимало не утратил бы присущего ему обаяния. Первая часть этого наблюдения представляется сомнительной, ибо Вордсворт был о собственном творчестве столь высокого мнения, что никакое общественное признание ничего бы не смогло к этому прибавить. «Когда мистер Скотт и Ваш друг лорд Байрон преуспевают такими темпами, на какой уж тут успех прикажете надеяться истинному *Поэту?*» — вопрошал он Сэмюэла Роджерса. К сочинениям своих современников Вордсворт относился пренебрежительно, к собственным — с пиететом. Он мог, конечно, испытывать приливы желчи при мысли о том, что ему дано всего лишь затронуть у немногих струны сердца, в то время как Скотту дано заставить толпу раскошелиться, однако жил он в мире собственного воображения, и оно награждало его безмятежностью, без которой всякий мирской успех — вещь безвкусная и бесполезная.

В Абботсфорд Скотт вернулся к сентябрю, и одним из первых его гостей стал ирландский поэт Томас Мур. Мур обворожил Скотта своим пением, и они сразу же прониклись взаимной симпатией, будучи оба людьми добродушными, общительными и безразличными к славе. «Я всегда замечал, — сказал Скотт леди Эйберкорн, — что литераторы считают своим долгом разговаривать в обществе слегка неестественно и витиевато, словно полагают себя не обычными его членами, а некоей редкостью, на которую остальные приходят поглазеть и подивиться». Мур, как и Скотт, умел пользоваться минутой, веселился сам и веселил

других, не считаясь со своим положением прославленного поэта. Он не пробыл в Абботсфорде и суток, как Скотт признался ему, что написал все романы «автора «Уэверли», и многое о них порассказал. «Для меня они были золотой жилой, — заметил он, — но последнее время что-то перестали мне удаваться; таких хороших, как первые, мне уже не создать». Муру показали все достопримечательности округа и познакомили с семьями Лейдло и Фергюсона. «Хороший человек без изъяна» — так подытожил Мур свои впечатления о Скотте. Побывали они и в Эдинбургском театре, где Скотта всегда ожидал восторженный прием; на этот раз, как он записал в «Дневнике», «публика, к счастью, подобралась на редкость хорошая и устроила Т. М. овацию. Я был готов их всех расцеловать — ведь этим они отплатили за сердечный прием, оказанный мне в Ирландии».

20 ноября 1825 года Скотт начал вести «Дневник», возможно, самое ценное и, безусловно, самое волнующее свое сочинение; а поскольку «Дневник» открывает нам личность, в которой большое сердце уравновешено величием ума, — то и самый захватывающий из всех когда-либо написанных человеческих документов этого типа. Наиболее интересные и горькие отрывки из «Дневника» мы будем в дальнейшем цитировать.

Той же осенью состоялась последняя в Абботсфорде верховая охота. В конце утомительного гона сэр Вальтер заставил лошадь брать Катрейл — старинное британское укрепление, состоящее из глубокого рва и вала. Попытка завершилась опасным падением коня вместе со всадником, причем Скотт получил столько синяков и был так травмирован, что с тех пор ни себе, ни лошади уже не доверял в такой степени, чтобы получать удовольствие от хорошей скачки. Он счел этот случай дурным предзнаменованием — и оказался прав.



Глава 20

Катастрофа

Для тех, у кого имелись свободные деньги, 1825 год был годом волнующим. То было время биржевых спекуляций и радужных надежд. Американские колонии Испании восстали против метрополии, и англичане, как в веселые пиратские деньки королевы Елизаветы, издалека почуяли запах золота. Впрочем, времена все же переменились, и тем, чем раньше промышляли в открытом море, теперь промышляли на фондовой бирже. Одна за другой учреждались компании по эксплуатации пребывавших в девственном состоянии природных ресурсов молодых республик Латинской Америки, чьи правительства должны были со дня на день получить официальное признание. Зараза, именуемая бумом, перекинулась на все сферы британского предпринимательства, включая газовую промышленность, железные дороги и пивоварение. Повсюду лихорадочно покупали и бешено продавали. Акции взлетали, как шутихи, и так же лопались. В конце года разразилась биржевая паника; банки заморозили кредиты, многие

фирмы позакрывались, много людей разорилось. Как писал Скотт в «Роб Рое», «утренняя прохлада принесла отрезвление». Но ему и в голову не приходило, что все это безумие может затронуть его самого; поэтому он был весьма удивлен известием о том, что рискованные спекуляции подорвали дела лондонских агентов Констебла, фирмы «Херст, Робинсон и К^о».

В это время Скотт корпел над биографией Наполеона. Обложившись книгами, газетами, рукописями и прочими источниками, он часами гнул спину над письменным столом и напрягал зрение, пытаясь сквозь очки разобрать мелкий шрифт и буквы чужих языков. В современные ему газеты и журналы он обычно почти не заглядывал; из образованных людей своего века он меньше всех читал текущую прессу. Теперь же ему приходилось изучать старые номера «Монитёр» и других подобных изданий. Уставая от этого непривычного для него занятия, он с облегчением переключался на работу над новым романом — «Вудсток». Все еще обретаясь в мечтах, он подумывал о покупке очередного большого участка земли: Кейделл только что предложил ему, если понадобится, «выложить сумму чистоганом». Вот почему дошедшие из Лондона слухи о том, что дела там обстоят далеко не блестяще, так его поразили, что он отказывался им верить. Случись с «Херстом и Робинсоном» какое несчастье, это повлекло бы серьезные последствия и для Констебла с Баллантайном, поскольку все три фирмы тесно сотрудничали в издании и продаже романов «автора «Уэверли». «В 1814 году я получил урок, из которого должен был бы сделать вывод, — призадумался он. — Но успех и достаток вытравили его у меня из памяти»*.

Именно в этом и заключалась беда. Он пренебрегал делами по той простой причине, что с отвращением относился ко всем средствам выколачивать деньги, не считая, понятно, сочинительства, которое доставляло ему радость; а так как он от природы был склонен гнать от себя мысли о вещах, на его взгляд, отвратительных, то не имел и малейшего представления о своих финансовых обстоятельствах. «Довлеет дневни злоба его» — эта присказка была для него законом, как, впрочем, для всех, кто живет, радуясь жизни. Констебл свидетельствовал, что при ведении всех деловых операций между его фирмой и автором «Скотт неизменно выказывал такие сговорчивость и великодушие, что отношения с ним исключали всякую необходимость ставить условия и оговорки, без чего в других случаях никак не обойтись». Время от времени он пробуждался от грез, в которых к Абботсфорду прибавлялись новые акры и задумывались новые романы, и тогда развивал ту истерическую активность, с какой далекий от дел человек приступает к вещам практическим, когда последние отвлекают на себя его внимание. В подобные минуты он обычно наказывал Джеймсу Баллантайну почаще навещать себя в собственную типографию, ибо важные дела не следует пере-

* Кроме специально оговоренных случаев, все нижеприведенные цитаты из Скотта объемом более одного предложения взяты из его «Дневника» (примеч. авт.).

доверять подчиненным и мелкой сошке, и внушал ему, что тот при своих исключительных способностях, честности и здравомыслии не имеет права допускать, чтобы лень и склонность все откладывать в долгий ящик вредили его достоинствам. Иногда Скотт просил представлять ему еженедельный точный отчет о нуждах фирмы и ее состоянии — «чтобы мне не приходилось ничего додумывать самому». Случалось и такое, что Скотт для какой-нибудь сделки устанавливал собственные условия, причем давал недвусмысленно понять, что не потерпит никаких возражений. Узнав, что Констебл нанял другого печатника для выпуска красочного издания романов «автора «Уэверли» (это произошло уже после того, как он уплатил за права на романы изрядные деньги), Скотт настоял на выполнении «обязательства настолько нерушимого, насколько таковым его делает слово чести, — что сочинения, с которыми я распрощался по контракту, будут, как заведено, печататься на улице Святого Иоанна (то есть у Баллантайна. — Х. П.). В противном случае пусть мне перережут глотку моим же ножом». Но такие вспышки интереса к вещам меркантильным — свидетельство того, что Скотт не любил ими заниматься и стремился поскорее от них отделаться; он так и не смог заставить себя вникнуть в истинное положение дел.

В характере Скотта щедрость, доверчивость, непрактичность и недалекость занимали равное место; вместе взятые, они и привели его к катастрофе. Он был слишком щедр к Баллантайну и Констеблу, слишком полагался на последнего, малодушно пренебрегал делами типографии и по-детски нелепо расточал деньги на приобретение земель и строительство Абботсфорда. Хотя типография была основана на его деньги и за дополнительными расходами на ее текущую деятельность обращались опять же к нему, он позволял Джеймсу Баллантайну считаться компаньоном и иметь долю в прибылях на протяжении всего существования фирмы, за исключением пяти лет, когда Джеймс был управляющим, получал жалованья 400 фунтов в год и постоянно брал у Скотта займы. Баллантайн вел дела далеко не лучшим образом; главная его ценность для Скотта заключалась в том, что он выявлял и правил бесчисленные орфографические, синтаксические, грамматические и стилистические ошибки — их не могло не быть у автора, который безостановочно строчил за страницей страниц и никогда не перечитывал написанное. Такую же щедрость Скотт проявлял и к Констеблу, согласившись получать от продажи своих книг всего половину прибыли — чрезмерно выгодные для издателя условия: ведь каждому роману «автора «Уэверли» был обеспечен верный успех.

Но больше, чем все остальное, в крахе Скотта была повинна его страсть к строительству и к приобретению земель — оборотная сторона его романтической натуры. Все началось с желания обеспечить уют своим детям, а кончилось мечтой утвердить в веках собственный род. Вместо того чтобы гарантировать будущее печатной фирмы, вложив в нее существенную часть прибылей от продажи романов, он почти целиком обращал их на расширение своих поместий, особняка и гостеприимства, типографии же выдавал ровно столько, сколько требовалось на каж-

дый день. Добавим к этому, что Джеймс Баллантайн экономией не отличался и помногу заимствовал из фонда фирмы на собственные расходы, что никто из компаньонов не вел бухгалтерских книг и даже не знал, сколько каждый забрал из общего фонда, — и становится ясным, что в романах Скотта было куда больше реализма, нежели в его финансовых операциях.

А ведь он уже несколько лет имел дело с векселями и процентами. С 1816-го до 1821 года он занимал деньги под векселя фирмы «Джеймс Баллантайн и К⁰», подлежащие оплате фирмой «Констебл и К⁰». Банки учитывали эти векселя. Одновременно фирме Констебла обеспечивались гарантии: компания Скотта выдавала ей встречные векселя на ту же сумму. Последние Констебл хранил у себя в качестве залога. Однако первоначальные векселя (на 27 тысяч фунтов) погашены так и не были; время от времени банки, когда их об этом просили, продлевали срок действия векселей, и каждое продление увеличивало непогашенный долг. Когда над Констеблом нависла угроза разорения, он в панике продал встречные векселя, хотя они не предназначались к хождению, будучи всего лишь гарантом. В результате Скотт оказался связанным обязательствами не только по первоначальным векселям, по которым Констебл отказался платить, но и по встречным тоже — их отказался оплатить Баллантайн; таким образом, Скотту пришлось дважды расплачиваться за одни и те же долги. Ничто так красноречиво не обнаруживает его невнимания к деталям деловых операций, а следовательно, и отсутствие интереса к последним, как признание в письме к сыну Вальтеру: «Я оставил у них в руках долговые обязательства, которые они давным-давно должны были бы погасить, но они вместо этого только регулярно выплачивали проценты, что никак не назовешь честным с их стороны, но я-то не знал, что эти обязательства все еще существуют».

На первых порах кризиса Кейделл с Констеблом, однако, всячески его успокаивали, и он полагал, что последний так же надежен, как Английский банк. Затем от Кейделла начали поступать тревожные сигналы, Констебл зачастил в Лондон, и 18 декабря 1825 года Скотт узнал от Баллантайна, что крах «Херста, Робинсона и К⁰» практически неминуем. Это грозило катастрофой для «Констебла и К⁰», ибо между ними и их лондонскими агентами существовала такая же неразбериха первичных и встречных векселей, как между ними и Баллантайном. Зловещие новости натолкнули сэра Вальтера на грустные размышления:

«Люди скажут — вот рухнула гордыня. Пусть же их тешат собственную гордыню, решив, что мое падение как-то их возвышает, или хотя бы делают вид, что это так. Я утешаюсь мыслью о том, что мое благополучие многим принесло пользу и что некоторые, по крайней мере, простят мне скоропреходящее богатство из-за снисхождения к моим благим помыслам и неизменному стремлению делать бедным добро. Известие это принесет огорчение в Дарник и в домики Абботсфорда, сохранить который у меня нет и малейшей надежды. Он стал моей Далилой*, и часто

* По библейской легенде, красавица Далила лишила мощи богатыря Самсона, обрезав ему волосы, в которых хранилась его сила.

называл я его этим именем... Еще немного — и я решусь больше никогда там не бывать. Как я посмею разгуливать по своей усадьбе, когда на шлеме моем почти не осталось плюмажа? Влачить жизнь несчастного должника там, где некогда был богат и пользовался почетом? Слава Богу, хоть дети мои обеспечены! Я собирался отправиться туда в субботу, радостным и преуспевающим, чтобы принять друзей, — тщетно будут ждать меня мои псы — это, право же, глупо, но мысль о том, что придется расстаться с этими бессловесными тварями, доставляет мне больше горечи, чем все тягостные думы, коими я поделился с бумагой, — бедняжки, нужно будет подыскать им хороших хозяев. Ведь есть же на свете люди, которые из любви ко мне полкуют и мою собаку — за то, что она была моей. Но хватит об этом, или я окончательно потеряю присутствие духа, с каким мужчине надлежит встречать беды. Я чувствую, как псы лезут лапами ко мне на колени, — слышу, как они скулят и повсюду меня разыскивают, — какой вздор, но именно так они бы себя и вели, знай они о случившемся, — а бедняга Вилл Лейдло! а бедняга Том Парди! эта новость перевернет тебе всю душу, и не одному тебе, а многим несчастным, для которых мое благосостояние было хлебом насущным».

Шарлотте с ее складом характера и слабым здоровьем такой удар был не по силам. То, что сам он выглядел внешне спокойным, возможно, только распаляло ее раздражение; как бы там ни было, она обвиняла его в неосмотрительности и чрезмерной самонадеянности — упреки справедливые, но от этого не более приятные. Он помнил, однако, про ее «благородное и доброе сердце» и делал скидку на упадок ее жизненных сил. Он понимал, что отныне ему придется трудиться с небывалой отдачей, хотя «пиршествам фантазии пришел конец вместе с ощущением независимости. Я уже не смогу позволить себе удовольствие каждое утро пробуждаться с блестящими мыслями, спешить излить их на бумагу и ежемесячно подсчитывать: написанное даст мне возможность посадить столько-то новых саженцев и купить столько-то акров пустоши... Но уберечь Абботсфорд — ради этого я сделаю все возможное. Мое сердце — в имени, что я создал своими руками».

В тот же день, когда Баллантайн принес дурные известия, к Скотту вечером зашел Кейделл и сообщил, что их лондонские агенты твердо стоят на ногах, хотя и нуждаются в помощи своих шотландских коллег, чтобы до конца продержаться. Издатель проявил к романисту столь глубокое участие, что его акции поднялись во мнении Скотта, и в «Дневнике» появилась запись: «Если выкарабкаюсь, воздам ему тем же». На другой день прибыл Констебл, исполненный оптимизма, и Скотт смог отправиться на рождество в Абботсфорд без особых душевных терзаний, хотя острый рецидив застарелой болезни почек («словно в правый бок всадили кинжал») на сутки вывел его из строя. Это было последнее беззаботное рождество в жизни хозяина Абботсфорда.

1826 год начался для Скотта с нехорошей приметы: он занял 10 тысяч фунтов под залог Абботсфорда; большая часть этих денег пошла на помощь бедствующим компаниям и в конечном

итоге только увеличила его задолженность. Его гордость была уязвлена тем, что пришлось так бессмысленно заложить недвижимость, которую он надеялся завещать сыну свободной от обязательств, и он не простил Констеблу той роли, какую «Искусник»* сыграл в этой операции, — возможно, потому, что гордость Скотта вдвойне уязвило его безоглядное доверие к Констеблу. Однако отношение Скотта к Кейделлу, с которого следовало спрашивать в первую очередь, осталось все тем же — вероятно, потому, что эта бесчувственная цифирная душа проявила по отношению к нему совершенно непредвиденную отзывчивость.

16 января Скотт приехал в Эдинбург и раньше всего остальных узнал, что «Херст, Робинсон и К⁰» отказались платить по векселю «Констебла и К⁰»; это значило, что обе фирмы разорены и что «Джеймсу Баллантайну и К⁰» грозит крах. Тем не менее он в тот же вечер обедал у своего старого друга Джеймса Скина и выглядел не менее жизнерадостным, чем обычно, с присущими ему непринужденностью и весельем участвовал в застольной беседе и просил хозяина заглянуть к нему на другое утро. Когда 17-го Скин вошел к нему в кабинет, Скотт уже знал от Баллантайна самое худшее и, поднявшись из-за стола, протянул гостю руку со словами: «Скин, это — рука нищего. Констебл обанкротился, и я разорен *du fond au comble***». Страшный удар, но я обязан его пережить. Единственное, что меня гнетет, — это мысль о бедняжке Шарlotte и детях». На Замковой улице, понятно, разыгрались мучительные сцены, когда он пытался заставить Шарлотту и Анну понять всю неизбежность разорения; дворецкий свидетельствует, что в тот день никто не притронулся к обеду, чаю и ужину, а на следующее утро и к завтраку. Друзья Скотта поспешили на выручку с предложением денег. Некий почитатель, пожелавший остаться неизвестным, хотел одолжить ему 30 тысяч фунтов. Сын Вальтер написал, что отец может распорядиться всеми капиталами Джейн (около 14 тысяч фунтов), а если понадобится, так они продадут и ее земли в Лохоре. «Боже упаси!» — заметил Скотт по этому поводу. Больше всего его тронуло предложение Фреда Поула, который в свое время обучал Софью и Анну игре на арфе. Поул просил его принять все свои сбережения, «ибо благодаря Вашей великодушной поддержке... я сумел накопить несколько сот фунтов, которые прошу Вас считать всецело Вашими». Но Скотт отклонял все предложения помощи. «Мне поможет моя правая рука», — заявил он, и все эти дни, полные тревог и напастей, его правая рука неуклонно писала «Вудсток»; первый том он настроил за пятнадцать дней, из коих десять присутствовал на сессии Высшего суда.

В результате банкротства его фирмы выплыл на поверхность и тот факт, что фирма принадлежала ему. Этот секрет он держал в тайне даже от ближайших друзей, и его обнаружение наряду с горем жены и детей причинило Скотту больше боли, чем все остальное. Утаивание имени хозяина печатного дела было если и не прямым надувательством, то, по меньшей мере, сокрытием истины,

* Такое прозвище Констебл носил в узком дружеском кругу.

** До основания; полностью, безнадежно (*фр.*).

и Скотт понимал, что многие сочтут его поведение в этом вопросе отнюдь не безупречным. Когда он впервые появился в Высшем суде после того, как тайное стало явным, один сторонний наблюдатель отметил, что в его виде не было ничего от показного безразличия или демонстративного вызова и что он держал себя с мужеством и скромностью джентльмена безукоризненной честности, который, однако, знает, что где-то прощтрафился. «Сегодня первый раз был в суде, — записал Скотт 24 января, — и, как тот сказочный карлик с огромным носом, внушал себе, что все только и думают, что про меня и мои беды. Многие, несомненно, и думали, притом не без сочувствия, — некоторые так явно за меня переживали. Исключительная возможность — наблюдать разницу в поведении людей, когда они стремятся быть добрыми или вежливыми, адресуясь ко мне. Одни, здороваясь, улыбались, словно хотели сказать: «Забудь об этом, дружище! Ей-же-ей, мы об этом совсем и не думаем». Другие раскланивались с той преувеличенной и мрачной торжественностью, от одного вида которой воротит на похоронах. Самые воспитанные — хотя, полагаю, у всех были наилучшие побуждения — те просто обменялись со мной рукопожатием и отходили».

Казалось, собственная беда расстраивала его меньше, чем его друзей. Даже Георг IV взгрустнул, узнав о его несчастье; когда же в гости к Скотту пришел Вильям Клерк, Анна была просто шокирована, услышав, как эти двое покатываются со смеху, хотя один из них только что потерял состояние, а другой сестру. Меньшей жалости к самому себе, чем у Скотта, действительно трудно вообразить. Изъявления сочувствия со стороны публики его не трогали: «Глупая шумиха в газетах — призывают и смертных, и богов поддержать популярного автора, который выманил у публики целое состояние, но по собственной глупости пустил богатство на ветер». Порой горечь потери обрушивалась на него всей тяжестью, однако Скотт быстро с этим справлялся. Он сражался до последнего и выиграл битву, хотя не успел вкусить сладости победы. Сам он пошел ко дну, но тем удержал на плаву своих кредиторов. «Херст и Робинсон» и Констебл с Кейделлом объявили себя банкротами; Баллантайн мог бы последовать их примеру, но Скотт и слышать не хотел о таком легком способе разделаться со своими обязательствами — он твердо решил выплатить все долги до последнего пенса. С согласия кредиторов был учрежден Совет по опеке, которому оба партнера «Джеймс Баллантайн и К⁰» передали для удовлетворения кредиторов все свое имущество, а Скотт, со своей стороны, обязался посвятить все свое время и способности созданию литературных произведений, с тем чтобы прибыль от их продажи шла на расплату с долгами. Общая сумма долгов достигала 116 838 фунтов, не считая 10 тысяч фунтов, полученных под залог Абботсфорда. Из этой суммы около 40 тысяч фунтов являлись, по существу, долгами «Констебла и К⁰», но из-за удвоения и утроения векселей — разобраться в этих махинациях сумеют разве что экономисты, поскольку нормальный здравый смысл тут бессилён, — и эти долги легли на плечи Скотта. При всем том сам он совершал огромные траты, что подтверждает его собственная задол-

женность на сумму между 70 и 80 тысячами фунтов, зафиксированная в дружеских векселях его фирмы, личных долговых расписках и векселях, учтенных банками. Во многие долги он, правда, залез исключительно ради Баллантайнов.

Поначалу возникло небольшое осложнение с одним из его главных кредиторов — Шотландским банком. Банк не только предъявил иск о передаче двух его очередных сочинений в собственность Констебла, благо Скотт получил за них аванс, но и потребовал от опекунов возбудить судебный процесс о пересмотре условий брачного контракта между Вальтером и Джейн, по которому старший сын Скотта наследовал Абботсфорд со всем содержимым: предлагалось продать все находившееся в особняке движимое имущество, включая ценную библиотеку. В Скотте сразу пробудился воинский дух, и он мигом заставил банк образумиться, прибегнув к шантажу, точнее — к оправданной самообороне. Если банк будет настаивать на своих требованиях, разъяснил Скотт, он объявит себя банкротом; в результате они получают всего по несколько шиллингов с фунта, он же впредь начнет работать только на себя самого: «Раз они занесут надо мной меч Закона, я отвечу, поднявши щит... Мне стыдно иметь долги, с которыми я пока не могу расплатиться, но мне не стыдно попасть в одну компанию с теми, к числу коих я и так отношусь. Позорно *быть* настоящим банкротом, а не *считаться* таковым по Закону». Рассудив, что фунт в будущем все же лучше пары шиллингов в настоящем, банк пошел на попятный, и общее собрание кредиторов постановило оставить за Скоттом право распоряжаться своим жалованьем шерифа и секретаря Высшего суда — 1600 фунтами в год, а также сохранить за ним Абботсфорд. Позже, отдавая должное его стараниям на благо кредиторов, последние сделали Скотту подарок в виде библиотеки, обстановки и собрания раритетов, находившихся в Абботсфорде. Стоимость всего этого была определена в 12 тысяч фунтов, то есть при ликвидации имущества кредиторы получили бы с этого по два шиллинга на фунт. Однако дом на Замковой улице должен был пойти на продажу со всей обстановкой.

Такое соглашение пришлось не по вкусу одному из кредиторов, джентльмену по имени Эйбад, о родословной которого мы можем строить лишь самые смутные предположения. Этот джентльмен скупил векселей на две тысячи фунтов (возможно, по цене несколько ниже их номинальной стоимости) и предъявил их к немедленной оплате. Скотт пришел в ярость и взмолился, чтобы черти отхлестали мистера Эйбада «свиной вырезкой», ибо он, Скотт, охотней станет банкротом, нежели допустит, чтобы тому перепал хоть один пенс раньше других кредиторов. От Эйбада долгое время не было житья: он то угрожал судом, то брал свои угрозы назад, то снова принимался грозить. В конце 1827 года банкир сэр Вильям Форбс, с самого начала проявивший к Скотту большое участие, положил конец домогательствам, заплатив Эйбаду из собственного кармана. Свой поступок он сохранил в тайне от Скотта, предоставив тому считать, будто кредиторы утрясли это дело между собой. Поведение Эйбада

пробудило в душе Скотта чувства, идущие вразрез с конституцией, и он написал сыну Вальтеру: «Если Лондон когда-нибудь будет отдан на поток и разграбление солдатами, рекомендую тебе обратиться на его лавочку особое внимание; он торгует золотыми слитками, так что ты не пожалеешь, вняв моему совету».

Забегая вперед, скажем, что Скотт умер, оставив непогашенных долгов на 22 тысячи фунтов плюс проценты. Издателем тогда был Кейделл, сумевший к 1836 году выжать из его сочинений 60 тысяч фунтов чистой для себя прибыли. Наряду с Констеблом Кейделл нес половину моральной ответственности за те 40 тысяч долга их фирмы, что были отнесены на счет Скотта. Когда «Констебл и К^о» обанкротились, Кейделл объявил себя несостоятельным должником и тем самым избежал необходимости платить по векселям. И вот после смерти Скотта он, вместо того чтобы поблагодарить душеприказчиков последнего за погашение его, Кейделла, долгов, согласился взять на себя выплату положенной кредиторам остаточной суммы при условии, что семья писателя безвозмездно уступит ему свою половину авторских прав на сочинения Скотта. Его предложение приняли, и в 1847 году наследство Скотта освободилось от всех долговых обязательств. Локхарт, которому по соглашению с Кейделлом пришлось уступить тому и свои права на «Жизнь Скотта», благодарил издателя за бескорыстную помощь. Нас поэтому утешает мысль о том, что сей бескорыстный муж скончался владельцем огромных земельных угодий и свыше ста тысяч фунтов чистого капитала.

Не приходится сомневаться, что сам Скотт был бы согласен с Локхартом: после катастрофы он уверовал в Кейделла столь же безоговорочно, сколь до того полагался на Констебла. Скотт считал, что Констебл, когда дело касалось его финансового положения, в той же мере водил самого себя за нос, в какой втирал очки окружающим. По этой причине, заключил Скотт, «питать ненависть к человеку, который мне по-настоящему нравился, — все равно что ставить себе на сердце мушку». Поведение Констебла после краха не располагало к доверию: у него развилась мания преследования, и он внушил себе, что подчиненные вступили между собой в тайный сговор, чтобы сжить его со света. Убедившись, что Констебл не вполне нормален, Скотт решил, что отныне его книгопродавец и советчиком в литературных вопросах будет Кейделл, который — не успели его объявить банкротом и освободить от уплаты долгов — основал собственное издательское дело. Джеймса Баллантайна Совет по опеке оставил при типографии в должности управляющего; позже он стал ее хозяином. Как всегда, Баллантайн отвечал за полиграфическое исполнение книг Скотта, печатавшихся у него в типографии.

В лучшие годы жизнь была для сэра Вальтера радостным сновидением; сразу и вдруг она превратилась в кошмар. Но пришедшая жизнерадостность Скотта удивительно быстро взяла реванш, и он с полным правом заявил Лейдло, что может уподобить себя Эльдонским холмам: «Стою так же крепко, хотя чело тоже слегка затуманено. Передо мной открывается новый путь, и я не взираю на него с неприязнью. Все, что способен явить

высший свет, я уже видел, и наслаждался тем, что могло дать богатство, и убедился, что многое под солнцем — суета, если не томление духа»*. Сейчас, заявил Скотт, он испытывает меньшее неудобство, чем в тот раз, когда буря сорвала с него шляпу. Уже в конце января он писал Локхарту: «Удивительно, как быстро я приспособился к своему неприятному положению. Господи, да оно бы мне даже понравилось, когда б мои дамы научились его лучше переносить, но их угнетают вещи, к каким я сам отношусь с полным равнодушием, — экономия на выездах, домашнем хозяйстве и т. п. Боюсь, они бы скорей предпочли жить в бедности, но выглядеть богатыми, чем наоборот». Он утешался, повторяя изречение капрала Нима: «Будь что будет»**, и размышлял на страницах «Дневника»: «У меня такое чувство, будто я сбросил с плеч роскошные, но очень тяжеловесные одеяния, которые меня больше обременяли, нежели прикрывали... Я сплю, ем и работаю по заведенной привычке, и, если б домашние относились к утрате высокого положения так же спокойно, как я, я был бы совсем счастлив». Скотт был прирожденным бойцом и как-то раз, прогуливаясь с Джеймсом Скином по парку, незадолго до того разбитому между Эдинбургским замком и Королевской улицей, заметил: «А знаете, я испытываю определенное удовольствие, лицом к лицу встречая самое страшное из всего, что мне принесла эта внезапная превратность судьбы. Всю силу удара, разрушившего мое благополучие, я принял на себя со словами: «Вот я стою, хотя бы спасши честь». Господь свидетель, если у меня и есть враги, в одном могу признаться, положила руку на сердце: я никому и ни разу в жизни умышленно не давал повода видеть во мне недруга, не отыскало у меня в душе благодатной для себя пищи. Не припомню случая, чтобы я к кому бы то ни было горел злобой, и в этот час моего унижения, да поможет мне Бог, я желаю всяческих благ всем и каждому. Считаю я, что в каком-то моем сочинении есть фраза, задевающая чье-то достоинство, я бы предал эту книгу огню». Вернувшись после прогулки домой, он прошел в кабинет и записал: «Жена и дочь оживленно болтают в гостиной. Когда я их слышу, становится легче на сердце». 5 февраля он напомнил себе: «С тех пор как мое общественное положение изменилось столь радикальным образом, прошло не более трех недель, но я уже отношусь к этому с полным безразличием». А месяц спустя он решил, что без своих богатств зажил счастливее, чем при них.

Известность и деньги значили для Скотта меньше, чем для большинства людей. «У меня не было дня, когда бы я согласился отказаться от литературы, предложи мне вдесятеро больше, чем я от нее выручаю», — сказал он Локхарту. К сожалению, его

* Перифраз из Библии: «Суета сует, сказал Екклесиаст, суета сует, — все суета... И предал я сердце мое тому, чтобы познать мудрость и познать безумие и глупость; узнал, что и это — томление духа» (Книга Екклесиаста. I, 2, 17).

** Капрал Ним — персонаж Шекспира («Генрих V», «Виндзорские насмешницы»).

жена и дочь весьма дорожили роскошью и положением в обществе и не сразу осознали, что и то и другое безвозвратно канули в прошлое. Теперь Скотту часто приходилось наводить строжайшую экономию; из-за этого Анна сделалась настоящей брюзгой и писала брату Чарлзу, что все домашние разговоры сводятся к одному — *деньги, деньги*: «Сколько о них ни поминай, их все равно не вернешь, так уж лучше бы папа оставил в покое все эти фунты, пенсы и шиллинги... Представляю, какая веселая жизнь предстоит мне шесть месяцев в год вместе с маменькой, тем более что Их Светлость стали такими раздражительными. Сочувствую, что у тебя боль в ухе. Я тоже ее подцепила, и очень сильную, со страшной-престрашной простудой, — только этим и развлекаюсь». Анна порой механически перенимала манеры и повторяла оценки, заимствованные у своих эдинбургских знакомых, что вызывало мягкое порицание отца. Например, когда она про что-то там заявила, что не может этого терпеть, так как оно вульгарно, отец заметил: «Душенька, ты говоришь, как малый ребенок; тебе вообще-то известно значение слова *«вульгарный»*? Всего лишь — *обычный*. А ничто обычное, кроме злобы, не заслуживает, чтобы о нем отзывались с таким презрением. Поживешь в мое — пожалуй, и согласишься, что во всем, что на этом свете стоит иметь и любить по-настоящему, нет ничего *необычного*, — и слава Богу!» Однако в целом Анна довольно быстро оправилась от горького разочарования, вызванного перспективой унылого будущего — без танцев, приемов, театров и новых туалетов, — и отец смог уведомить Софью, что ее сестра держится прекрасно, «учитывая жестокий урон, нанесенный ее высокомерию».

Экономить им приходилось буквально на всем. Слугам в Эдинбурге было объявлено, что их ожидает расчет, так как платить им нечем. Они отказались бросить хозяев и ушли лишь тогда, когда из дома по Замоквой улице вывезли мебель. Держать управляющего в Абботсфорде также оказалось не по средствам, и Вильям Лейдло уехал из Кейсайда, но сэр Вальтер пристроил его к Скотту из Хардена описывать громадную харденскую библиотеку. Что касается Тома Парди, то, как заявил его хозяин, «с ним мы не расстанемся до самой могилы». Несколько абботсфордских слуг тоже остались с семьей, хотя в других домах им предлагали лучшее жалованье. Узнав, что ему придется искать новое место, дворецкий Даглиш расплакался, устроил истерику и чуть ли не на коленях молил, чтобы ему положили самый чудерный вклад, но разрешили остаться. Скотт его оставил, доверительно поделившись с одним из друзей: «Этот человек — просто-напросто дурень; стоило ему обратиться к любому гробовщику, который понимает толк в своем деле, и он бы заработал состояние на своей унылой вытянутой физиономии. У него всегда такой вид, будто его не переставая гложет какая-то непонятная кручина». Впрочем, отмечал Скотт, слуги вообще обожают всеческие напасти: «Дурные вести придают столько важности тому, кто их первый принесит». Несчастье обернулось для Скотта двумя большими преимуществами. Его новое положение не позволяло ему тратить время на прием и развлечение многочисленных

гостей, и он был вынужден отказаться от фермерских занятий, к которым и без того питал отвращение.

Разорился не один Скотт — многие другие очутились в столь же незавидном положении. Страна пережила денежный кризис, и правительство Великобритании решило запретить всем частным банкам выпуск бумажных купюр, а Английскому банку — пускать в обращение банкноты достоинством менее пяти фунтов. В Шотландии была нехватка металлических денег и широкое хождение имели фунтовые бумажки, так что шотландские банки расценили это решение как посягательство на их экономическую свободу. Движимый духом национальной независимости, Скотт написал три «Письма Малахии Мэлегроутера», которые сперва появились в «Эдинбургском еженедельнике» Баллантайна, а затем вышли отдельной брошюрой у Блэквуда. «Итак, я стал патриотом и взялся за дела государственные в тот самый день, когда расписался в неспособности вести свои собственные дела», — сухо заметил он, подписав акт о передаче Совету по опеке контроля над его имуществом.

Многие люди настолько заражены эгоизмом, что совершенно равнодушны к судьбе своих ближних, однако при этом проявляют интерес к обществу в целом и веруют, сами себя обманывая, будто общество важнее личности, а то, что создано ради человека, — важнее самого человека. Скотт был не из их числа. Он знал, что правительства учреждаются с единственной целью — защищать гражданские права личности и что тогдашнее его правительство склонно эти права игнорировать. Его не волновали и не могли волновать политические спектакли, где на первых ролях выступали «дураки, лезущие из мелюзги в люди». Он равно презирал и вигов и тори за то, что обе партии, «не успев появиться на свет, разметали в клочки самые лучшие чувства». Он не уважал ни шотландских политиков (их попытки оживить промышленность Скотт сравнивал с действиями человека, который «пишет за борт, чтобы облегчить тонущее судно»), ни их английских коллег. Парламентских тори он предупреждал, что, пренебрегая чаяниями шотландцев, они выпустят бунтовщиков. По мнению Скотта, следовало расширить полномочия местных органов власти в Шотландии. «Попробуйте нас *расшотландить* — и получите таких англичан, с которыми не оберетесь хлопот», — сказал он секретарю Адмиралтейства Дж. В. Кроукеру. Его пророчество оправдалось, когда Билль о реформе парламента породил сначала Шотландию вигов, а затем — Шотландию радикалов.

На общественное выступление Скотта могло толкнуть лишь одно — посягательство на свободу родного края; он и свои письма по вопросу о денежной реформе набросал из чисто патриотического рвения. Письма наделали много шума. Защищая себя, несколько министров обрушились в парламенте на Скотта. Министр по делам Шотландии лорд Мелвилл был в бешенстве, Каннинг выразил сильнейшее недовольство. Но «Письма Малахии Мэлегроутера» достигли своей цели. Правительство отказалось от намерения запретить выпуск шотландских банкнот, а Скотт утешался мыслью о том, что впредь «никто не посмеет

говорить обо мне как о лице, достойном жалости, — конец всем этим «бедняжечкам!» Человек гордый, он не любил просить о милостях или принимать таковые. Он мог признать 280 фунтов — снарядить племянника в Индию и оплатить ему плавание до Бомбея («не могу же я допустить, чтобы сирота да еще такой умный парнишка потерпел неудачу из-за моей нерасторопности»), но воспретил друзьям просить для него место судьи в Высшем суде, хотя это освободило бы его от обязанностей секретаря и шерифа.

Последние дни на Замковой улице он ходил подавленный, мучаясь чувством «непонятной привязанности даже к бесчувственным предметам, которые столько лет служили нам верой и правдой». Вид сваленной в кучу мебели, картин, утвари и всего остального наталкивал на безотрадные думы: «Покидать дом, который мы так долго называли своим гнездом, в общем, довольно-таки грустно... Я принялся разбирать бумаги и упаковывать их для переезда. Что за странные путаные мысли порождает это занятие! Вот письма — когда я их получал, сердце замирало в груди. Теперь от них веет скукой и тленом... Памятки о друзьях и недругах — и те и другие равно позабыты». В письмах и дневниковых записях этих дней он несколько раз путает номер дома: 93 вместо 39. К счастью, его дворецкий относился к цифрам с большим вниманием; Даглиш свидетельствует, что из подвала на Замковой улице в подвал Абботсфорда было перевезено бутылок вина — 350 дюжин, бутылок крепких напитков — 36 дюжин. Внушительное это количество дает представление о размахе гостеприимства Скотта, а также намекает, вероятно, и на немалый объем горячительного, который его друзья были в состоянии поглотить.

15 марта 1826 года Скотт в последний раз закрыл за собою двери своего эдинбургского дома и до конца жизни уже не появлялся на Замковой улице, если мог обойти ее стороной. «Вполне понятные, хоть и неприятные чувства, охватившие меня при выселении, — в сущности, это было самое настоящее выселение — без труда развеялись во время поездки». В Абботсфорде слуги и псы встретили его шумом и гамом — все были рады возвращению хозяина.



Глава 21

В поисках правды

Теперь даже в сельском уединении жизнью Скотта распоряжалась работа. До этого литературные занятия были для него своего рода увлечением, и он мог в любую минуту их оставить, чтобы забыть о трудах в приятной беседе или забавах на свежем воздухе. Но характер исторических разысканий, как и необходимость платить долги, обязывали его проводить за рабочим столом определенное количество времени. Он вставал в семь утра, работал до половины десятого и завтракал в обществе Анны: жена появлялась из спальни только к полудню. После завтрака работал примерно от десяти до часу. Затем три часа ездил верхом или прогуливался по молодому лесу с Томом Парди. Потом беседовал с женой и дочерью, съедал легкий обед, выкуривал сигару за бокалом разведенного виски, иногда просматривал какой-нибудь роман, пил чай, снова болтал с родными, работал от семи до десяти, выпивал стакан портера с ломтиком хлеба и отходил ко сну. Ему требовалось не менее семи часов сна, и если он недосыпал, то выкраивал,

чтобы вздремнуть, пару часиков днем. Полчаса между пробуждением и вставанием всю жизнь были для него творческим промежутком: в это время его посещали идеи, как лучше справиться с очередным романом, особенно если не давались сюжет или действие. Но, работая над «Жизнью Наполеона», он не мог полагаться на подобные минуты наития — тут каждая глава требовала беспрестанных исследований и кропотливого труда. «По-моему, читается одним духом и станет популярным историческим сочинением», — заметил он о Введении, посвященном Великой французской революции. Однажды Локхарт критически отозвался о стиле его статей для «Квартального обозрения». Скотт поблагодарил зятя, но задал вопрос: «Что вы хотите от несчастного, который в прямом смысле слова никогда не учился читать, а уж тем более — писать сочинения?» Самоуничижение писателя странным образом противоречило в нем гордости человека. Он говорил, что является «смирнейшим писателем Господа, если только все это племя не относится к юрисдикции дьявола», и не претендует на то, чтобы «Квартальное обозрение» платило ему больше, нежели любому из своих известных сотрудников.

Мучаясь над работой, он с горем следил, как ухудшается здоровье жены, чему немало способствовало ухудшение семейного благосостояния. Шарлотта страдала от грудной водянки, и средство, что ей прописали, — наперстянка — казалось Скотту страшнее недуга. Его тревожило, что она не прилагала к выздоровлению решительно никаких усилий; по его убеждению, ей был бы очень полезен мочигон. Шарлотта не любила распространяться о своей болезни и все время твердила, что ей становится лучше. 11 мая, собираясь в Эдинбург по судебным делам, Скотт заглянул к ней в спальню. Приподнявшись с подушек, она попыталась изобразить улыбку и сказала: «У вас у всех такие унылые лица». Перед самым отъездом Скотт зашел к ней попрощаться, но она сладко спала, и ему не захотелось ее будить. Четыре дня спустя ее не стало. Скотт немедленно вернулся в Абботсфорд. Ему пришлось порядком повозиться с Анной, которая то и дело билась в истерику и падала в обморок, но это, возможно, было и к лучшему. «А как я себя чувствую — сказать трудно. То крепким, как прибрежный утес, то слабым, как волна, что о него разбивается». Скотт находился в каком-то оцепенении и отстраненности, как то бывает при великом несчастье. Морриту он писал: «Мирские заботы, о коих Вы поминаете, — ничто перед этой чудовищной и непоправимой бедой». Он знал, что больше у него не будет подруги, которой он поверял бы свои думы и чувства и которая «всегда могла развеять зловещие опасения, способные надорвать сердце тому, кто вынужден терзаться ими в одиночестве. Даже ее слабости шли мне на пользу, отвлекая от надоедливых размышлений о собственной персоне.

Я видел тело. Облик, что я узрел, был похож — и не похож на мою Шарлотту, подругу трех десятков лет. Фигура сохранила все те же пропорции, хотя прежде такие гибкие и грациозные линии теперь застыли в смерти, — но эта желтая маска с заострившимися чертами, которая, мнится, уже и не подражает жизни, но издевается над нею, — разве это — лицо, прежде

исполненное такой живой выразительности? Нет, я больше не взгляну на эту маску...

Но не моя Шарлотта, не невеста моей юности и мать моих детей будет покоиться в развалинах Драйбурга, где мы провели с нею столько радостных и безмятежных минут. Нет и нет! Где-то и как-то она ощущает и понимает, что я чувствую. Нам не дано знать *где*, нам не дано знать *как* — и все же в этот час я не отрину ради всего, что способен предложить мне этот мир, — не отрину непостижимой и, однако, твердой надежды встретиться с ней в лучшем мире...»

Вальтер и Чарлз успели к похоронам, состоявшимся 22 мая. Шарлотту предали земле среди развалин Драйбурга, где предстоило упокоиться и телу ее мужа. «Я словно оцепенел в каком-то тумане, и все, что делается и говорится вокруг, кажется мне *нереальным*», — записал Скотт накануне похорон. Ощущение нереальности происходящего не оставляло его на протяжении всего обряда. Его немного утешил приезд сыновей, и Анна, оправившись после удара, оказалась настоящей ему опорой. «Я подчас порицал ее за налет модного равнодушия», — писал Скотт, но «под этой манерой поведения» ее отец обнаружил высокообразованное чувство долга и довольно сильный характер. Однако за письменным столом на него наваливалось одиночество заброшенности: «Вот когда я понял, что остался совсем один, — бедняжка Шарлотта успела бы раз десять заглянуть в кабинет проверить, горит ли камин, и раз сто спросить, не нужно ли мне чего. Увы — этому пришел конец — и если нельзя забыть, то нужно помнить и терпеть». Старший сын возвратился в Ирландию, а 29 мая Чарлз с отцом приехали в Эдинбург, откуда первому предстояло отплыть в Лондон. «Печальный нынче выдался день, весьма печальный, — исповедовался Скотт «Дневнику» 30 мая. — Боюсь, мой бедный Чарлз видел мои слезы — не знаю, как у других, а у меня истерическое состояние, которое заставляет людей плакать, проявляется с чудовищной силой — горло так перехватывает, что нечем дышать, — а затем я погружаюсь в полусон и спрашиваю себя, может ли быть такое, что моя бедная Шарлотта и вправду умерла. Мне кажется, я начинаю переживать утрату сильнее, чем при первом ударе».

В июне был напечатан «Вудсток», заверченный к концу марта. Роман, как всегда, писался без заранее разработанной фабулы. «Не имею ни малейшего представления, как мне разрешить интригу, — признавался Скотт, когда книга была уже написана на две трети. — Мне никогда не удавалось составить план, а если и удавалось, так я ни разу его не придерживался». За две недели до окончания работы над книгой он «не больше первого встречного знал о том, что произойдет дальше». Его подгоняла необходимость, но он не возражал: «Люблю, когда печатный станок поджимает меня своим уханьем, громом и лязгом». Сюжетом он остался не очень доволен, но был зато очень рад, что Лонгманз заплатил 6500 фунтов за тираж в 7900 экземпляров: вся работа над романом заняла меньше трех месяцев. Превратности судьбы вызывали у Скотта приток свежих сил и напряжение воли; это подтверждается и тем, что главы, написанные после катастрофы,

лучше тех, что были завершены до нее. Тем не менее «Вудсток» не относится к вершинам его романистики. Герой, как обычно у Скотта, видит правоту обеих враждующих сторон, с которыми его сводят обстоятельства, и ладит с каждой из них. Героиня, как обычно, слишком невинна, чтобы представлять интерес. Фабуле не хватает живости, кроме тех сцен, в которых действуют Кромвель и Карл II.

Зато после выхода романа на дорогах, ведущих к Вудстоку, все лето наблюдалось большое оживление: в городке бывали многие, однако для того, чтобы его *увидеть*, людям понадобилось прочитать книгу. В глазах большинства вымысел ярче реальности, возможно, потому, что правда бывает много невероятнее самой смелой фантазии. В этом наш автор убедился в сентябре того же года, когда со смерти Шарлотты не прошло и четырех месяцев. Сэр Джон Синклер, казначей акцизного управления Шотландии, предложил Скотту жениться на герцогине. «Если вдовствующая графиня Варвик вышла за какого-то писателя, не вижу причин, *почему бы вдовствующей герцогине Роксбург не выйти за сэра Вальтера Скотта*», — написал он, добавив в качестве побудительного мотива: «Располагая ее несметными богатствами, чего только Вы не добьетесь с Вашим великим умом!» Сэр Джон любезно позаботился даже о том, как половчей свести их в замке Флерз. Скотт давно знал, что Синклер — законченный осел, невыразимый кретин и патентованный зануда. Однако! «Наглость его безумного предложения лишила меня дара речи — я совершенно теряюсь и не нахожу слов — ...что должна подумать Ее Светлость о моем самомнении или о моих чувствах!» Так отреагировал Скотт на этот прожект в своем «Дневнике»; Синклеру же вежливо отписал, что «абсолютно не склонен вступать в повторный брак».

Отныне и до конца дней подругой жизни Скотта стала работа. Через месяц после того, как «невыразимый» Синклер попробовал сунуться в его личные дела, он отбыл в Лондон, где ему предстояло ознакомиться с официальными документами, а оттуда в Париж, где его ждали многочисленные встречи с людьми, лично знавшими предмет его изысканий. У него не лежало сердце к этой поездке, и накануне отъезда ему привиделось, будто покойная жена предстала перед ним и отговаривает от путешествия. Однако 12 октября он выехал вместе с Анной. Любопытность дочери доставила ему такую же радость во время поездки, какую некогда испытал он сам, насыщая собственное любопытство. Это было его первое за последние годы путешествие дилижансом (он уже привык добираться до Лондона пароходом), но особых изменений он по пути не заметил: «Старое поколение красноносых трактирщиков сошло со сцены, уступив место своим вдовушкам, старшим отпрыскам или главным официантам, которые принимают постояльцев с прежней смесью суетливости и сознания собственной значительности». Одну ночь они провели в Рокби у старого друга Скотта — Моррита; по дороге осмотрели Барли-хаус и 17-го числа прибыли в Лондон, где остановились у Софьи и Локхарта на улице Пел-Мел.

Скотт побывал в министерстве по делам колоний и ряде других правительственных учреждений и получил там много цен-

ных сведений секретного характера. Он также съел положенное число обедов и завтраков в различных домах и повидал всех, кто хотел повидать его, включая Сэмюэла Роджерса, сэра Томаса Лоуренса, Дж. В. Кроукера, Томаса Мура, миссис Коулс и короля. Монарх пригласил его в Виндзорский замок, и он целые сутки гостил в охотничьем домике на территории Виндзорского парка. «Его Величество принял меня любезно и милостиво — его ко мне отношение всегда отличалось сочетанием двух этих качеств. Мы были одни, если не считать королевской свиты, леди Каннингем, ее дочери и двух-трех дам. После обеда мы послушали отличную игру собственного Его Величества оркестра, который устроил нам засаду в примыкающей к столовой теплице. Король усадил меня рядом с собой и заставил разговариваться, — боюсь, я был *слишком* словоохотлив, — но он умеет поднять настроение и склонить вас забыть о *retenué**, что разумно в любых обстоятельствах, а при дворе — особенно. Сам он беседует так легко и изящно, что вы перестаете думать о сани собеседника, восхищаясь этим воспитанным и безукоризненным джентльменом». Как было договорено, наутро после завтрака Софья, Локхарт и Анна встретились со Скоттом и осмотрели Виндзорский замок; затем возвратились в Лондон и, наскоро пообедав, поспешили в театр Дэниела Терри «Адельфи» на вечернее представление — постановку по роману американского писателя Фенимора Купера «Лоцман». После спектакля они отужинали портером и устрицами в квартирке Терри «не больше беличьей клетки — он ухитрился выкроить ее в том же здании из комнат, не занятых под театральные службы».

26 октября сэр Вальтер и Анна пересекли пролив и высадились в Кале. По пути они осмотрели собор в Бовэ и 29-го были в Париже. Они остановились на улице Риволи в «Виндзорском отеле», в номерах за пятнадцать франков. Скотта предупреждали, что на сценах французских театров с большим успехом идут постановки по нескольким романам «автора «Уэверли», так что его ждет в Париже грандиозный прием. «Вот уж к этому я совершенно равнодушен. Как литератор я не могу делать вид, будто презираю восторги публики, но как частному лицу и джентльмену мне всегда были неприятны голоса толпы — они смущали меня даже тогда, когда раздавались в мою честь. Я хорошо знаю истинную цену этой крикливой хвале и не сомневаюсь, что славящие меня сегодня с такой же готовностью начнут поносить меня завтра». Они прослушали в «Одеоне» оперу по мотивам «Айвенго», несколько раз обедали в британском посольстве, были приняты во дворце Тюильри королем и его семейством, причем монарх имел со Скоттом беседу, и были обласканы всеми, чья любезность почиталась за честь, включая «стайку русских великих княжон, облаченных в шотландку». На большом приеме, устроенном женой посланника, сэр Вальтер оказался в центре внимания: «Там было полным-полно высокопоставленных дам, и, если б медовыми словесами можно было пресытиться, особенно когда их расточают прелестные губки, я был бы сыт ими по горло. Но взбитых сливок

* Сдержанность, скованность (фр.).

можно, конечно, проглотить сколько угодно без всякого ущерба для здоровья». Однако все это в конце концов ему надоело: «Французы поистине не знают меры любезности — врываются среди дня и ночи и сводят с ума комплиментами». Он стосковался по шотландской едкости: «Я смахиваю на пчелу, которая насо-салась патоки».

В Париже он встречался и беседовал с маршалами Макдональдом и Мармоном, а также другими лицами, служившими Наполеону. Познакомился он и с Джеймсом Фенимором Купером, тогдашним консулом Соединенных Штатов в Лионе. В прошлом Скотту неоднократно советовали вступить с каким-нибудь американским издателем в деловые отношения, тем более что в Штатах его книги пиратским образом печатали и продавали сотнями тысяч. Однажды он ответил на такое предложение: «Я до сих пор не давал этому хода, ибо мне скорее пристало стыдиться того, что я получаю на родине, нежели искать добавочных прибылей в других странах». Теперь Купер посоветовал ему то же самое. Скотт объяснил, что раньше он отклонял все предложения такого рода, поскольку продажа его сочинений на родине, по его словам, «приносила мне ровно столько, сколько требовалось, и значительно больше, чем я заслуживал»; однако недавние потери обязывают его не пренебрегать и малейшей возможностью рассчитаться с кредиторами, а потому он готов передать исключительные права на «Жизнь Наполеона» и все свои будущие сочинения любому американскому издателю, который его об этом попросит. Таким образом, американское издание его книги о Наполеоне было выпущено в Филадельфии фирмой «Кэри», что на Каштановой улице. По иронии судьбы в том же году вышло сочинение Фенимора Купера «Последний из могикиан», популярность которого почти сравнялась с известностью одного из знаменитых романов «автора «Уэверли»: Купер так же всемирно прославил американского индейца, как Скотт — шотландского горца. На литературное поприще вступил и Харрисон Эйнсуорт. Скотт понял, что научил молодое поколение писать романы и теперь ему лучше взяться за что-нибудь другое. «Есть один способ поразить читателя новизной, — размышлял он, — поставить на успех, который принесет всеобщий интерес к хорошо разработанной фабуле. Но — горе мне! — тут нужно все заранее обдумать и взвесить — составить четкий план всей книги или хотя бы главной сюжетной линии и, основное, — следовать этому плану, — на что я никогда не был способен, ибо стоит мне взять в руки перо, как идеи начинают расти и так разбухают по сравнению с первоначальными наметками, что мне (вот тебе, выкуси!) не по силам и браться за такую задачу; а все же — заставить мир онеметь от восторга и снова всех обставить!!! Ну, ладно, кое-чего мы еще добьемся». И Скотт добился, но не в области хорошо разработанной фабулы, которой первым полностью овладел Диккенс, а за ним Уилки Коллинз.

7 ноября Скотт и Анна расстались с Парижем и по дороге заночевали в какой-то гнусной амыенской гостинице, где мокрые поленья никак не хотели разгораться в очаге, где они едва при-ткнулись к отвратительнейшему ужину и где постели отсырели настолько, что Скотт продрог до костей и утром проснулся заку-

танный во влажные простыни, как в саван. В недалеком будущем он расплатился за этот ночлег. Впрочем, поездка в Париж доставила ему удовольствие: было приятно убедиться, что его книги пользуются такой популярностью, он остался доволен приемом, встряхнулся и развеялся. В Лондоне он опять остановился у Локхартов, провел еще кое-какие разыскания в правительственных учреждениях, в последний раз позировал сэру Томасу Лоуренсу, который заканчивал его портрет, и был представлен мадам д'Арбле (Фанни Бёрни). Последняя заявила Скотту, что всю жизнь мечтала познакомиться лишь с двумя людьми — с ним и Джорджем Каннингом. «Столь изысканный комплимент не мог меня не порадовать — изящный маленький кружок нежного масла, сбитого очаровательной и искусной молочницей, вместо жирной колесной мази, какую отмеряют на фунты». Скотт отобедал в Адмиралтействе с Кроукером, Каннингом, Мелвиллом, герцогом Веллингтоном и еще двумя членами кабинета министров: «Угощение подавали роскошное, однако присутствие слишком большого числа титулованных и высокопоставленных особ всегда сковывает застольную беседу. Светильники горят ярче, когда стоят далеко один от другого; поставьте их рядышком — и каждый в отдельности померкнет в сиянии соседних». Скотт встретился также с герцогом Йорком, премьер-министром лордом Ливерпулом, сэром Робертом Пилем и другими величинами, но больше всего помог ему и порадовал его в этот приезд герцог Веллингтон. Герцог засыпал Скотта различными соображениями о русской кампании Наполеона и рассказал ему столько интересного, что сэр Вальтер пожалел о своем упущении: ему следовало бы почаще встречаться с герцогом, когда шла работа над первыми главами. Близкая подруга герцога Харриет Арбетнот предложила Скотту написать историю кампаний Веллингтона, из чего можно заключить, что этого хотел и сам герцог, но не решался попросить Скотта лично. Как всегда, сэр Вальтер быстро устал от поздних приемов, обедов и светских забав: «За одну баранью голову и пуанш из виски я отдам всю французскую стряпню и все шампанское на свете».

Домой они возвращались через Оксфорд, где Чарлз угостил их завтраком в колледже Брейсноуз. «Сколь отратно отцу сидеть за столом у сына! Словно в старости прилег отдохнуть в тени дуба, некогда посаженного своими руками». 25 ноября они были в Абботсфорде, а спустя короткое время — в их эдинбургской квартирке на Пешеходной улице, дом 3: началась сессия, и Скотту полагалось ежедневно присутствовать в суде. В эту зиму он страдал от сильной простуды, от кишечных болей, мучивших его непрерывно на протяжении трех недель, и от приступов ревматизма, которые укладывали его в постель и которыми его, несомненно, наградили сырые простыни в Амьене. Вот когда — и много сильней, чем до этого, — он почувствовал «нехватку преданной заботы с ее тихим голосом и готовностью в любую минуту подойти на цыпочках и поправить подушку, помочь и утешить — ушла — ушла — навеки — навеки — навеки».



Глава 22

Третий бестселлер

1827 год стал вехой в жизни Скотта: он опубликовал свой третий бестселлер. Поэту и романисту наследовал историк, и «Жизнь Наполеона Бонапарта» явилась первым историческим сочинением, раскупавшимся, как популярнейшая беллетристика; оно доказало Маколею, Карлейлю и другим викторианцам, что история может обеспечить автору и положение и деньги, если ее красочно преподнести. «Лучше поверхностная книга, хорошо и наглядно излагающая факты известные и признанные, чем серое и скучное повествование, где сочинитель спотыкается на каждом шагу, пытаясь объять необъятное». С такими мыслями Скотт приступил к работе и по мере сил старался сделать книгу легкочитаемой. Как-то он записал после дневных трудов: «Голова болит — глаза болят — спина болит — как и грудь — уверен, что болит и сердце, — чего еще может требовать Долг?» Во время работы над биографией он ни на минуту не переставал размышлять о своем герое и в первый раз позволил себе пророчество касательно собственной книги:

«Это — первое мое сочинение, в успехе которого я почему-то уверен». От начала и до завершения биографии прошло два года; но в этот период он был занят еще и романами, и рецензированием, и поездками, и работой в суде, не говоря уже о потере состояния и смерти жены, так что на выполнение титанической задачи — совладать с вновь явленным Титаном — у него, по-видимому, ушло не более года. Девятитомная биография вышла в июне 1827-го, и два первых издания принесли кредиторам 18 тысяч фунтов.

Как и следовало ожидать, лучшее в книге — описания кампаний и битв. Основной же ее недостаток объясняется тем, что Скотт недолюбливал главное действующее лицо и дал это почувствовать в главах, которые читаются так же утомительно, как, судя по всему, и писались. Скотт не обладал напряженным, но и непредвзятым интересом истинного биографа к личности своего героя и не мог четко определить своего отношения к Наполеону, которого называл «фигурой, несомненно, великой, хотя человеком далеко не хорошим и уж подавно не лучшим монархом». Но существенной частью величия является добродетель — нельзя считать великим того, кто по натуре бесчестен и равнодушно взирает на зло, что причиняет другим. Однако все эти определения звучат неубедительно, если подходить с ними к историческим личностям бонапартистского склада: ведь эти личности не возникают сами по себе — их творит вселенское помрачение, и они суть отражение вздорности, идеализма, зла, глупости и страстей рода человеческого. Затертые словечки, потребные нам для характеристики человека, — великий, хороший, пророчный, благородный, злобный, добродетельный, преступный и т. п. — теряют смысл в приложении к тем, кого создают особые обстоятельства и стадное чувство и кто поэтому представляет собой уже не личность, а явление. Скотту стоило бы написать о Веллингтоне — тот был индивидуальностью, не иконой. Поступи он так, кредиторы, возможно, выручили бы меньше денег, зато он смог бы вложить в свой труд всего себя, и мы бы получили беспримерное по интересу сочинение.

Во Франции жизнеописание французского императора было, естественно, встречено с неприязнью, а один из наполеоновских генералов даже пришел в бешенство. Просматривая в министерстве по делам колоний различные документы, Скотт обнаружил, что генерал Гурго, состоявший при особе императора на острове Святой Елены, по секрету доносил британскому правительству, что жалобы Наполеона безосновательны, здоровье в полном порядке, денег, какие выделяются на его содержание, вполне хватает и что устроить ему побег очень просто. Подобная информация, понятно, заставляла британские власти пренебречь протестами императора и усилить меры по надзору за ним. В то же самое время, как, впрочем, и позже, Гурго распинаясь перед соотечественниками о том, что тюремщики обходились с императором неоправданно жестоко. Восстанавливая справедливость по отношению к британским должностным лицам, ответственным за содержание Наполеона, Скотт не мог не воспользоваться сообщениями Гурго, хотя был уверен в том, что тот «взбесится и,

пожалуй, задумает мне отомстить, будучи в полном смысле слова длинноусым французским сукиным сыном». Поскольку о книге говорил весь Париж, генералу нужно было как-то спасти свою репутацию; для начала он обозвал Скотта лгуном, а затем пригрозил ему дуэлью. Скотт выразил полную готовность драться и попросил Вильяма Клерка быть его секундантом. Уразумев, что так ему никогда не оправдаться, Гурго опубликовал заявление, в котором объявил Скотта в сговоре с британским правительством, чтобы его, Гурго, опорочить. «Удивляюсь, что он не заявился сюда собственной персоной, чтобы по-мужски доказать свою правоту, — записал Скотт. — Я бы уж не удрал ни от него, ни от любого другого француза из тех, кто вылизывал Бонапарту задницу». Скотт направил в «Эдинбургский еженедельник» большое письмо с изложением всей фактической стороны дела; из письма явствовало, что, приводя документальные свидетельства, Скотт со всей тщательностью избегал страниц, способных еще безнадежнее дискредитировать Гурго, который в своих тайных доносах оклеветал не только императора, но и нескольких человек из наполеоновской свиты. Многие английские газеты и журналы перепечатали текст письма. Гурго ответил памфлетом, где поносил Скотта, правительство Кэстлери и всех прочих, кто имел наглость считать, будто французский воин времен Империи способен навлечь на себя бесчестье. Скотт не стал отвечать. Доказательства были налицо и подкреплены многочисленными свидетелями, чья правдивость в отличие от генеральской чести не нуждалась в подпорках. Французские газеты отказались поместить объяснение Скотта: свобода печати предполагает и свободу не печатать. У Скотта же не было времени на словесную пикировку, и он выбросил это дело из головы.

В этот период он, как всегда, помогал своим друзьям и знакомым удержаться на поверхности и — опять же, как всегда, — председательствовал на обедах, учинявшихся с той или иной филантропической целью. («Мне смешно слышать: «Не больше одного дела за «аз». Всю свою жизнь я за раз занимался доброй их дюжиной».) На одном из этих благотворительных банкетов случилось нечто такое, о чем газеты поспешили раструбить по всему миру. 23 февраля 1827 года Скотт открывал обед членов-жертвователей Фонда помощи театрам. После банкротства Констебла ни для кого не было секретом, что все сочинения «автора «Уэверли» написаны Скоттом, но тут он впервые открыто в этом признался. Перед самым началом обеда лорд Мидоубэнк, которому выпало произносить тост за здоровье председателя, спросил, не станет ли Скотт возражать, если он упомянет про его авторство. «Как вам будет угодно, только не очень ворошите эту древнюю историю», — ответил сэр Вальтер. У него, верно, звенело в ушах от панегирика, который произнес достойный судья, заверивший на прощанье всех присутствующих, что Скотт «снискал, Шотландии нетленную славу уже одним тем, что она его породила». Обедавшие, числом в триста человек, взгромозились на стулья и бурно изъявили свое согласие. Скромно признав себя ответственным за романы целиком и полностью, Скотт поднял бокал за здоровье актера Чарлза Маккея, который доставил ему огромное

наслаждение в роли баллы Никола Джарви. Когда Скотт сел, Маккей воскликнул, подражая голосу и интонациям своего персонажа: «Вот те на! Моему почтенному батюшке-декану и во сне не привиделось бы, что его сынок сподобился эдакого комплимента от самого Великого Инкогнито!» На что Скотт в тон ему отвечивал: «Ныне же малого и всем известного, господина баллы!» Вечер прошел очень весело: председателствуя, Скотт опирался на несколько простых заповедей, которые неизменно помогали ему создать нужную атмосферу. Первая заповедь гласила: «Никогда не позволяй ни себе, ни кому другому морить людей речами, пока скоренько не пустишь бутылку по кругу раз пять или шесть. Легкое опьянение располагает к благодушию и снимает робость, которая мешает людям разговориться, — одним словом, склоняет к тому, чтобы развлекать других и самому развлекаться».

Несмотря на публичное признание, избавиться от крепко укоренившейся привычки к анонимности или псевдонимам было для Скотта не так-то легко: единоборствуя с Наполеоном, он одновременно писал цикл повестей под общим названием «Хроники Кэннонгейта», которые якобы собрал и подготовил к печати некто Кристел Крофтэнгри. Длинное вступление, посвященное упомянутому Крофтэнгри, и три произведения — «Вдова горца», «Два гуртовщика» и «Дочь врача» — были изданы в двух томах в конце 1827 года и встречены довольно прохладно. Они представляют интерес в основном с биографической точки зрения, поскольку раскрывают непосредственное воздействие катастрофы на умонастроение автора. Раньше Скотта занимали характеры, теперь же в первую очередь его интересуют психологические состояния персонажей. «Два гуртовщика» — блестящая новелла, одна из лучших в англоязычных литературах; два других произведения слишком затянуты, но все три примечательны как свидетельство нового психологического подхода к искусству прозы. Видимо, «Хроники Кэннонгейта» нравились Скотту; когда Баллантайн критически отозвался о «Двух гуртовщиках», он ответил: «Вообще-то я не очень упрям, но в этом случае хочу проявить упрямство». А в «Дневнике» появилась решительная запись: «Мои «Гуртовщики» не понравились Джеймсу Баллантайну. Но они пойдут в печать. Пусть иногда будет по-моему!» Любопытно, что эту историю Скотту в свое время рассказал Джордж Констебл, прототип Монкбарнса из «Антиквария», научивший мальчика понимать Шекспира.

Для всякого другого человека повседневная жизнь, которой жил Скотт в 1827 году, была бы перенасыщенной событиями; для Скотта же это был спокойный год, главными вехами которого стали: письмо от Гёте (тот неизменно откладывал все дела, стоило прийти новому роману «автора «Уэверли»»), поездка в Дарем для встречи с великим Веллингтоном, вспышка воспоминаний о чувствах юности после встречи с матерью Вильямина и смерть кота, о котором он в последний раз написал Чарлзу в апреле. Хинце, как звали кота, многие годы держал его псов в узде, прибегая к ряду уловок. Одна из них заключалась в том, что кот прыгал на стул и, когда псы следом за хозяином

гуськом выбегали из комнаты, давал им, если удавалось дотнаться, крепкого шлепка лапой. В большинстве своем собаки относились к коту с должным почтением, но юный Нимрод, воспользовавшись преклонным возрастом Хинце, рассчитался за всю свою породу и предал смерти «друга пятнадцати лет жизни» Скотта. Для последнего, как он заявил, это было невосполнимой потерей, не меньшей, чем смерть кошки для Робинзона Крузо, и Скотту хотелось сказать псу те же слова, какие один знаменитый француз сказал другому, убившему на дуэли его друга: *«Ah, mon grand ami, vous avez tué mon autre grand ami»**.

Осенью 1827 года все указывало на то, что в ближайшем будущем герцог Веллингтон станет премьер-министром. Во время своей поездки по северным графствам Англии герцог был гостем лорда и леди Рэйвенсворт, проживавших близ Дарема, и Скотт, которого попросили участвовать в приеме герцога, 2 октября отбыл в их замок. Епископ Даремский устроил в зале старого замка роскошный обед. Скотт встретился с несколькими друзьями юных лет и «не без труда связал имена — с лицами, а лица — с именами». Епископ Даремский поднял бокал за его здоровье, а будущий епископ Экстерский сказал, что поэта чествовали так же, как и военачальника. Потратив следующий день на буйное застолье в Сандерленде, а третий — снова в Рэйвенсворте, где он «веселился сам и веселил других», Скотт на субботу и воскресенье отправился в Алник к герцогу Нортумберлендскому. Как и следовало ожидать, домой он возвратился с сильным расстройством желудка.

Однако свои преходящие недуги и дурное расположение Скотт обычно скрывал от домашних и окружающих. «В кругу семьи я делаю вид, что пребываю в хорошем настроении, даже тогда, когда это далеко от истины. Слишком жестоко омрачать другим их невинную радость, выказывая признаки беспричинной хандры. Такая сдержанность служит, подобно добродетели, сама себе наградой, ибо хорошее настроение, если его долго изображать, в конце концов становится настоящим». Вторую половину дня в Абботсфорде он спокойно, а то и, напротив, весьма энергично проводил в компании Тома Парди или какого-нибудь гостя. Либо он несколько часов кряду рубил деревья, либо помогал приводить в порядок поместье, либо руководил реставрацией каскада в долине Охотничьего Ручья. «Тоже мне каскад! Не при дамах будь сказано, но водопад, что я пускаю из собственной персоны, и то внушительней!» — отметил он в «Дневнике», куда внес и такую исповедальную запись: «Два или три последних дня у меня что-то пошаливают нервы — я прихожу в сильное возбуждение по самому ничтожному поводу; красота сумерек, дуновение летнего ветерка вызывают у меня слезы благоговения. Следует больше гулять и укрепиться духом — бессмысленно давать волю таким чувствам. Мы живем по другим законам». Для верховых прогулок у него теперь был весьма вялый пони по кличке Почтеннейший Дэви, ленивая рысца которого не заставля-

* «Ах, мой любезный друг, вы прикончили моего другого любезного друга» (фр.).

ла всадника поминутно вспоминать о своем ревматизме. Скотт ездил на Дэви до тех пор, пока однажды, перебираясь через мелкий ручей, не позволил ему остановиться и попить. То ли со скуки, то ли, наоборот, разрезвившись, Почтеннейший Дэви взял да и улегся посредине потока. Скотт, которому Том Парди помог выбраться из ручья, прочитал неблагодарной твари нотацию: «До сего дня ты, несомненно, был мне верным слугою, и даже сейчас я не прокляну тебя на муки вечные; но пусть на тебя отныне садится, кто хочет, — я больше не сяду. Так что ступай домой и моли судьбу, чтобы тебе достался лучший хозяин».

Ревматизм не позволял Скотту участвовать в требующих физического напряжения прогулках и забавах, которые он некогда любил. Он отметил день, когда ему в первый раз пришлось сознательно, хотя и неохотно, примириться с этим лишением, — во время очередной встречи члецов клуба Блэр-Эдама. Их было человек девять-десять, и каждое лето, с 1816 года до смерти Скотта, они собирались в Кинроссе у верховного уполномоченного Вильяма Эдама. Встреча длилась с пятницы до вторника, причем два дня уделялось осмотру близлежащих памятников старины. Описание местности вокруг озера Лох-Ливен в романе «Аббат» своим происхождением обязано подобным экскурсиям. В июне 1827 года компания побывала в замке Сент-Эндрюс, и, когда все полезли на башню Сент-Рул, Скотт решил остаться внизу: «Я сел на чье-то надгробие и обратился мыслями к моему первому посещению Сент-Эндрюса — тридцать четыре года тому назад. Как изменились с тех пор и мои чувства, и моя судьба — порой к лучшему, но больше к худшему. Я вспомнил имя, что вырезал тогда на дерне у замковых ворот, и спросил себя, почему оно все еще заставляет мое сердце лихорадочно биться».

По воле обстоятельств этому имени, вырезанному на дерне столько лет тому назад, предстояло ожить в его мыслях и чувствах осенью 1827 года. Он получил дружеское письмо от леди Джейн Стюарт — матери Вильямина, предмета его юношеской и самой глубокой любви; сама Вильямина вот уже много лет как покоилась на кладбище. Скотт решил навестить леди Джейн в ноябре, когда будет в Эдинбурге. Он попросил Кейделла подыскать ему приличное жилье, от которого требовалось только наличие ватерклозета и отсутствие клопов. Кейделл договорился об аренде дома № 6 по Шэндвик Плейс, где в свое время проживала миссис Джобсон, мать снохи Скотта. Дом был снят на четыре месяца за 100 фунтов и так понравился Скотту, что впредь он останавливался там каждый раз, когда дела Высшего суда призывали его в столицу Шотландии.

Скотт навестил мать Вильямина. В результате и он и она принялись лить слезы. Он пошел к ней снова и, «вспоминая минувшее, размяк, как старый дурень, и оказался пригоден лишь на то, чтобы рыдать да повторять стихи всю ночь напролет. Грустное это занятие. Земля отдает своих мертвых, и само время возвращается вспять на тридцать лет, чтобы окончательно сбить меня с толку. Ну и ладно. Я начинаю слишком ожесточаться; как у загнанного оленя, мой нрав, от природы кроткий, становится лютым и опасным. И все же — какую романтическую повесть можно об

этом поведать, и, боюсь, она когда-нибудь будет поведена. Вот когда начнут составлять хронику трех лет моих сладких грез и двух лет пробуждения. Но мертвым не больно». Он еще раз дал старой даме возможность поупиваться печалью: «В полдень отправился к несчастной леди Д. С. поговорить о былом. Не уверен, что ворошить прошлые горести — дело хорошее или полезное, но, видимо, это позволяет выговориться ее потаенному горю, то есть служит духовным кровопусканием. Для меня же теперь то, что было, — отрешенное и святое воспоминание: забыть — не забудешь, но память об этом едва ли вызовет боль».

К счастью, Скотт был слишком погружен в иные заботы, чтобы лелеять мрачные мысли о былом несчастье. Успех его книги о Наполеоне породил в каждом семействе, имевшем основания похвалиться в своей родословной великим именем, острое желание, чтобы Скотт это имя увековечил своим пером. Ему приходилось отклонять одно за другим предложения составить жизнеописание самых различных деятелей, от лорда Кэстлери до Дэвида Гаррика. Он вполне допускал, что его литературная слава закатится так же быстро, как в свое время взошла, но это его не беспокоило. «Я по натуре настолько равнодушен к мирской хвале или хуле, что, ни разу не позволив себе предаться самодовольству, которое мой великий успех был призван во мне породить, я способен встретить это (утрату популярности. — *Х. П.*) не моргнув глазом... Им не забыть, что я *носил корону*». Все это он поведал «Дневнику» в тот момент, когда его славу историка предстояло упрочить другому сочинению, которое не только разошлось лучше любого из его последних романов, но и было встречено публикой с восторгом, какой не выпадал на долю ни одной книги Скотта после «Айвенго». В декабре 1827 года появился первый выпуск «Рассказов дедушки».

Эти «Рассказы», снискавшие такую широкую популярность, что второй их выпуск увидел свет в 1828-м, третий — в 1829-м, а четвертый, посвященный истории Франции, — в 1830 году, Скотт писал для развлечения и просвещения своего маленького внука Джонни Локхарта, чье слабое здоровье постоянно внушало родителям и деду самые серьезные опасения. Летом 1827 года Локхарты жили в Портобелло; Скотт навещал их через день, обедал с семьей и гулял с Джонни по берегу; пребывание на свежем воздухе вроде бы шло мальчику на пользу. Когда закончилась очередная судебная сессия, все семейство перебралось в Абботсфорд, где Джонни, страдавший от болей в позвоночнике, смог ездить верхом на пони. Дедушка ежедневно выезжал с ним в лес на прогулку. Тогда-то он и рассказывал внуку про историю Шотландии. Скотту было интересно, много ли из рассказанного мальчик сможет усвоить. Прежде чем приступить к этому опыту, он записал: «Я убежден, что дети, как и самые малообразованные слои читателей, ненавидят книги, в которых автор *снисходит* до их уровня». И еще: «Ошибка — считать, что, когда пишешь для ребенка, нужно обязательно лепетать по-детски». Этой ошибки он избежал, и в результате взрослые дети до сих пор предпочитают его «Рассказы» любому более научнообразному изложению истории Шотландии; образчиком последнего может служить статья

самого Скотта, написанная для энциклопедии в период работы над «Рассказами». Малыш, которому мы обязаны этим самым увлекательным из всех исторических курсов и которому Скотт посвятил свое сочинение, объявил деду, что ему понравилось все, кроме главы о цивилизации, а эта глава совсем-совсем не понравилась. Скотту «Рассказы» тоже нравились: «Пусть хоть весь свет об этом узнает, но я о них высокого мнения. Больше того, в области истории я готов потягаться с кем угодно». Об успехе «Рассказов» он узнал незадолго перед тем, как получить известие, что первое издание жизнеописания Наполеона почти распродано; вместе взятые, обе новости расстроили ему пищеварение: «Не могу понять загадочной связи между тем, что я чувствую, и тем, как ведет себя мой желудок, но все, что меня возбуждает, вызывает разлитие желчи, и мне становится худо». Живи он в наши дни, врачи прочитали бы ему мрачную лекцию о состоянии его двенадцатиперстной кишки. Между тем широкий успех «Рассказов», казалось бы, должен был сказаться на состоянии его здоровья исключительно благотворно: опекуны в восхищении от полученных дивидендов разрешили ему оставить всю прибыль «на текущие расходы».

Записи в «Дневнике» за 1827 год кончаются на оптимистической ноте: Скотт не только утвердил свой успех историка, но за двенадцать месяцев принес кредиторам около 40 тысяч фунтов, так что опекуны согласились приобрести авторские права на его романы. Права были проданы в пользу кредиторов Констебла, причём половину суммы обязался уплатить сам Скотт, за которым сохранилась половина авторских прав, а другую половину — 8500 фунтов — уплатил Кейделл. Это означало, что наконец можно было приступить к выполнению грандиозного проекта Констебла — к перепечатке в иллюстрированном библиотечном издании всех романов и поэтических сочинений Скотта с приложением автобиографических предисловий и исторических примечаний, написанных самим автором. Констебл умер в июле 1827 года, так что вся прибыль от его замысла пошла в карман Кейделлу и кредиторам «Джеймса Баллантайна и К^о»; с Искусником, таким образом, обошлись довольно сурово, но выхода не было; его бывший компаньон оказался еще искусней. Скотт же начал ощущать последствия своих невероятных трудов и на исходе года писал Морриту: «Мы — паломники на жизненном пути, и вечер, по необходимости, — самый мрачный и тягостный его отрезок; но пока цель ясна, а воля тверда, этот путь нам по силам, и, с Божьей помощью, мы в положенное время придем к его концу, — возможно, с натруженным сердцем и натруженными ногами, но не утратив ни мужества, ни чести».



Глава 23

Opus Magnum*

Те, кто приятельствовал со Скоттом, как, впрочем, и те, кто знал его только по романам уэверлевского цикла, были удивлены, услышав в самом начале 1828 года о том, что будут напечатаны две его проповеди. Читатели просто не могли представить его в роли проповедника. Приезжавшие к нему в Абботсфорд знали, конечно, о том, что утром по воскресеньям он читает перед домашними и гостями англиканскую службу, но знали они и другое: к священникам как таковым он не питал никакого почтения и многих из них считал самыми обычными мошенниками. Тем не менее его привязанность к Джорджу Томсону оставалась неизменной, и в 1828 году он все еще упорно пытался раздобыть приход для учителя своих детей. Был и другой молодой священник, в ком Скотт принимал участие и который, подобно Томсону, был отчасти непригоден на должность главы приходской церкви. Джордж Хантли Гордон, дипло-

* Великий труд (лат.).

мированный священнослужитель из пресвитерианцев, отличался столь полной глухотой, что не решался взять на себя ответственность за приход. Скотт познакомился с ним, полюбил его и проникся к нему сочувствием; когда же Джон Баллантайн не смог переписывать для издателя рукописи уэверлеевских романов, эта работа перешла к Гордону. Важные гости Абботсфорда удивленно взирали на то, как хозяин, усевшись рядом с молодым пастором, повторяет тому в слуховую трубу наиболее интересные из застольных разговоров. Между прочим, Скотт не имел привычки восседать в кресле во главе стола, но по образцу Макбета, играя роль почтительного хозяина, любил затеряться среди присутствующих и усесться где заблагорассудится.

Когда в 1824 году Гордон жил в Абботсфорде, где был занят перепиской «Редгонглета», он узнал, что ему, возможно, пожалуют приход, и сильно расстроился: надо было написать пару проповедей, чтобы прочесть их перед Эбердинской пресвитерией*, а он опасался, что не справится с этим. Скотт тут же взялся написать проповеди за него. Однако совесть не позволила Гордону выдать их за собственное сочинение, так что их никто не услышал. Позже финансовые трудности заставили Скотта отказаться от услуг переписчиков, и он употребил свое влияние, чтобы устроить Гордона на государственную службу. Гордон же тем временем задолжал 180 фунтов и, чтобы расплатиться, надумал опубликовать все еще находившиеся у него Скоттовы проповеди. Скотт куда охотнее выложил бы эту сумму из собственного кармана, но не позволяли возможности, и он согласился. Издатель Колберн дал за проповеди 250 фунтов, у Скотта же остался на душе неприятный осадок: «Этот субъект — надутый шарлатан. И все-таки, хоть и жаль, что моя писанина попала именно к нему, а того более жаль, что она вообще к кому-то попала. Ну, да черт с ним! В конце-то концов, если это поможет несчастному малому, стоит ли так переживать? Невелика заслуга творить добро, когда это обходится без неудобств и огорчений».

Другим огорчением стали для Скотта мелочные придирки, с какими Джеймс Баллантайн обрушился на его новый роман, очередную «Хронику Кэннонгейта», — Скотт трудился над ней в первые месяцы 1828 года. Согласись он с Джеймсом, что не следует убивать одно из действующих лиц в самом начале романа, жаловался Скотт, ему пришлось бы выбросить добрую половину книги; чем пойти на такое, он уж лучше порешит всех остальных персонажей, а заодно и автора с печатником. «Я, как всегда, дорожу твоей критикой; хуже всего, однако, то, что самому мне мои промахи видней, чем тебе, — писал он Баллантайну. — Скажи юной красотке, что она носит платье, которое ей не идет, или вульгарные украшения, или говорит слишком громко, или допускает иную оплошность, которую легко исправить, — она и исправит, если не дура и полагается на твой вкус. Но заяви переспелой красотке, что она начинает сесть, что морщин ей уже не скрыть, что она грузно ступает и что в бальной зале ей нечего

* Пресвитерия — собрание пресвитеров — священников, управляющих церковной общиной.

делать, разве что торчать где-нибудь в уголке вместо вечнозеленого деревца, — и ты повергнешь старую даму в отчаяние, не оказав ей никакой услуги. Она-то знает про все это лучше тебя. Поверь, старая дама, о которой у нас идет речь, не забывает следить за своим туалетом и еще причинит тебе, ее верному *suivante**, достаточно хлопот». Постоянное напряжение, в каком его держала работа, вызвало у Скотта своеобразную галлюцинацию, многим знакомую по собственному опыту, хотя, вероятно, и вызываемую в каждом случае своими причинами. 16 февраля Скотт присутствовал на обеде: «Меня охватило тревожное чувство — я бы назвал его чувством предсуществования; иными словами, мне показалось, что все происходящее случается не в первый раз, что мы уже обсуждали те же самые предметы и те же самые люди точно так же об этих предметах высказывались... Все, что я говорил и делал, было словно во сне — мерзкое ощущение... Думаю, тут сыграло роль дурное пищеварение...»

Роман, так не понравившийся печатнику, был завершён в конце марта 1828 года и вскоре опубликован. Скотт озаглавил его «Пертская красавица». Образ Конахара показывает, что различные психологические состояния человека продолжали живо интересоваться автора; сам он, однако, возвращался к свойственному ему душевному равновесию, о чем недвусмысленно говорят другие персонажи книги, обрисованные в обычной для Скотта манере и достаточно правдоподобно, чтобы сделать произведение достаточно занимательным. Это лучший роман из всех, написанных после «Редгонтлета»: при всем своем многословии он отличается вполне добротной фабулой, и, когда бы не сама «Красавица», в которой нет ничего ни от обитателей Перта, ни вообще от существа из плоти и крови, книга могла стать в один ряд с «Гаем Мэннерингом» и «Кенилвортом», чуть-чуть не дотягивающими до шедевра.

Едва закончив роман, Скотт повез Анну в Лондон, где у него было много дел, в том числе — потопить парламентский законопроект о строительстве новой дороги, которая грозила нарушить единенность и испоганить красоты Абботсфорда и соседней деревеньки Дарник. В этом, как и в ходатайстве о том, чтобы сыновей его друга зачислили кандидатами в офицеры, а также в других своих благотворительных хлопотах он полностью преуспел. Он еще не знал, что это его последняя приятная поездка в Лондон, но все равно наслаждался ею как мог. Они остановились у Локхартов, которые обитали теперь по новому адресу — Риджентс Парк, Сассекс Плейс, дом 24, где жил его сын Чарлз; часто виделся Скотт и с Вальтером, чей полк квартировал в Хэмптон-Корте. По пути Скотт и Анна заночевали в Карлайле. Он повел Анну в собор, заявив, что хочет еще раз побывать там, где венчался с ее матерью. «Ты жил и любил — а это многое значит», — вздохнул он. В замке Кенилворт он с удовольствием отметил, что после выхода его романа развалины взяты под бережную охрану. Они пообедали в замке Варвик, «по-прежнему благороднейшей английской твердыне», переночевали в Стратфор-

* Поклонник, воздыхатель (*фр.*).

де-на-Эйвоне и утром «побывали на могиле великого Чародея. Надгробие — в дурном вкусе Иакова I, но каким волшебством проникнуто все окрест! Гордо высятся памятники позабытых семейств, однако, взглянув на могилу Шекспира, на прочее не обращаешь внимания... Все здесь принадлежит Шекспиру — и только ему». Путешественники осмотрели и Чарлкот*; обитавший там джентльмен из рода Льюси угостил их завтраком, показал дом и объяснил, что парк, в котором, Шекспир некогда подстрелил оленя, принадлежит к поместью за несколько миль от этих мест, где проживал тогда сэр Томас Льюси.

Едва ли не первой новостью, какой их встретил Лондон, было известие о банкротстве Дэниела Терри; Скотт не пожалел сил и времени, чтобы помочь актеру и его семье. Джонни Локхарт опять тяжело занемог, и Софье пришлось везти мальчика в Брайтон как раз тогда, когда приехали гости из Абботсфорда. Компания старых друзей сэра Вальтера изрядно поредела, но он, как всегда, бывал в обществе, обедал с политиками, адвокатами, пэрами, прелатами, богачами и остроусловами и ненароком подслушал фразу герцога Веллингтона о том, что даже отборнейшие войска способны время от времени улепетьваться, однако это ровным счетом ничего не значит, коль скоро они потом возвращаются на свои позиции. На обеде в Королевской академии «комплименты сыпались, словно конфетти в разгар итальянского карнавала». На другом обеде Колридж угостил собравшихся импровизированной лекцией. Поглотив больше кушаний и напитков, чем это кому-нибудь удавалось на памяти Скотта, Колридж начал свою речь с сыра и сорок пять минут без передышки ораторствовал о самофракийских таинствах, хотя никто из присутствующих этой темы даже не затрагивал. Фенимор Купер, который там был, описывает, что на протяжении всего представления Скотт являл собой статую, его маленькие серые глазки глядели то отсутствующие, то с интересом, и он время от времени бормотал про себя: «Чудесно!», или «Красноречиво!», или «Весьма удивительно!» Он еще не бывал «так оглушен словесами» и с облегчением поднялся из-за стола, чтобы проследовать в гостиную, где, заявил он Куперу, напрямик шагнул в путаницу юбок и позволил их обладательницам вдоволь наиграться с его «львиной гривой».

Будучи в Лондоне, он был очарован пением миссис Аркрайт, которая сама придумывала декорации для своих выступлений: «Пение этой дамы доставило мне все наслаждение, какое я вообще способен извлечь из музыки». На один из званых приемов он взял с собой Локхарта. Она исполнила песню, пришедшуюся ему особенно по душе, и он шепнул зятю: «Дивные строки! — но чьи? Похоже, Байрона, но я их что-то не помню». Локхарт ответил, что это собственные стихи Скотта из «Пирата». Скотт заметил, что кое-кто улыбнулся, и ему стало стыдно, как бы его не заподозрили в жеманстве чистой воды, — в глазах окружающих это могло выглядеть именно так. «Вы меня огорчили, — признался он

* Чарлкот — особняк и поместье сэра Томаса Льюси, где, Шекспир, по преданию, был пойман на браконьерстве.

Локхарту. — Если память начнет меня подводить — кончено мое дело: я всегда так на нее полагаюсь».

Скотт повидался с Джоанной Бейли и позавтракал с ней в Хэмпстеде; позировал Бенджамину Хейдону и Джеймсу Норткоту, которые писали с него портреты; присутствовал на приеме, что дал у себя в саду герцог Девонширский; провел ночь под кровом Холланд-хауса и пришел в восторг от усадьбы. Проснувшись поутру, он не мог поверить, что до Лондона — рукой подать: такой здесь царил глубокий дух уединенности. Он гулял в обществе Сэмюела Роджерса по зеленой дорожке, обсаженной высокими деревьями, и слушал птичье пение. Жить тут и дышать здешним воздухом само по себе было уже наслаждение. «Какая жалость, что этот старинный особняк пойдет на слом и на его месте понастроят кирпичных домов». На одном из многочисленных приемов, вспоминает Скотт, «юная леди попросила у меня локон, в чем не имело смысла ей отказывать. Я выговорил для себя поцелуй, каковой мне позволено было запечатлеть». Он был достаточно далек от всего этого, так что «взбитые сливки лондонского общества», как он их называл, его даже слегка забавляли.

И еще две встречи заслуживают упоминания. «Отобедал с Его Величеством в очень тесном кругу — всего было человек пять или шесть. Меня, как обычно, приняли отменно любезно. Более дружеского обращения, чем я встречаю к себе со стороны Его Величества, невозможно представить». Скотт беседовал с сэром Вильямом Найтом, врачом и личным секретарем Георга IV, о собрании своих сочинений, которое он именовал *Opus Magnum*, и сказал, что хотел бы посвятить его королю. Найт ответил, что это посвящение «будет принято весьма благосклонно», как оно и оказалось в свое время. На обеде у герцогини Кентской Скотт был представлен будущей королеве — «маленькой принцессе Виктории, — надеюсь, ей дадут какое-нибудь другое имя... Она белокура, как все в Королевской семье, однако не обещает вырасти красавицей».

Во время этой великосветской карусели Скотт урывал каждую свободную минуту, чтобы побыть с родными. Ради Софьи и Джонни он съездил в Брайтон, воспользовавшись легкой упряжкой, которая доставила его туда за шесть часов. С последнего его приезда сюда в 1815 году курорт, как ему показалось, вдвое разросся. «Город бездельников и инвалидов — Ярмарка Тщеславия, где дудят волынщики, пляшут медведи и правит бал мистер Панч*». Из Брайтона он уехал с тяжелым сердцем: состояние Джонни не оставляло надежд. Скотт дважды навещал Вальтера в Хэмптон-Корте, и тамошний дворец теперь понравился ему больше, чем лет за двадцать до этого. Во второй раз их с Анной сопровождали Вордсворт, Сэмюел Роджерс и Том Мур, а также дочь и жена Вордсворта, и день прошел очень приятно. Перед отъездом из Лондона Скотт нанес визит герцогу Веллингтону на Даунинг-стрит — герцог стал премьер-министром, — «чтобы

* Панч — комический персонаж английского театра кукол; соответствует русскому Петрушке.

дать Локхарту нужную зацепочку в нужном месте», предоставив тому самому извлекать все возможное из этого преимущества: «Я лишь могу подставить ему мяч; теперь пусть сам берет в руки клюшку для гольфа и бьет по нему». Как, однако, ни стремился сам Локхарт стать фигурой на политическом поле, но из-за неуверенности в собственных силах он принял неверную стойку, неточно прицелился, не рассчитал удара, а потому загнать подставленный тестем мяч прямехонько в ворота ему так и не удалось.

Пустившись в обратный путь в конце мая, Скотты провели двое суток у Моррита в Рокби и 2 июня добрались до Абботсфорда, где их встретили добрые и такие знакомые лица слуг и радостный собачий лай.

Те, кто всю жизнь экономит время, никогда не знают, куда это время деть. Скотт был человеком иного склада. Один из самых занятых людей на свете, он всегда находил время для досуга. «Порой меня хвалят за немалые мои труды; но если б я мог с пользою употребить часы, украденные у меня ленью и праздностью, тут и в самом деле было бы чему подивиться». Дома он нередко предавался безделью, когда его поджимало время, а на службе давал себе отдых, обращаясь мыслью к вещам посторонним: «Я не могу понудить себя думать только об одном — моим мыслям требуется бежать по двум разным колеям, иначе я не наведу порядка в этом одном». Он, как, впрочем, и его псы, с неизменным облегчением встречал минуту, когда можно было отложить перо в сторону: «Итак, на часах — полдень, за плечами — четыре часа работы, и я, думаю, позволю себе побаловаться прогулкой. Псы видят, что я готов захопнуть крышку бюро, и дают почувствовать свою радость, ласкаясь и повизгивая». Работа окончена — и можно было лицезреть, как эта внушительная фигура, припадающая на правую ногу и облаченная в синий берет, зеленую охотничью куртку, серые плисовые панталоны, гороховый жилет, гетры и массивные башмаки, бродит под деревьями, опершись на руку Тома Парди. Время от времени Скотт останавливается, чтобы полюбоваться видом, или обсудить с Томом что-нибудь из области флоры, или сказать ласковое слово собакам, но при этом ни на миг не перестает обдумывать очередную главу или размышлять о будущем своих детей, о том, удастся или нет рассчитаться с долгами, продав *Opus Magnum*, о политическом положении, о неизвестности, подстерегающей смертного за гробом. Осенью 1828 года он работал одновременно над новым романом, комментариями и предисловиями к томам собрания сочинений, серией рассказов из истории Шотландии и двумя большими статьями для «Квартального обозрения». С другой стороны, с июля 1828-го до января 1829 года он не вел «Дневника» — то ли потому, что на какой-то срок ему опротивело заносить на его страницы «бесконечный ворох пустяков», то ли оттого, что сам с большим трудом разбирал собственный почерк. Когда Баллантайн попросил его перечитывать рукописи, прежде чем отправлять их в типографию, Скотт взмолился: «Я бы отдал 1000 фунтов, будь у меня такие деньги, но мне проще написать, чем прочесть».

Обычно он бывал в высшей степени обязательным корреспон-

дентом и неукоснительно отвечал на письма, однако в 1828 году стал временами проявлять к этому полное безразличие, и даже перспектива получить подарок от Гёте не заставила его восторгнуться. Молодой человек по имени Томас Карлейль сообщил ему, что великий поэт Германии посылает в дар сэру Вальтеру Скотту две медали со своим или по крайней мере похожим на свое изображение. «Понятно, — писал Карлейль Скотту, — сколь льстит моему тщеславию и любви к чудесному мысль о том, что посредством чужестранца, коего я и в глаза не видел, я вскорости смогу удостоиться чести быть допущенным к моему повелителю-соотечественнику, которого я так часто лицезрел на людях, каждый раз мечтая о праве встречаться и общаться с ним накоротке». Повелитель-соотечественник не польстил, однако, его любви к чудесному, оставив без ответа два письма Томаса, и тот в конце концов попросил Джеффри передать Скотту медали. Это было непохоже на Скотта, отличавшегося исключительной любезностью и доброжелательностью, особенно к молодым людям. Видно, от ревматизма порой не только костенеют суставы, но и черствеет сердце.

На исходе того же года Скотта встревожило нечто куда более серьезное, чем его собственные недуги. Узнав, что у сына Вальтера открылся кашель, он умоляет его поехать для поправки здоровья на юг Франции: «Что проку от моей борьбы, когда она не пойдет во благо моим детям, и если ты, упаси Господь, вконец подорвешь свое здоровье, я со всей решимостью заявляю: пусть их забирают и Абботсфорд, и все остальное, ибо я не захочу и не буду гнуть спину, чтобы сохранить его для семьи, хотя сейчас отдаюсь этим трудам с радостью и удовольствием». Напомнив Вальтеру о том, что их всегда связывала дружба более крепкая, нежели обычные отношения между отцом и сыном, Скотт присовокупляет: «Молю тебя, со всем тщанием исполняй предписания врачей, а когда тебя начнут одолевать соблазны, вспомни о своем старом отце, которому ты, им поддавшись, разобьешь сердце». Молодой человек, дослужившийся к тому времени до майора, внял этим советам и довольно скоро поправился.

От случая к случаю Скотт позволял политическим страстям впутываться в столь серьезное дело, как личное существование, но даже Хэзлитт, кардинально расхоронившийся с ним по политическим вопросам, со всей объективностью признавал, что в своих романах Скотт выступал как истинный художник, что его разум был свободен от сектантского фанатизма и предубеждений и что своему читателю он стремился передать терпимое отношение ко всем столь несхожим проявлениям человеческой натуры. «Его сочинения (в совокупности) — чуть ли не переиздание всей человеческой природы», — говорил Хэзлитт, считавший, что Скотт, подобно Шекспиру, «перерос даже собственную славу». Если же сэра Вальтер и принимал участие в политических схватках, то исключительно по одной из двух причин: либо когда что-то грозило свободе его родины, либо когда государство оказывалось перед лицом серьезной опасности, как то было в связи с вопросом об эмансипации католического мень-

шинства*; в этом последнем случае Скотт оказался в одной упряжке с вигами — это было для него нежелательно и мало-приятно, однако

Стоять же пред готовым рухнуть зданием —
Не мужество, а просто безрассудство**,

а Скотт понимал, что битва за эмансипацию в общественном мнении страны уже выиграна до начала парламентских дебатов. Спасти нацию, верил он, может только герцог Веллингтон, и, когда стало ясно, что премьер-министр и сэр Роберт Пиль намерены удовлетворить требования католиков, Скотт посоветовал Локхарту попридержаться Саути на страницах «Квартального обозрения», поскольку Саути до остервенения ненавидел католицизм, а время требовало умеренности. «Вы решили, что должны в этом деле дать Саути свободу действий, не то он уйдет из «Обозрения». Да где ж это видано, чтобы лоцман приказывал: нужно поставить к штурвалу такого-то пассажира, иначе он сойдет с корабля. Ну и пусть себе сходит к чертовой бабушке!» К вящему беспокойству своих друзей-тори Скотт даже появился на митинге и внес проект резолюции в поддержку католиков, а когда в парламенте зачитывали текст Единбургской прокатолической петиции, его имя приветствовали шумными возгласами одобрения.

Однако, насколько это было возможно, Скотт держался от политики подальше; в 1828 и 1829 годах у него и так хватало забот и хлопот. Здоровье его ухудшалось. К ревматизму добавились ознобыши — младенческое заболевание, за которым, предполагал Скотт, должны последовать и другие детские недуги вроде кори или ветрянки: «Единственная надежда — вдруг заново прорежутся зубы». Затем постепенно стало слабеть зрение и появились неприятные ощущения после приема крепких напитков: «Сегодня у меня отобедал мой поверенный — осушили бутыль шампанского и две бутылки кларету — по старым временам, я бы сказал, весьма скудное возлияние для трех персон: с нами был Локхарт. Но я почувствовал, что перепил, и мне было нехорошо». В начале мая 1829 года произошло кое-что похуже, о чем он не преминул написать сыну Вальтеру: «За последние три дня я выдал (букву «д» можешь заменить на две «с») довольно много крови... Я не собираюсь, ежели это в моих силах, умирать раньше положенного по этой причине, но когда из человека вместо водички льется кровь, невольно подумаешь о том, что тут недолго и в ящик сыграть». К этому неприятному симптому прибавились головные боли, и ему прописали банки. Эту последнюю измышленную медиками пытку он перенес спокойно, а поскольку банки хорошо помогли, он и не догадался, что недомогание было предвестием апоплексического удара.

* В эти годы общественность Англии боролась за отмену дискриминационных законов против католиков; законы эти были приняты после разгрома движения якобитов.

** Шекспир В. Кориолан, акт III. Перевод Ю. Корнеева.

Один к другому, все эти недуги сделали его раздражительным по мелочам: «Анна снова превысила расходы на хозяйство. Спорить с ней бесполезно. Она каждый раз клянется исправиться, полагая, как я надеюсь, сдержать свое слово, но это ей никогда не удастся. Нужно ее все-таки приучить экономить». И через пять дней: «После всех ее разглагольствований о том, как плохо залезать в долги, никак не скажешь, что Анна обходится со мной по-доброму или по-честному. За ней нужен глаз да глаз». Джеймс Баллантайн также действовал ему на нервы. Прежде всего печатнику не понравился его новый роман «Анна Гейерштейн», действие которого частично происходит в Швейцарии, где автор, как справедливо указывал Джеймс, не бывал ни разу в жизни. Скотт возражал, что бывал в Горной Шотландии и видел швейцарский ландшафт на картинах: «Я ему прямо сказал, что, по моему мнению, он превращается в геолога, — иначе с чего бы ему переживать, что я могу исказить *формацию* того швейцарского утеса, на вершине которого должна появиться моя Дева Тумана?» Скотт понимал, что его творческие силы слабеют, и критические замечания Баллантайна отнюдь не поощряли его к усердию, но он «долбил и долбил», уповая на лучшее. Когда книга близилась к завершению, Баллантайн предал ее анафеме, а когда Скотт кончил рукопись и поставил точку, он сам возненавидел ее, однако вкусы публики он ни в грош не ставил и знал, что та не заметит слабостей романа: «Они меряют достоинства и недостатки на фунты. Заработай себе хорошее имя — и можешь писать любую чушь. Заработай дурное — и, будь ты вторым Гомером, твои писания никому не придутся по вкусу». 29 апреля 1829 года он завершил роман и сразу же уселся за статью по истории Шотландии, обещанную для энциклопедии. Первые абзацы статьи показались ему никудышными — «но когда я оставался доволен собой, даже если другие бывали мною довольны?»

«Анна Гейерштейн» была напечатана в мае 1829 года и завоевала в Англии популярность. Роман открывается описанием швейцарского пейзажа, которое, вероятно, и подвигло Карла Бедекера на издание путеводителей, а сюжет как таковой съеден сугубо историческим материалом. Из тех людей, кого житейский опыт не превращает в циников, большинство сохраняет, взрослея, кое-какие из своих подростковых пристрастий, и юношеская любовь Скотта к ведьмам, магам, демонам и призракам осталась с ним до конца: одним из последних его сочинений были «Письма о демонологии и ведьмовстве». В «Анне Гейерштейн» фигурируют всевозможные суеверия, видения, тайные общества, подземелья, зловещие обряды, таинственные исчезновения и все прочие драматические ухищрения, прельстительные для незрелого ума, включая люки и священника-злодея. Но все это повторилось — и много лучше — в творчестве других писателей, которые пришли в литературу позже Скотта и уступали ему. Поскольку, однако, над этим романом заставляли потеть добрых три поколения школьников, знакомство с «Анной» отбило охоту читать подлинно великие книги Скотта у большего числа людей, чем любое другое его сочинение, если не считать столь обожаемых педагогами «Айвенго» и «Талисмана» да романа, давшего название всему циклу, — «Уэверли».

То, что новая книга Скотта не понравилась Джеймсу Баллантайну, вероятно, объясняется семейным несчастьем последнего. В феврале 1829 года у Джеймса умерла жена. Он впал в отчаяние, уехал в деревню и предался черной тоске. Скотт напомнил ему о том, что, когда «решили соблазнить Христа, Сатана первым делом надумал увести его в пустыню» и что работа — лучшее лекарство от горя. Но перед лицом напастей Джеймс пристрастился к религии, а это то же самое, что пристраститься к бутылке: чем больше потребляешь, тем больше жажда. К подобному потаканию собственным слабостям Скотт относился без всякого снисхождения, и между друзьями прошел холодок, хотя, само собой разумеется, писатель по-прежнему принимал живейшее участие в благополучии печатника.

Над головой сэра Вальтера тем временем сгушались тучи. Старые друзья — такие, как Боб Шортрид и Дэниел Терри, — умерли, его собственные болезни умножались, и он уже не мог сосредоточиться на своей работе. «Мои мысли отказываются пребывать в должном порядке» — так он сам определил свое состояние. Кончина банкира сэра Вильяма Форбса оборвала последнюю нить, связующую Скотта с юношеской любовью. «Всю долгую жизнь наша дружба оставалась неизменной, как и его доброта — неисчерпаемой», — писал он о муже Вильямина. Даже такое вознаграждение горькой старости, как общество детей и внуков, и то усугубляло в нем чувство утраты, когда молодое поколение уехало из Абботсфорда: «В доме... стало тихо, как в склепе. Не слышно детишек, последние дни оглашавших комнаты радостным криком, — их голоса умолкли. Такая пустота наводит уныние, и мне никак не удастся вернуться в свойственное мне расположение духа. Ко мне подкралась хандра, которую не развеять никакими силами, к тому же весь день льет дождь и нельзя выйти погулять». Это он записал 1 июля 1829 года, а после 20 июля в «Дневнике» снова появляется большой пробел: Скотт ощущал, что ведение «Дневника» превращает его в «чудовищного эгоиста»: «...поверяя бумаге свои мрачные настроения, я тем самым вызывал их повторение, тогда как лучший способ с ними разделаться — с глаз долой — из сердца вон». Он возобновил дневниковые записи 23 мая 1830 года, но за это время успел пережить трагедию, триумф и катастрофу.

В октябре 1829 года, закончив дневные труды, Том Парди, по всей видимости, пребывавший в добром здравии, уснул за столом — и не проснулся. Для Скотта это было страшным ударом: хозяин так любил Тома, что всякий раз при возвращении в Абботсфорд испытывал особую радость, предвкушая компанию своего верного помощника. Скотт поделился своими чувствами со старым другом — миссис Хьюз, женой приходского священника лондонского собора святого Павла: «Я так привык к бедняге, что сейчас мне кажется, будто у меня отнялись руки и ноги, — с такой готовностью он в любую минуту заменял мне и то и другое. Хочу ли срубить дерево — где Том со своим топором? Встречаю ли трудный подъем или спуск — со мной, Вы знаете, это часто бывает на прогулках, — могучие руки Тома уже не придут мне на помощь. Но, помимо прочего, есть и еще

один повод для жалоб. Я по природе несколько застенчив — Вам смешно, когда я об этом говорю, но это так. Я *застенчив* по природе, хотя меня закалили судейский опыт и долгое общение с миром. Но не могу выразить, как пугает меня необходимость пройти заново все этапы сближения с другим человеком, пока отношения между нами не станут настолько личными, что в его обществе я перестану стесняться», Похоронив Тома у стен Мелрозского аббатства, Скотт впервые за всю жизнь с радостью уехал из Абботсфорда в Эдинбург. Над могилой был поставлен памятник, и Скотт придумал для него соответствующую эпитафию: «Здесь покоится тот, кому можно было доверить безмерные богатства, но виски — только по мерке». Однако — в духе благолепия тех мест — решили выбить краткую простую надпись.

Скотт так преуспел, работая на кредиторов, что снова почувствовал себя свободным человеком. В июне 1829 года Кейделл приступил к изданию *Opus Magnum* и начал выпускать по тому в год. В четвертый раз на протяжении жизни Скотт поставил рекорд как автор бестселлера: до тех пор ни у одного писателя собрание сочинений не расходилось такими невиданными тиражами. Двадцать пять тысяч экземпляров первого тома («Уэверли») были распроданы за две недели; последующие тома пользовались не меньшим спросом, и Кейделл заявил автору: «Все прошлые успехи книготорговли — детские шалости по сравнению с этим».

Но в самый разгар триумфа судьба готовилась нанести Скотту последний удар.



Глава 24

Последний удар

Жизнь Скотта являет благороднейший пример торжества воображения над реальностью, а духа над плотью, если считать, что «реальностью» в данном случае были полиомиелит и увечье в детстве, три года мучительного недуга, когда ему было далеко за сорок, и разорение на шестом десятке. Внутренняя жизнь, напоенная творческим воображением, была той опорой, благодаря которой он преодолел телесные немощи, не моргнув глазом встретил крушение всех своих честолюбивых надежд и «спал под раскаты грома». Так же стойко он перенес и последний удар судьбы, хотя душевные его силы были к этому времени подорваны, а физических страданий прибавилось.

15 февраля 1830 года он, как всегда, плотно позавтракал, съев тарелку сдобных булочек и яичницу с говядиной, после чего занялся с мисс Янг из Ховика ее воспоминаниями об отце, священнике-диссиденте, которые обещал отредактировать. Вдруг он понял, что речь его стала бессвязной. Мисс Янг не-

медленно удалилась, а Скотт поднялся из-за стола и прошел в гостиную, где в это время болтали между собою его дочь Анна, одна из его кузин по линии Расселлов и сестра Локхарта. С перекошенным на сторону лицом он в полном молчании принялся ходить по комнате, держа в руке часы. Анне сделалось дурно, и, пока сестра Локхарта приводила ее в чувство, пораженная неожиданным зрелищем кузина не сводила с него глаз и услышала, как он наконец произнес: «Пятнадцать минут». Потом выяснилось, что это он засекал время, на какое лишился дара речи. «Чертовски смахивало на паралич или апоплексический удар, — записал он в «Дневнике» через несколько месяцев. — Впрочем, что бы это ни было, справлюсь и с этим». Ему, понятно, прописали банки, лекарства и строжайшую диету, исключавшую крепкие напитки и сигары, и запретили богатеть. Последнего предписания он не мог исполнить, понимая, что полное безделье сведет его с ума. «От растущего бессилия вылечивает только смерть, а это неудобное средство», — писал он Марии Эджуорт. Он страшился лишь одного — того, чего боятся все люди, привыкшие жить самозабвенно и деятельно: «Я недостойн, но хотел бы просить Господа о мгновенной смерти — пусть я буду избавлен от межвременья, разделяющего гибель разума и гибель тела». Скотт едва ли сознавал это, но его мозг уже был затронут, и все, что он написал после удара, отмечено резким упадком его творческих способностей.

Тем не менее он ни на минуту не прекращал трудиться и продолжал отвечать на письма, принимать гостей и совершать время от времени поездки. Посторонние люди писали ему, чтобы узнать его мнение об их сочинениях, то есть, как считал Скотт, все равно что «просили почесать их за ушком». Те, о ком он не слыхивал ни сном ни духом, искали у него помощи и совета по самым разнообразным вопросам, присовокупляя, как правило, фразу о том, что он, верно, удивится, получив письмо от неизвестного поклонника. «Напротив, — иронизировал Скотт, — я был бы удивлен, когда б автором одного из этих нелепых посланий оказался человек, имеющий хоть какое-то основание вступить со мной в переписку». Эпистола от его преподобия Джона Синклера, сына того самого сэра Джона Синклера, который хотел женить Скотта на герцогине, доказала, что глупость передается по наследству. Старшая сестрица священника, внешнею своей, на взгляд Скотта, напоминавшая сурового гренадера, видимо, приняла обычную светскую любезность великого романиста за проявление чувств более глубоких и на этом основании пришла к весьма лестному для себя заключению. Преподобный Джон просил Скотта черкнуть пару строк, чтобы предъявить их сестре в доказательство всей беспочвенности ее упований. Ответ Скотта не оставил и малейшего сомнения в том, что он воздержался от предложения руки и сердца не из одной только скромности; однако, познакомившись через несколько дней с очаровательной женой какого-то польского графа, он призадумался: «Если б такая женщина полюбила хромого баронета, которому под шестьдесят, об этом стоило бы поговорить».

Он вновь посетил некоторые места, памятные ему с юности:

как-то в июне он провел с Кейделлом и Баллантайном целый день в Престонпансе, куда еще мальчиком приезжал с тетушкой Джэнет. Ожили воспоминания об отставном лейтенанте Дальгетти, что сам с собой занимался на «плацу» шагистикой, и о Джордже Констебле, который волочился за тетушкой, научил мальчика читать и понимать Шекспира, а впоследствии послужил прототипом Монкбарнса. Скотт вспомнил и о маленькой девочке, подруге его детских игр, однако не захотел встречаться с нею же постаревшей, чтобы сохранить нетронутым образ тех лет. Прекрасный день в Престонпансе был омрачен известием о смерти Георга IV. «Он был ко мне очень милостив и вообще был милостивым монархом», — вздохнул Скотт, незадолго до того узнавший, что король собирается предложить ему возглавить комиссию по изучению и изданию рукописного архива дома Стюартов и возвести его в ранг тайного советника. Первое предложение привело Скотта в восторг, и он рвался поскорей приняться за дело. Второе он отклонил.

Летом 1830 года гости и посетители заполнили Абботсфорд, так что несколько недель кряду у Скотта не оставалось времени на «Дневник». В Кейсайде снова водворились Вильям Лейдло с семьей; присутствие Вильяма оказалось для Скотта столь же полезным, сколь и приятным. В Чифсвуде поселились Локхарты, и Скотт не мог нарадоваться на внуков. Самый младший ребенок, девочка, когда дед увидел ее в 1828 году, напомнила ему «тот самый сорт теста, что именуется славным младенцем. Впрочем, пока дети не начинают обращать на меня внимание, я ими тоже не интересуюсь». Однако через пару лет девочка перестала быть «тестом» и, видимо, проявила к дедушке определенный интерес. Скотт называл ее «Хитряка-Забияка» и говорил: «Малышка перещеголяет всех своих братцев и сестриц, если те не возьмутся за ум. Шалуныя обещает вырасти очень умненькой». Он как в воду глядел: Шарлотта Локхарт так умно устроила свои матримониальные дела, что прямые потомки Скотта и по сей день живут в Абботсфорде.

Несмотря на то, что, щедро угощая гостей, сам он ограничивался водой и сухариком, Скотт выглядел сравнительно веселым и общительным. К людям и тварям он относился с такой предупредительностью и заботой, словно у него самого никаких других забот не было. Один из гостей отметил, что на утренних прогулках он останавливает коляску у каждого брода и сажает к себе своего терьера, суку по кличке Перец, чтобы та не замочила лап: псына маялась кашлем. Скотта волновало даже то, как его соотечественники примут французских изгнанников. После революции* Карл X приехал в Холируд, хотя общественное мнение было настроено против его приезда; свою роль в этом сыграла и статья в «Эдинбургском обозрении». В ответ на нее газета Баллантайна напечатала обращение Скотта к жителям Эдинбурга, в результате которого бывшему монарху и его семье оказали должный прием. После успеха *Opus Magnum* все решили, что

* Имеется в виду июльская революция 1830 года во Франции, после которой Карл X бежал в Англию.

финансовые затруднения Скотта остались позади, и благотворительные организации вновь начали обращаться к нему за пожертвованиями. Он отказался подписаться в пользу Литературного фонда, объяснив: «Нужды тех, чьи достоинства и лишения мне известны, столь велики, что средства, какие я смог бы уделить для облегчения их участи, неизмеримо меньше тех, какими я бы хотел располагать». Для Скотта благотворительность начиналась с ближайших соседей, и он предлагал нуждавшимся заимствовать из своего почти пустого кошелька точно так же, как в свое время — из набитого. «Доброе сердце — поистине главное в сэре Вальтере», — сказал Лейдло. Но Скотт отнюдь не тешил душу сладостным бальзамом благотворительности. Знаменитый американский оратор и государственный деятель Эдвард Эверетт, гуляя с писателем в окрестностях Абботсфорда, заметил, как один из местных жителей, которого Скотт спросил о здоровье родственника, просто рассыпался перед ним в благодарностях. Эверетт предположил, что столь сильное изъявление чувств объясняется одолжениями и благодеяниями, ранее оказанными этому человеку. Скотт ответил, что его более трогает благодарность бедняков, нежели удивляет их неблагодарность. «Бывает, сетуют, что, дескать, сделаешь кому-то одолжение, а он и «спасибо» не скажет, — пояснил Скотт, — но стоит мне вспомнить, что все мы сотворены из одной плоти и крови, — и становится особенно горько, когда за ничтожнейшую милость человек считает себя смиренно обязанным по гроб жизни». В августе 1830 года он снова ходатайствовал перед герцогом Баклю за Джорджа Томсона, учителя своих детей, для которого хлопотал о синекуре; а в январе следующего года еще раз помог внебрачному сыну покойного брата Дэниела, хотя юноша и не сумел извлечь должную пользу из всего, что Скотт для него сделал ранее. Впрочем, великодушную сэра Вальтера конец положила лишь смерть.

В ноябре 1830 года Скотт ушел из Высшего суда и вместо 1300 фунтов жалованья стал получать 840 фунтов пенсии. Министр внутренних дел захотел покрыть разницу, приплачивая ему в год 500 фунтов пособия, но Скотт отказался, объяснив кому-то из знакомых: «Пособие чудовищно подорвет мою популярность; мне же, думаю, лучше сохранить независимость, чтобы иметь право смело глядеть людям в глаза, если придется обращаться к соотечественникам». От отказа пострадала одна лишь Анна, писавшая брату Вальтеру: «Папа в добром здравии, но все время брызжит о сокращении расходов и т.д., и т.п., так что с ним не очень-то весело. Его псы составляют все наше общество». Папа, однако, не пребывал в добром здравии. «Мне кажется, за этот год я больше состарился, чем за двадцать предшествующих», — сказал он Софье. Даже на пони он ездил теперь без всякого удовольствия: «Довольно унижительно, когда тебя затаскивают в седло словно мешок пшеницы, но что прикажете делать? — пешком ходить больно, а моцион необходим». Как-то им повстречалась миловидная женщина, жившая по соседству. Скотт являл собою в эту минуту зрелище отнюдь не величественное — на случай, если бы он потерял равновесие, по одну сторону, держась за стремя, шел Вильям Лейдло, а по другую — Джон Свэнстон, ко-

торый занял при хозяине место Тома Парди: «Мне было понастоящему стыдно, что она увидела меня в таком виде... Жалкая глупость, но с подобными глупостями мы, полагаю, расстанемся в самую последнюю очередь. Уж в мои-то годы, казалось бы, пора избавиться от пустого тщеславия. Извечный порок старика Адама, и пишу я об этом только в назидание самому себе — за то, как я, последний дурень, тогда себя чувствовал».

Молодой человек по имени Джон Николсон, сызмальства живший в Абботсфорде, стал преемником Даглиша, когда дворецкий ушел со службы по состоянию здоровья. Врач объяснил Джону, как в случае необходимости пользоваться ланцетом. Эту предосторожность сочли излишней, поскольку Скотт теперь постоянно жил в таком месте, где заполучить врача занимало часов двенадцать, если не больше. Особенно встревожило домашних происшествие, случившееся в самом конце ноября 1830 года. К обеду в доме был гость, и Скотт побаловал себя разбавленным виски. Из-за стола он встал с ясной головой, но, отправившись в спальню ко сну, потерял сознание, свалился и некоторое время пролежал на полу. Никто его падения не услышал, и, придя в себя, он сам поднялся и доковылял до постели. Несчастье отнесли за счет безобидного напитка, и врачи посадили Скотта на еще более жесткую диету; он пожаловался Джеймсу Баллантайну, что хочет на несколько месяцев удрать за границу, ибо «этим кончили отцы романа Филдинг и Смоллетт, и такая развязка будет вполне в духе моего ремесла».

Эти планы повергли в ужас Кейделла с Баллантайном и заставили их срочно прибыть в Абботсфорд, тем более что незадолго перед тем они оба разругали роман «Граф Роберт Парижский», над которым трудился Скотт, и боялись, как бы он не обиделся и не поставил крест на дальнейшей работе. Вечером в день их приезда Скотт был настроен весьма миролюбиво. Он только что узнал, что кредиторы подарили ему все содержимое Абботсфорда, «дабы наилучшим образом выразить, сколь высоко ставят они его в высшей степени благородное поведение, и в знак благодарности и признательности за те беспримерные и увенчавшиеся чрезвычайным успехом усилия, кои он ради них предпринял и продолжает предпринимать». Однако на другое утро гостей вместо ужаса охватило смятение. Сэр Вальтер вручил Баллантайну недавно законченное им политическое эссе против Билля о реформе парламента, который всколыхнул тогда всю страну. Виги раздражили инстинкты толпы и внушили неуемным классам, что, подерживая билль, они тем самым отстаивают свою свободу против тирании. На самом же деле, как мы знаем, закон 1832 года о реформе парламента всего лишь передал власть из рук крупных землевладельцев в руки промышленных магнатов, и в жизни нации место, ранее принадлежавшее житницам, заняли фабрики и заводы. Таким образом, Скотт встал «перед готовым рухнуть зданием», хотя взялся за статью с единственной целью — испытать, не разучился ли он ясно писать и мыслить.

Однако не успели печатник с издателем порекомендовать ему не связываться в политику, как в Скотте пробудилось упрямство. По стечению обстоятельств трое его ближайших друзей того

времени — Лейдло, Кейделл и Баллантайн — оказались вигами, и два последних были шокированы, выяснив, что он против парламентской реформы в целом. Кейделл заявил, что Скотт отстал от времени; Баллантайн согласился с Кейделлом, и последовала язвительная перепалка. Кейделл указывал, что опубликование эссе сведет на нет популярность автора, что Скотт пытается выгрести против течения и что даже успех *Opus Magnum* будет поставлен под угрозу. Скотт был непреклонен. Он обязан исполнить свой долг перед обществом, и никаким эгоистическим соображениям не удержать его от полемики. В конце концов порешили на том, что Баллантайн опубликует статью у себя в газете, но постарается всеми силами сохранить имя автора в тайне. Через несколько дней пришли гранки статьи, а с ними — замечания печатника относительно логики и формы изложения материала. Замечаний было много, и все по существу. Скотт сжег гранки, признав, что его настойчивость отчасти объяснялась тщеславием и упрямством и что, поскольку он с трудом читает и разговаривает и даже заплетается при письме, было бы глупо «переселяться в мир иной под ураган политических страстей». Почувствовав, что он нуждается в поддержке, Кейделл с Баллантайном настоятельно просили его продолжать работу над романом, подчеркнув, что их нелестные высказывания о первых главах книги он принял слишком уж близко к сердцу.

К началу 1831 года Скотт почти не сомневался, что перенес второй апоплексический удар: он и сам обратил внимание на то, как его речь по временам становится путаной, а силы день ото дня убывают. Однако крепость у него еще сохранилась. Когда на заседании шерифского суда задержанный попытался бежать, Скотт вскочил с кресла, вцепился в парня и заявил, что тому удастся удрать лишь через труп старика. Он также выступил 21 марта 1831 года в Джеббурге с речью перед толпой взвинченных сторонников реформы. Своим присутствием на митинге он был обязан просьбе герцога Баклю, родству с кандидатом от консерваторов Скоттом из Хардена, но в первую очередь — и в этом не приходится сомневаться — желанию взять реванш за неопубликованное эссе. Говорил он очень тихо и неуверенно, и толпа, собравшаяся в здании суда, ежеминутно прерывала его речь свистом и улюлюканьем. Авторов Билля о реформе Скотт уподобил компании мальчишек, которые надумали разобрать часы, решив, что потом смогут собрать их лучше, чем часовых дел мастер, и первым делом сломали пружину. Сравнение пришлось не по вкусу часовщикам от политики, находившимся в зале, и те подняли гвалт, в котором потонули и предложенная Скоттом резолюция, и его слова, адресованные этим новоявленным утопистам: «До вашего ора мне не больший интерес, чем до гогота гусей на выгоне». Когда Скотт уходил, ему вслед раздалось несколько свистков. У дверей он обернулся, отвесил поклон и произнес: *«Moriturus vos saluto»**. Но ему предстояло кое-что похуже, нежели гибель на арене.

* «Идущий на смерть вас приветствует» (лат.). Перифраз знаменитого обращения выходящих на арену гладиаторов к римскому императору: «Идущие на смерть тебя приветствуют».

Первые месяцы 1831 года он был занят тем, что диктовал роман Вильяму Лейдло. Каждое утро он вставал без четверти семь, отвечал на письма и в четверть десятого садился за завтрак, в большинстве случаев сведенный до одного яйца. Затем Вильям до часу писал под его диктовку — над этим романом Скотт, по мнению Лейдло, работал с таким же воодушевлением, как над «Айвенго». В час дня Скотт совершал короткую и мучительную для него прогулку, чаще же выезжал на пони, который плелся под ним медленным шагом. В три часа он садился за «Дневник» и за другие мелкие литературные дела. Обед, подававшийся в четыре, состоял из супа, кусочка вареного мяса и стакана пива. Потом Скотт отдыхал, налив себе полстаканчика виски или джина, а в шесть приходил Лейдло, и он снова диктовал до девятидесяти вечера. День, не менее шести часов из которого были отданы диктовке, завершался тарелкой овсянки с молоком.

Этот спокойный образ жизни пошел бы ему на пользу, сумей он полностью удалиться от мирских забот. Но как не оказать другу должного гостеприимства! И когда окружной судья лорд Мидоубэнк остановился в Абботсфорде, в его честь был устроен обед. Чтобы поддержать застолье, Скотт выпил несколько бокалов шампанского, и тем же вечером перед отходом ко сну с ним случился еще один удар, хуже двух предыдущих. Непосредственной причиной удара скорее всего было возбуждение от большого числа гостей, хотя отнесли его за счет злоупотребления шампанским. Тут же последовало воздаяние в виде кровоизлияния и шпанских мушек, и врачи посадили его на диету из макарон и хлебного мякиша, которой он предпочел бы голодную смерть. «Знаю одно: лучше уж помереть, нежели влачить жизнь, какой я сейчас живу. Если я не окрепну, то на той неделе мне, боюсь, придется причаститься загробных таинств». Так он писал через несколько дней после удара, но и через пару недель положение казалось ему немногим лучше: «Уверен, что добрая половина рода людского не кончает с собой только из страха — особенно те, кого терзают кровоизлияниями и мушками, да еще и ругают. Я, без преувеличения, ужасно страдаю, скорее телом, нежели духом, и часто мечтаю о том, чтобы заснуть и больше никогда не проснуться. Но я выдержу, если достанет сил». Он только что узнал про разгром, который учинили «Графу Роберту Парижскому» Кейделл и Баллантайн: «Удар, видимо, так меня оглушил, что пока я его почти и не ощущаю».

В начале мая в Чифсвуд на лето приехал Локхарт с семьей. Зять не узнал сэра Вальтера, настолько худым и изможденным тот выглядел: одежда болталась на нем, как с чужого плеча, одна щека была перекошена, а голова наголо обрита, так что, выходя из дому, он надевал под синий берет черную шелковую скуфейку. Ко всему прочему Скотт мучился камнями в мочевом пузыре и коликами, а суставной ревматизм причинял ему боль при каждом движении. Он забывал слова и порой, начав о чем-то рассказывать, вдруг замолкал и недоуменно озирался, потеряв нить повествования. Но он не сдавался — пытался править роман, писал новые комментарии к Собранию сочинений и работал над новой серией «Рассказов дедушки», посвященной истории Франции. Родные ублажали его как могли.

Жизнь его текла мирно, и дочери надеялись, что он не вспомнит о предстоящих выборах в Джедбурге. Они было совсем решили, что им удалось отговорить отца от участия в этом политическом спектакле. Можно представить их ужас, когда утром 18 мая они узнали, что он распорядился подать экипаж и намерен туда поехать. Его сопровождал Локхарт. Город ходил ходуном. Толпа с барабанами и знаменами запрудила улицы и осыпала оскорблениями всякого, кто носил цвета противоположной партии. Карету сэра Вальтера забросали камнями, а пока он пробирался пешком от дома Шортрида до здания суда, ругательства и проклятья сопровождали его на всем пути; какая-то баба даже плюнула в него из окошка. Скотт попытался что-то сказать с помоста для судей, но его слова сгнули в криках и воплях ревнителей «свободы». Его родственник* был избран огромным большинством, после чего толпа окончательно осатанела, и друзьям Скотта посоветовали как можно незаметнее вывезти его из города. С большим трудом Скотта уговорили пройти к экипажу переулками. Преодолев у моста еще один град камней, сопровождавшийся криками: «Вздернуть сэра Вальтера!», его карета выбралась за пределы этого избирательного округа. «Премного обязан бравым ребятам Джедбурга», — записал он в «Дневнике». Через несколько дней состоялись выборы в Селкирке. Здесь все или любили, или побаивались Ширру, так что Скотт был в безопасности. Выходя из кареты, он заметил, как какой-то человек не дает избирателю-тори пройти к месту голосования. Он схватил нарушителя и упек его за решетку до окончания выборов.

Когда страсти утихли, Скотт принялся за новый роман, «Замок Опасный», и на время забросил «Дневник». В поисках местного колорита для книги он предпринял поездку в Ланкашир, взяв с собой Локхарта. Их путь лежал через Яйр, Ашестил, Иннерлейтен, Траквер и Биггар. В миле от Биггара Скотт увидел, как какой-то возница избивает лошадь, и накричал на того из окна кареты. Малый ответил дерзостью, и Скотт пришел в бешенство. Путешественники заночевали на постоялом дворе в местечке Дуглас-Милл, а утром осмотрели замок, который собирался описывать Скотт. Здесь он подробно расспросил двух старожил, помнивших все местные предания. Тут же сбежалась толпа, которая в молчании ходила по пятам за Скоттом как привязанная. Они тронулись дальше. Скотт наизусть читал Локхарту баллады, памятные еще с юности, и заплакал, когда дошел до своей любимой:

Я знаю, тьма подступает ко мне,
Ибо рана моя глубока;
Возьми своих воинов и схорони
Меня под кустом орляка**.

Переночевав у родственников Локхарта, они возвратились домой. В следующие три недели Скотт переписал «Графа Ро-

* Скотт из Хардена.

** «Битва при Оттенбурне». Перевод Ю. Петрова.

берта Парижского» и закончил «Замок Опасный». Оба романа вышли в ноябре 1831 года как четвертый выпуск «Рассказов трактирщика». К удивлению Скотта, они раскупались довольно бойко, и он написал Локхарту: «Первый раз в жизни мне было стыдно за два своих романа; но, коль скоро они прилились по вкусу глубокомысленной публике, нам остается одно — есть свой пирог с грибами (и пр.) и держать язык за зубами». Уж если их стыдился сам автор, мы позволим себе за него не краснеть. Главный недостаток обеих книг — сюжетная путаница, из-за чего их скучно читать. В «Графе Роберте Парижском» есть все необходимое для первоклассного романа о придворной интриге, а образы Хирварда, графа Роберта и Алексия Комнина очерчены достаточно хорошо, чтобы дать представление о том, насколько лучше Скотт мог бы их разработать. Поражает другое: как автор, учитывая его состояние, вообще написал эти романы, каждый из которых ничуть не хуже «Обрученных», написанных на вершине успеха и в отменном здравии.

Когда эти книги увидели свет, Скотт уже плыл по Средиземному морю. Он решил провести зиму в Неаполе, где его сын Чарлз состоял при британском посольстве, и друг Скотта капитан Бээил Холл намекнул первому лорду Адмиралтейства, что великого писателя было бы не худо доставить в Италию на фрегате. Теперь на английском троне сидел Вильгельм IV, а у власти находилось правительство вигов, но и тот и другие рассматривали Скотта как национальное достояние и заявили, что в любой момент, когда Скотту заблагорассудится, ему будет выделен фрегат, чтобы отправиться на нем в плавание. Выпавшей ему передышкой Скотт воспользовался наилучшим образом: не стал начинать нового романа, а с удовольствием провел лето в Абботсфорде в кругу семьи. Себе он внушил, что полностью рассчитался с долгами; и хотя он делался заметно слабее и говорил все хуже, временами казалось, будто к нему вернулись прежние безмятежность и бодрость духа. Однако порой он пугал дочерей вспышками раздражительности. Бывало, он натякался на мебель, а как-то раз, выходя на прогулку, растянулся на мраморном полу в холле. Анна распорядилась до его возвращения постелить перед дверью коврик, но ему не понравилось столь явное доказательство его немощи, и он концом трости отбросил коврик с дороги. О главном же, что его тревожило, никто не догадывался — он поверил это только своему «Дневнику»: «Я не жалуюсь и не боюсь приближения смерти, если она подступает ко мне. Пусть будет мгновенная боль, я согласен, — только не это бездушное помрачение разума, лишаящее способности здраво жить и действовать». Больше всего его радовало общество сына Вальтера. Он безмерно гордился молодым человеком; передают, что, когда тот «взял» со своим конем высокую каменную стену, отец воскликнул: «Полюбуйтесь! Нет, вы только полюбуйтесь! Каков парень, а?!» Видным гостем Абботсфорда в то лето был художник Джозеф Тернер, который иллюстрировал собрание поэтических произведений Скотта и хотел взглянуть на некоторые места, в них описанные. Как-то хозяин повез его и еще одного-двух гостей поглядеть на Смальгольмские скалы — там происходит действие первой

баллады Скотта «Канун Иванова дня». Сам автор ежегодно совершал паломничества к этим местам в память о родственниках, которые в детстве проявили к нему столько участия. Затем они проследовали до Драйбурга, где Скотт, извинившись, не пошел с остальными за ограду монастыря.

17 сентября в Абботсфорде состоялся последний праздничный обед. Среди приглашенных был капитан Джеймс Бёрнс, сын поэта, чьи строки Скотт, расчувствовавшись, повторял чаще любых других, исключая шекспировские. Майор Скотт помогал отцу принимать гостей со свойственным этому дому радушием, и в тот вечер былая слава Абботсфорда засияла по-старому. 20 сентября Софья отправилась в Лондон, чтобы подготовить все необходимое к прибытию отца и его проводам в плавание, а накануне попрощаться со Скоттом приехали Вордсворт с дочерью. На другой день оба поэта побывали в Ньюарке, и в результате появилось стихотворение Вордсворта «Снова в Ярроу»:

У старых замковых ворот,
Забывших стук десницы,
Стоял, смотрел я и внимал
Тебе, Певец Границы! —

так писал Вордсворт, любивший Скотта и сказавший о нем, что за двадцать шесть лет писательства он «подарил людям столько бесхитростной радости, сколько во все времена другому не выпало подарить и за всю жизнь». Ранним утром 23 сентября Скотт выехал из Абботсфорда — началось его путешествие в Неаполь. По этому поводу Вордсворт сложил прощальный сонет — не самый лучший из всех, им написанных, но, может быть, самый прочувствованный:

Скорбящие, утешьтесь! ибо мощь
Напутственной молитвы с ним пребудет;
Ни грозный царь, ни дерзостный герой
Любви столь чистой в мире не добудет,
Как этот дивный Властелин...



Глава 25

Прощальное путешествие

В юности не видно конца будущему, в старости непонятно, куда ушло прожитое. Скотту, должно быть, казалось, что только вчера он совершал свое первое путешествие в карете до Лондона, наслаждаясь прекрасным здоровьем; теперь же, хотя качество дорог с тех пор заметно улучшилось благодаря его соотечественнику Джону Мак-Адаму, каждая миля отзывалась в теле разнообразными болями. Тем не менее он и сейчас уделял внимание всему, что встречалось на пути и когда-то возбуждало его интерес, и выбирался из кареты, чтобы еще раз осмотреть ту или иную достопримечательность. Остатки каменного могильника и гигантского каменного креста на погосте в Пенрите он видел и обсуждал неоднократно, однако их надлежало снова подвергнуть осмотру и поговорить о них с Анной и Локхартом, которые его сопровождали. Они на сутки задержались у Моррита в Рокби и добрались до Лондона 28 сентября; Скотт был едва жив от лекарств и усталости.

Палата лордов обсуждала Билль о реформе парламента,

который и отклонила через десять дней после их прибытия. Тогда чернь доказала, что вполне созрела для получения избирательных прав, — разгромила в Лондоне все большие дома, про которые было известно, что в них живут консерваторы; в том числе и особняк герцога Веллингтона, человека, которого эта чернь некогда превозносила как спасителя Европы и которого она же впоследствии оплакала как национального героя. Даже королю по соображениям безопасности отсоветовали появляться на крестинах сына и наследника герцога Баклю, где монарх должен был быть крестным отцом: опасались, что погромщики истолкуют появление его величества в доме консерватора как политическую поддержку тори. Скотт видел и слышал, как толпа сторонников реформы ревели в Риджентс-Парке, как стадо быков, а потом, вдоволь поупражняв легкие, повалила куда-то во мрак — «заблотиться, чтобы стекольщики не сидели без работы».

Скотта пленял вид на Риджентс-Парк из дома Локхарта — такой вид мог открыться где-нибудь в сельской глуши — и он иногда ездил по парку в экипаже в обществе своего друга миссис Хьюз. Последнюю угнетали перемены во внешности и в характере Скотта: он передвигался с трудом, и взгляд у него был отсутствующий; одни и те же истории он повторял по нескольку раз, говорил неясно, и язык у него заплетался; дочери и слуги его раздражали; это был другой человек. Как-то он завтракал с миссис Хьюз и ее мужем-священником у них дома на Амен-Корнер. Он ел с аппетитом, а ярмутские копченые сельди пришлись ему особенно по вкусу. Софья попросила миссис Хьюз заказать для них этих сельдей, и та пошла на Биллингсгейтский рынок. Торговец сказал, что доставить рыбу на Сассекс Плейс они, к сожалению, не смогут: слишком далеко. Но стоило ему услышать, что заказчик — сэръ Вальтер Скотт, как он заявил, что, коли придется, лично доставит ему рыбу: «Сельди будут у него нынче же вечером! Нет, не вечером — завтра в семь утра поступит свежая партия, и он получит их прямо к завтраку. Сэръ Вальтер Скотт! Он, говорили, болен да и сейчас не очень здоров — как он себя чувствует?» Сельди подоспели к завтраку и очень понравились Скотту, но еще больше понравились ему слова торговца рыбой. «Пожалуй, мои сочинения никогда еще не имели столь вкусных последствий», — заметил он.

Каждый вечер Софья устраивала маленький прием, и он повидал всех своих старых друзей. Он все еще дописывал комментарии к последним томам *Opus Magnum*. Сыну Вальтеру удалось получить отпуск, и они с женой решили сопровождать Скотта в Неаполь. 23 октября выехали из Лондона в Портсмут; остановку сделали в Гилдфорде, где слепая лошадь, ворвавшись на конный двор, сшибла Скотта с ног — он чудом не был затоптан. В Портсмуте обосновались в гостинице «Фонтанной» и стали ждать попутного ветра. Было сделано все возможное, чтобы устроить Скотта на борту «Барэма» с наибольшими удобствами. Тем временем офицеры с корабля показали Анне и Софье все местные достопримечательности; женщины воспользовались их любезностью к вящему недовольству отца, считавшего, что дочери навязывают господам офицерам свое общество. Скотт почти не вы-

ходил из гостиницы; в ней же он принимал посетителей, включая депутацию от портсмутского Литературно-философского общества, которое избрало его своим почетным членом. Он попросил Бэзила Холла, капитана «Барэма», раздобыть ему «Дневник путешествия в Лиссабон» Филдинга, объяснив при этом: «Книжица сия, последнее его сочинение, — самая увлекательная и остроумная из всего Филдингова наследия, хоть и писалась она во время мучительного недуга». Когда поступило известие, что флоту отдан приказ отплыть в Северное море на маневры, или, как сформулировал Скотт, «постращать голландского короля», капитану Холлу показалось, будто в глазах у Скотта промелькнула надежда: вдруг да и не придется в конце концов покидать родину! Однако «Барэм» оказался единственным судном, на которое приказ не распространялся. Как-то в беседе с Холлом Скотт заметил: «Писателю ни в коем случае не следует превращать деньги в единственную или даже главную цель творчества. Литератору не к лицу заниматься стяжательством». Холл ответил, что людям свойственно чрезмерно переживать потерю состояния, хотя это — наименьшее из всех крупных жизненных зол и должно считаться одним из самых терпимых.

— По-вашему, значит, разориться — невелика беда? — спросил Скотт.

— Во всяком случае, это не так мучительно, как терять друзей.

— Признаю.

— Как терять себя.

— Ваша правда.

— Как терять здоровье.

— Спорить не стану.

— Что такое потеря состояния по сравнению с утратой безмятежности духа?

— Короче, — пошутил Скотт, — получается, что нет ничего плохого, если человек по уши увязнет в долгу, от которого не может освободиться?

— Многие, думаю, зависят от того, как он в этот долг влез и что сделал, чтобы с ним расквитаться; по крайней мере, если речь идет о человеке благонамеренном.

— Надеюсь, что зависит.

Они отплыли 29 октября, и с этого дня «Дневник» Скотта в основном посвящен путевым картинам, а не людям, и потому куда менее для нас любопытен: люди почти всегда интересны, места же — только тогда, когда у того, кто их видит, они ассоциируются с интересными людьми. Начало путешествия было ознаменовано ветром и холодом; штормило, страшно качало, и все страдали от морской болезни. Скотт, насколько позволяли обстоятельства, проводил время на палубе; он сообщает, что при прохождении мыса Святого Винсента и Трафальгара* сердце у него радостно забилося. Вследствие подводного извержения в самом центре Средиземного моря возникло курьезное новообразо-

* У мыса Трафальгар английский адмирал Нельсон выиграл знаменитое морское сражение 21 октября 1805 г., разгромив французский и испанский флоты.

вание, получившее название острова Грэхема; оно просуществовало несколько месяцев, а затем исчезло. Скотт счел его достаточно примечательным, чтобы освидетельствовать — большей частью восседая на плечах у матросов — и послать описание в Эдинбургское Королевское общество.

22 ноября «Барэм» достиг Мальты. Путешественникам была дарована особая привилегия — на время карантина обосноваться в старинном испанском поселении Форт Мануэль, где с теми, кто его навещал, Скотт мог переговариваться через барьер на расстоянии около метра. Многие дома предлагали им свое гостеприимство, однако они предпочли остановиться в гостинице «Биверли». За две недели, что они провели на острове после карантина, Скотт много времени уделял своему старому другу Джою Хукмену Фреру, известному в свое время политику, дипломату и литератору, который в 1818 году удалился на Мальту и прожил там до самой смерти в 1846 году. Фрер был одним из основателей «Квартального обозрения», переводчиком комедий Аристофана на английский язык и на протяжении нескольких лет секретарем британского посольства в Испании. Он сопровождал Скотта в поездке по острову, показал ему все, на что стоило посмотреть, и они вспомнили прошлое, читая друг другу наизусть старинные баллады. На Мальте у Скотта оказались и другие друзья, в том числе главный судья острова сэр Джон Стоддарт, так что Скотту не приходилось жаловаться на скуку. Местный гарнизон устроил бал в его честь, и он мог любоваться зрелищем двухсот танцующих пар. Один из приглашенных, итальянец, попытался поднести ему стихотворный экспромт и водрузить ему на голову корону; помешали офицеры, и Скотт вернулся в гостиницу «без короны, без стихов и без речей». Он начал работу над новым романом — «Осада Мальты», но все понимали, что он рвется домой. Было замечено, что он ест и пьет слишком много; возможно, самому себе не отдавая в этом отчета, он тем самым стремился ускорить смерть или возвращение на родину.

В ночь накануне их отплытия с Мальты произошло землетрясение, а в день их прибытия в Неаполь случилось самое сильное за последние годы извержение Везувия. Он мог бы вспомнить Шекспира: «В день смерти нищих не горят кометы»*. Вместо этого он процитировал анекдот про француза, сказавшего о небесном знамении, якобы предвещающем ему близкую гибель: «*Ah, Messieurs, la comète me fait trop d'honneur*»**. «Барэм» отплыл с Мальты 14 декабря, а 17-го был в Неаполе. Они остановились в Палаццо Караманико. Скотт был вне себя от радости, встретившись с сыном Чарлзом, который, напротив, пришел в ужас, увидев, как одряхлел отец физически и духовно. У братца Вальтера и сестрицы Анны начали сдавать нервы. Чарлз сообщал Софье: «Вальтеру невмоготу улаживать Анну, а она при ее характере и не захочет, а выведет из себя. Ну, я-то в таких случаях отмалчиваюсь, так что мы остаемся добрыми друзьями».

* «Юлий Цезарь», акт II. Перевод Мих. Зенкевича.

** «Ах, господа, комета — слишком большая для меня честь» (фр.).

Все видные дома Неаполя рассчитывали на визит Скотта, и светской жизни у него было предостаточно. На приеме по поводу дня рождения неаполитанского монарха «Король, — отметил Скотт, — обратился ко мне с пятиминутной речью, из которой я не понял и пяти слов. Я ответил ему тем же и готов держать пари, что он тоже ничего не понял». В середине января пришло известие о смерти Джонни Локхарта. Оно потрясло Скотта совсем не так, как могло бы, будь он прежним сэром Вальтером, и в тот же вечер он отправился слушать оперу, от которой «устал, как пес». Куда бы он ни выезжал — в Помпеи, Геркуланум или Постум, — он думал только о Шотландии; полагая, что окончательно расплатился с кредиторами, он уже прикидывал, как бы ему докупить к Абботсфорду земли примерно на 10 тысяч фунтов.

В Неаполе Скотт почти дописал роман и новеллу, которые, однако, так и не увидели свет. Он не соблюдал больше диеты и пил что захочется. Как поживают соседи-бедняки? Как поживают его собаки? — спрашивал он Лейдло, сообщая последнему, что неаполитанские солдаты «ребята крепкие и сами говорят, что, ежели дело не доходит до битвы, свой солдатский долг разумеют не хуже любого другого европейского воинства». В начале марта 1832 года он писал миссис Скотт из Хэрдена: «Сейчас пошли карнавалы, балы следуют один за другим, а уж конфетти так и сыплются градом, прямо нету мочи. Но близится великий пост, который положит конец нашим забавам: все уже вроде бы стыдятся, что так веселились, и кто как может, готовятся напустить на себя постную мину».

Он собирался побывать в Риме и у Гёте в Веймаре, но, когда в конце марта дошла новость о смерти автора «Фауста», Скотт на все махнул рукой и решил поскорее возвращаться на родину. «Жаль Гёте! — воскликнул он. — Но тот хотя бы умер на родине. Вернемся в Абботсфорд». Он купил коляску с откидным верхом и 16 апреля вместе с Чарлзом, Анной и двумя слугами выехал в Рим. Чарлз исхлопотал отпуск, чтобы присмотреть за отцом, Вальтеру же пришлось отбыть в свой полк. Путешественники находились не в лучшем состоянии духа: «Выехали, как собирались, но дети чувствуют себя плохо: один мается желудком, у другой — ревматизм, и он, и она в дурном настроении, да и мое не лучше». Дорога была «отвратительной», у коляски отвалилось колесо, так что пришлось задержаться в пути, а от Понтийских болот у Скотта немилосердно разболелась голова.

В Риме они остановились в Каса Бернини. Первым делом Скотт побывал в соборе святого Петра — потому, что больше всего хотел взглянуть на могилу последнего представителя рода Стюартов; да и прочие достопримечательности Вечного города вызывали его интерес лишь постольку, поскольку были связаны с памятью об этой династии. О его собственных впечатлениях можно сказать теми словами, какими сам он в свое время описывал поездку Смоллетта по чужим странам: «В его состоянии даже руины древнего Рима говорили воображению не больше, нежели любые заурядные развалины; и посреди всего этого великолепия он мечтал о родном камине, любимом кресле и постели, в которой

хорошо уснуть, забыв, — по возможности, навсегда, — о тщете этого неблагоприятного мира». Из Рима выехали в пятницу 11 мая. Кто-то заметил, что они выбрали для отъезда несчастливый день, и Скотт возразил: «В суевериях есть своя прелесть, и порой они оказывают мне недурную услугу, однако я ни разу не позволял, чтобы они мне мешали или путали карты».

На обратном пути его беспокойство возрастало с каждой оставленной позади милей. Его с большим трудом уговорили немного задержаться во Флоренции. Апеннины ему понравились, потому что напомнили о родной Шотландии, но он отказался осматривать Болонью, и даже в Венеции только мост Вздохов вызвал у него минутный интерес. Не останавливаясь, они пересекли Тироль, проехали Мюнхен, Гейдельберг и Франкфурт-на-Майне. Погода стояла мерзкая, однако он требовал, чтобы они ехали днем и ночью. 3 июня в Майнце он отправил последнее собственноручно им написанное письмо: просил извинения у Артура Шопенгауэра за то, что болезнь помешала ему принять философа. В Майнце же они погрузились на пароход. Проплывая вниз по Рейну, он, казалось, не без удовольствия созерцал ландшафты, незадолго до этого описанные им в «Анне Гейрштейн». Но после Кёльна он потерял к путешествию всякий интерес, а 9 июня недалеко от Неймигена его разбил четвертый удар. Джон Николсон отворил ему кровь, и Скотт пришел в себя ровно настолько, чтобы настоять на продолжении путешествия. 11 июня в Роттердаме его внесли на корабль, а 13-го он уже находился в лондонской гостинице «Сент-Джеймс».

Дети Скотта собрались у его постели, и он благословлял их всякий раз, когда к нему возвращался дар речи. Однако на протяжении трех недель он большей частью пребывал в беспмятстве или полубреду: то ему казалось, что он все еще на пароходе, то представлялась толпа, громившая его в Джеббурге. Не исключено, что какие-то воспоминания, относящиеся к этому времени, если даже не к 1819 году, когда Скотт был тяжело болен, вдохновили Локхарта на описание сцены, якобы имевшей место 17 сентября у постели больного. Как пишет Локхарт, Скотт сказал ему: «Друг мой, будьте человеком добрым — добродетельным — верующим — будьте добрым. Ничто другое не утешит вас, когда вы возляжете на это ложе». Но даже в тех случаях, когда на протяжении этих последних недель своей жизни Скотт и приходил в сознание, его рассудок был настолько помрачен, что описанную Локхартом сцену следует посчитать чистым вымыслом. В этом мнении нас еще сильнее утверждает письмо, хранящееся в Абботсфордском фонде Национальной библиотеки, Шотландии. Одна из родственниц сэра Вальтера советует Локхарту в этом письме сообщить что-нибудь в доказательство истинной религиозности Скотта, так что, возможно, Локхарт счел своим святым долгом преподать потомкам урок нравственности. Ему не пришлось в голову, что все необходимые им уроки морали преподает людям сама жизнь и что литература занимается тем же — в тех случаях, когда писатель не задается осознанной целью кого-то чему-то учить. Другое свидетельство, что знаменитая сцена у постели была выдумана Локхартом с начала и до конца, можно найти

в «Жизнеописании лорда Литлтона» доктора Джонсона; слова лорда на смертном одре — «Милорд, будьте добрыми, будьте добродетельными, ибо вам предстоит оказаться на моем месте» — сокращенный вариант наставления, которое вложил в уста Скотта его биограф.

В те летние дни 1832 года внимание всего мира, казалось, было приковано к «Сент-Джеймсу». Газеты ежедневно публиковали бюллетени о состоянии здоровья Скотта, члены царствующего дома осведомлялись о том же, правительство в случае необходимости предлагало помочь деньгами, а занятые по соседству строители старались производить как можно меньше шума.

Неоднократно выраженное желание Скотта вернуться домой в конце концов сломало даже сопротивление медиков, и 7 июля его перенесли в карету, а карету вкатили на пароход. Через два дня, все еще без сознания, он был доставлен в родные места. 11 июля началась завершающая часть его прощального путешествия. Когда карета достигла долины Галы, Скотт очнулся и пробормотал названия некоторых мест. Как только взору открылись Эльдонские холмы, он пришел в возбуждение, а вид Абботсфорда заставил его восторгнуться и вскрикнуть от радости. Понадобились общие усилия Локхарта, врача и Джона Николсона, чтобы не дать ему выскочить из кареты. Он пожирал глазами построенный им особняк и лес, посаженный собственными руками. Его внесли в столовую, где была приготовлена постель. Он не сразу разобрался, что к чему, но потом признал старого друга: «Вилли Лейдло! Эх, парень, сколько раз я о тебе вспоминал!» Собаки прыгнули к нему на колени, принялись лизать руки, он разрыдался и лишился чувств.

Какое-то время он периодически бывал в ясном сознании, и тогда его катали в кресле по саду или по дому. «Я многое повидал, но с моим домом ничто не сравнится; давай-ка прокатимся еще разок», — говорил он в таких случаях. Однажды Локхарт прочитал ему четырнадцатую главу Евангелия от Иоанна. В другой раз Скотт попросил почитать ему Крабба; хотя большинство его стихотворений Скотт знал наизусть, казалось, что он слышит их впервые. Когда Локхарт дошел до строк об актерской братии, Скотт заметил, что Дэниела Терри эти строки задела бы за живое. «Закройте книгу, я больше не могу», — произнес он, думая, что стихотворение только что написано, а его друг Дэниел Терри все еще жив. Находясь в сознании, Скотт проявлял свойственное ему участие к страданиям других и расспрашивал Лейдло о местных бедняках, тяжело ли им живется и чем тут можно помочь. Чтобы поддержать дух Скотта, Лейдло напомнил ему его любимую поговорку: «Я и время любых двоих одолею». Скотт привстал, воскликнул: «Пустая похвальба!» и упал на подушки. Однажды, покатавшись по саду, он заснул, а проснувшись, попросил, чтобы его усадили за письменный стол. Ему в руку вложили перо, но пальцы не смогли его удержать, он заплакал и откинулся в кресле. Порой он проявлял беспокойство и суетливость, когда же Локхарт ему об этом сказал, ответил: «Отлежусь в могиле». По временам он впадал в крайнюю раздражительность и мнил себя судьей, который вершит суд и выносит приговор собственным дочерям;

здесь, конечно, сыграли роль смутные воспоминания о шекспировском Лире. Иногда же он приходил в такое сильное бешенство, что Анна и Софья боялись к нему приближаться.

К середине августа он уже почти не вставал с постели, и, хотя время от времени узнавал дочерей и Локхарта, мысли его блуждали неизвестно где. То он был шерифом и разбирал дела, то отдавал Тому Парди распоряжения касательно леса, то бормотал: «Вздернуть сэра Вальтера!», то наизусть декламировал отрывки из Книги Иова, псалмы, *Stabat Mater* и *Dies irae**.

21 сентября 1832 года, вскоре после полудня, великий дух Скотта покинул брентную плоть баронета.

Но гений Скотта так прочно запечатлен на родных местах, что и по сей день, стоит лишь напрячь воображение, и можно увидеть, как он вместе с Кемпом, Майдой и Томом Парди гоняет призрачных зайцев на поросших кустарником холмах между Тивиотом и Твидом.

* Книга Иова — часть Библии (Ветхий завет), повествующая о человеке, на которого были насланы всевозможные беды и злоключения; «Мать Скорбящая» и «День гнева» — католические молитвы (лат.).

Вальтер Скотт и Хескет Пирсон

Нет надобности объяснять русскому читателю, кто таков Вальтер Скотт: его знают буквально все, и едва ли найдется у нас грамотный человек, который в свое время не прочитал хотя бы одного романа этого классика англо-шотландской литературы. И предлагаемая книга дает довольно-таки основательное знакомство с автором бессмертных и давно полюбившихся книг — «Роб Роя», «Пуритан», «Айвенго», «Квентина Дорварда»...

Другое дело — Хескет Пирсон. К классикам мировой литературы он не принадлежит, и его имя куда менее известно в нашей стране; однако те, кто любит читать жизнеописания мастеров литературы и искусства, не могут его не знать, поскольку две принадлежащие его перу биографии — Диккенса и Шоу — выходили в переводе на русский язык*.

Хескет Пирсон (1887—1964) пришел в литературу из театра. Он выступал на сцене с 1911 по 1931 г., исключая период первой мировой войны, когда служил рядовым в английских частях на территории Месопотамии и Персии. С ремеслом актера он расстался, чтобы посвятить себя писанию биографий выдающихся деятелей английской культуры. (Этот особый жанр — художественное жизнеописание — отличающийся и от беллетризованной, и от сухой академической биографии, имеет в английской литературе давние и прочные корни.) Однако опыт актера во многом определил круг интересов Пирсона-биографа: он тяготел к героям, либо непосредственно связанным с театром, либо имевшим в своем характере отчетливо выраженную склонность к лицедейству. Недаром в числе его самых удачных жизнеописаний — биографии Шекспира (1942), Шоу (1942 и 1961), Оскара Уайльда (1946), Диккенса (1949), художника Уистлера (1952), великого остролова доктора Джонсона, писателя, сделавшего при участии своего биографа и близкого друга Босуэлла собственную жизнь ярчайшим литературным произведением (1958). Не исключено, что А. Конан Дойл (1943) привлек внимание Пирсона по той же причине, только «от противного» — как великий обманщик: ведь биография британского офицера и джентльмена, создателя знаменитого Шерлока Холмса, была столь же размеренной и обыкновенной, сколь захватывающим представляется существование его литературного детища. А остановить свой выбор на Вальтере Скотте биографу помимо всего прочего наверняка помог и высокий артистизм, с каким тот на протяжении доброй дюжины лет успешно внушал читающей публике, что не имеет никакого отношения к собственным романам, якобы написанным неким неизвестным лицом — «Великим Инкогнито».

Пирсон со знанием дела поведал историю этой долгой мистификации, но, видимо, одного этого было бы недостаточно, чтобы сделать написанную им биографию одним из лучших жизнеописаний Скотта на английском языке, а самого Пирсона — президентом Эдинбургского клуба Вальтера Скотта в 1959—1960 гг.

«Сэр Вальтер Скотт: жизнь и личность» — таково полное заглавие этой книги, автор которой обладал всем, что положено иметь хорошему биографу: глубоким знанием источников, свободой в обращении с материалом, объективностью вдумчивого хроникера, проникновением в характер своего героя, а главное — мотивированной концепцией становления и развития его личности. Кроме всего этого Пирсону было свойственно одно качество, которое он весьма ценил в Скотте, — чувство историзма, умение раскрыть прочные связи между историей страны, временем существования и характером человека. Скотт у Пирсона — лич-

* См.: Пирсон Хескет. Диккенс. М.: Мол. гвардия, 1963; Пирсон Хескет. Бернанд, Шоу. М.: Искусство, 1972.

ность в контексте времени, шотландский характер конца XVIII — первой трети XIX века, и под этим углом зрения становятся понятными и объяснимыми многие кажущиеся несообразности «жизни и личности» Скотта: сочетание консерватизма и демократизма, пережитков якобитства и личной дружбы с принцем-регентом (потом королем Георгом IV), пуританской религиозности и раблезианской раскованности, свободомыслия и верноподданничества.

Сложный и привлекательный облик Скотта вырастает у Пирсона из многочисленных исторических реалий и ассоциаций, ясных с полуслова, с намека любому грамотному жителю Британских островов, но далеко не всегда понятных русскому читателю, мало знакомому с историей Англии и Шотландии, которые некогда были двумя самостоятельными королевствами. Нелишне поэтому остановиться на некоторых моментах, определивших взгляды и мироощущение сэра Вальтера в том виде, в каком они отразились в его жизни и на страницах написанных им книг.

Все без исключения источники говорят нам о консервативных симпатиях Скотта. Вальтер Скотт был уроженцем Пограничного края, то есть графств, расположенных на юге Шотландии, близ границы с Англией, — в отличие от более изолированной и отдаленной от Англии Горной Шотландии. Влияние английского языка и культуры в Пограничном крае было довольно существенным, однако это никоим образом не повлияло на сформировавшееся в юности и ярко выраженное у Скотта чувство национальной гордости, шотландского патриотизма. Истинному же шотландцу, каковым полагал себя Скотт и каковым он был на самом деле, консерваторы-тори казались предпочтительней вигов, и вот почему.

Названия «тори» и «виги» вошли в употребление в самом начале 1680-х гг., но сами партии оформились раньше, сразу же после того, как в стране была реставрирована монархия, низвергнутая английской буржуазной революцией XVII века. Тори поддерживали королевскую власть почти безоговорочно, тогда как виги безоговорочно поддерживали парламент, выборное представительное учреждение, возникшее в Англии еще в XIII веке и чрезвычайно возвысившееся в годы революции. Впрочем, и те и другие хотели видеть страну конституционной монархией. Вопрос об отношении англичан и шотландцев к королевской власти очень сложен, и мы невольно его упрощаем, однако не будет ошибкой сказать, что с английскими королями династии Стюартов у Шотландии складывались более благоприятные отношения, чем с английской республикой при Кромвеле, тем более что Стюарты были шотландцами.

Шотландия теряет самостоятельность начиная с 1603 г., когда по завещанию королевы Елизаветы I, той самой, при которой жил и творил Шекспир и была казнена шотландская королева Мария Стюарт, на английский престол вступил сын Марии — Иаков VI Шотландский, ставший английским монархом под именем Иакова I. Таким образом, Англия и Шотландия оказались связаны и объединены личной унией. Но смертельный удар шотландской независимости был нанесен английской буржуазной революцией.

В 1648 г. шотландские войска, принявшие сторону Карла I против революционного парламента, вторглись на территорию Англии и были разбиты армией Кромвеля у Престона. В 1650 г. английское парламентское войско, дабы предупредить возможность сговора между сыном казненного к этому времени Карла I и шотландским парламентом, вторглось в Шотландию и разгромило шотландские части у Данбара. 12 апреля 1654 г. специальный ордонанс (указ) Кромвеля закрепил объединение Шотландии и Англии. Дальним следствием этого ордонанса явился принятый английским парламентом 6 марта 1707 г. «Акт об унии», по которому шотландский парламент упразднился и Шотландия окончательно присоединялась к Англии.

Другим основанием для Скотта поддерживать тори было то, что

тори, партия сквайров (мелких и средних землевладельцев), в 1760-х гг. несколько изменилась: к ней примкнула переметнувшаяся от вигов могущественная земельная аристократия. У вигов, таким образом, остались купцы, представители поднимающегося финансового капитала, промышленники и мелкая городская буржуазия. Для шотландца, который, по остроумному наблюдению Скотта, «не успеет вынырнуть из воды, как сразу же устремляет взоры к земле», понятие национальной гордости неотделимо от сознания своих «корней», врожденной любви и уважения к родной земле, как, впрочем, и для настоящего англичанина. В результате перебежки лендлордов от вигов к тори получилось так, что тори представляли собою как бы «земельную» партию и стали восприниматься как политическая сила более основательная, крепче «укоренившаяся» в родной почве, английской или шотландской, и, стало быть, более патриотическая. Именно этим, вероятно, и объясняется отношение Скотта к Биллю о реформе парламента, который был направлен на то, чтобы передать власть из рук земельной аристократии в руки осознавшей себя к этому времени как класс крупной промышленной и финансовой аристократии. Понятно, что виги были ревностными сторонниками этого билля.

«Он (Скотт. — В. С.) выступил против Билля о реформе 1832 года не потому, что, как думали труженики Джебурга, кричавшие: «Вздернуть сэра Вальтера!», реформа могла облегчить их положение, но потому, что она развязывала руки тем самым фабрикантам, которые несли ответственность за бедственное положение масс», — поясняет автор новейшей фундаментальной английской биографии Скотта Эдгар Джонсон*. Эта точка зрения небезосновательна, и можно рассматривать вслед за Джонсоном позицию Скотта в вопросе о реформе парламента как критику «справа» рвущейся к власти буржуазии. Однако, думается, скорее прав Пирсон, который видит в упрямом нежелании Скотта поддержать реформу проявление политического здравомыслия: раз уж Скотт понимал, что эта реформа суть не что иное, как перераспределение политической власти между правящими классами, к числу которых английских трудящихся отнести было никак невозможно, то помешать такому перераспределению, которое явно шло во вред тори, было естественным для Скотта стремлением.

Наконец, торийские симпатии Скотта питало и то немаловажное для шотландца обстоятельство, что тори традиционно «грешили» якобитством, то есть приверженностью королевской династии Стюартов, низложенной в ходе буржуазной революции.

В 1715 г. при вступлении на престол Георга I, а вместе с ним и новой, Ганноверской династии в Шотландии произошло первое крупное восстание якобитов в поддержку притязаний сына Иакова II, тоже Иакова, на английский трон. Претендент, как называли его официальные власти, и его шотландские части потерпели поражение, и якобитство прекратило свое существование как реальная политическая сила. Однако, когда в 1745 г. внук Иакова II Чарлз Эдвард Стюарт, «молодой Претендент» (в отличие от отца, «старого Претендента»), высадился в Шотландии, шотландцы вновь оказали поддержку дому Стюартов. Принц Чарлз и его горцы сперва даже одержали у местечка Престонпанс победу над королевскими войсками под командованием сэра Джона Коупа, но вскоре были разгромлены регулярными частями в битве у Куллодена. После этого якобитство утратило какое бы то ни было значение во всех областях, кроме чисто эмоциональной. Однако и полвека спустя Скотт не делал секрета из того, что в якобитских восстаниях 1715 и 1745 гг. он принял бы сторону Претендентов.

* Johnson, Edgar. Sir Walter Scott: The Great Unknown. Lnd.: H. Hamilton, 1970, v. II, p. 1253.

Таким образом, можно заключить, что консерватизм Скотта возник не на пустом месте и не является, как представляется Пирсону, следствием внушенных будущему писателю в детстве и юности взглядов. Взгляды, вероятно, внушались, но для того, чтобы они смогли овладеть таким самостоятельным в своих суждениях юношей, каким был Скотт, и остаться с ним до самой смерти, одного внушения, видимо, было мало и требовалась более основательная почва.

Консервативные стороны мировоззрения Скотта, как в полном соответствии с истиной показывает Пирсон, проявлялись на различных этапах его жизненного пути с разной степенью интенсивности. Они особенно усилились после завершения наполеоновских войн, в эту, по определению, данному К.Марксом в работе «Лорд Пальмерстон. Статья первая», «...самую позорную и реакционную эпоху английской истории»*. На эти годы приходится, кстати, самая, пожалуй, малопривлекательная страница биографии сэра Вальтера — совместно с несколькими приятелями он организовал добровольческий отряд легких стрелков с целью подавления возможных выступлений ткачей и горняков за свои права. К счастью для Скотта, выступления эти так и не состоялись...

В книге Пирсона нет развернутой социальной панорамы эпохи, хотя есть картина разгула литературных страстей (в связи со скандальными публикациями на страницах ряда литературных журналов, в первую очередь «Журнала Блэквуда») и страстей политических (вражда между тори и вигами и борьба вокруг Билля о реформе парламента). Однако получить представление о расстановке классовых сил в британском обществе той поры даже по тем данным, что сообщает биограф исключительно в связи с обстоятельствами жизни и творчества Скотта, можно, и это — достоинство, отличающее его книгу от многих литературных биографий, и не только английских. Говоря о достоинствах, нельзя не упомянуть и о стремлении Пирсона к объективности. При том, что отношение автора к своему герою явно пристрастно, Пирсон любит Скотта и преклоняется перед силой его личности — жизненный и творческий путь сэра Вальтера биографом отнюдь не выпрямлен, углы не сглажены, противоречия не обойдены. Подлинно великий человек остается великим при всех своих слабостях, а Скотт был человеком великим. Фигура умолчания тут, кроме тех случаев, когда она продиктована соображениями этики, едва ли уместна: она не плодотворна для серьезного и толково составленного жизнеописания. Видимо, Пирсон исходил из этого принципа, а поскольку в герои своих книг он, как правило, выбирал людей, безусловно, выдающихся, то и большинство написанных им биографий отмечены этой объективностью. Хочется подчеркнуть: объективностью, а не объективизмом — ведь своего личного отношения к герою Пирсон вовсе не скрывает. Местами он даже излишне эмоционален, и Скотт в его оценке выступает слишком уж непревзойденной по всем статьям натурой.

Ясно, конечно, что Скотт не нуждается в дополнительном возвеличении и чрезмерных восторгах — он достаточно велик сам по себе, и приводимые Пирсоном факты говорят об этом более чем красноречиво. Тем более огорчительно, когда Пирсон как бы забывает о фактах и отходит от объективности в изображении некоторых второстепенных персонажей биографии. Скажем, герцог Веллингтон, действительно гениальный полководец и патриот, однако далеко не прогрессивный деятель торийского кабинета министров, в обрисовке Пирсона не лишен хрестоматийного глянца. С другой стороны, один из крупнейших поэтов английского, да и всего европейского романтизма, С. Т. Колридж, выведен на страницах книги в подчеркнуто приземленных обстоятельствах, даже комичных, что скрадывает истинные масштабы его дарования и его значе-

* Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд., т. 9, с. 363.

ние в истории литературы. Едва ли справедлив Пирсон и по отношению к многолетнему другу Скотта Джоанне Бейли. Если сам Скотт был чрезмерно высокого мнения о достоинствах ее стихотворных трагедий, то его биограф, напротив, дает им неоправданно уничижительную оценку. Время же показало, что Джоанна Бейли, разработавшая жанр романтической трагедии в стихах, заняла в истории литературы хотя и скромное, но определенное место. Не повезло у Пирсона и Джеймсу Хоггу: этот «чудак» и заблудыга на самом деле был значительным шотландским поэтом, чего из книги никак не следует.

В ряде случаев занижение оценок происходит у Пирсона, вероятно, помимо воли автора. «Светильники горят ярче, когда стоят далеко один от другого, — замечал Скотт, — поставьте их рядышком — и каждый в отдельности померкнет в сиянии соседних». Скотт был не светильником — светилом первой величины, и его сияние, понятно, поубавило блеска менее крупным дарованиям. Однако в других случаях характеристики, которые дает Пирсон, обнаруживают свойственный этому биографу консерватизм. Так, например, происходит с уже упомянутым портретом герцога Веллингтона. Так происходит тогда, когда биограф, с диккенсовским презрением* живописуя политическую свистопляску вокруг Биля о реформе, выносит за одни скобки («толпа») и трудящихся, искренне веривших, что принятие билля принесет им облегчение, и политических махинаторов-вигов, сыгравших на этой вере в своих собственных целях. Так происходит и с Робертом Бёрнсом, революционные взгляды которого, по выражению Пирсона, «остерегли» Скотта «от хмельного санкюлотства посетителей дамфриской таверны».

Оставив знак равенства между революционным мировоззрением поэта и «хмельным санкюлотством» на совести Пирсона и не оспаривая того, что Бёрнс, возможно, и делился кое-какими мыслями со своими земляками, жителями городка Дамфриза, за кружкой эля, отметим все же: прямых указаний на то, что именно революционные взгляды Бёрнса так-таки и отпугнули от него Скотта, нет. Скорее уж их не свела судьба, которая свела Скотта с Байроном — несмотря на бунтарский дух, революционность и антимоноархизм последнего, почему-то не «остерегли» Скотта от общения с ним. Скотт (и основания считать именно так дает сам Пирсон) вообще был не из той породы людей, кого что-то от кого-то могло «остеречь»; он был человек смелый.

Независимость, духовное мужество и достоинство таланта Скотта очевиднейшим образом проявились в его демократизме, которым восхищался еще Пушкин: «Шекспир, Гёте, Вальтер Скотт не имеют холопского пристрастия к королям и героям»**. Те же качества лежат и в основе исключительной скромности Скотта-писателя, позволявшей ему от чистого сердца восхищаться достижениями классиков и современников и ни во что не ставить собственные сочинения. Приводя самооценки Скотта, биограф, естественно, обязан внести в них необходимые коррективы, и Пирсон блестяще справляется с этой задачей.

Умение свободно, живо и ненавязчиво оперировать эстетическим материалом можно отнести к характерным особенностям Пирсона-биографа. Критические суждения об отдельных произведениях Скотта, расплывчатые на страницах книги, органически входят в повествование и, за одним исключением, точны и доказательны при всей их лапидарности. Исключение представляет оценка романа «Айвенго», который Пирсон

* См. главу XIII «Посмертных записок Пиквикского клуба»: «Некоторые сведения об Интесуилле: о его политических партиях и о выборе члена, должностящего представителя в парламенте этот древний, верноподданный и патриотический город».

** Пушкин А. С. Полн. собр. соч. В 10-ти т. М.; Л., Изд-во АН СССР, 1949, т. 7, с. 535.

относит к числу самых неудачных произведений Скотта. Суровое это суждение столь немотивировано, что, собственно, и спорить тут не о чем. Читавшие этот роман прекрасно знают, что в «Айвенго» есть и увлекательная фабула, и выразительно переданные приметы исторического времени и быта, и сугубо скоттовские характеры — свинопас Гурт и шут Вамба. Лучше всего опровергает Пирсона то, что вопреки его утверждению роман этот и по сей день пользуется у читателей неизменной любовью.

Нельзя не поставить в заслугу Пирсону его стремления определить место и значение всего творчества Скотта в общем литературном контексте эпохи. Говоря о поэтическом наследии Скотта, Пирсон не допускает ни малейшей переоценки, чего, впрочем, не допускал и сам сэр Вальтер, понимавший, что как поэт он, конечно, уступает и Бёрнсу, и Колриджу, и Байрону. Но в свое время слава шотландского барда гремела по всей Великобритании; наряду с Блейком, Вордсвортом и Колриджем Скотт стоял у истоков английской романтической поэзии, а это одна из интереснейших страниц истории английской литературы XIX века. В книге Пирсона приводятся любопытные факты, бросающие свет на характер личных отношений между английскими поэтами-романтиками, а отношения эти были до чрезвычайности запутанными. Не менее интересно и то, что сообщает биограф о методах и побудительных мотивах полемики в литературных журналах тех лет, которая в основном диктовалась внелитературными соображениями, а именно: критики-виги поносили поэтов и прозаиков-тори, а критики-тори ругали писателей-вигов. Естественно, при таком подходе исключалась сама возможность объективного суждения о достоинствах и недостатках художественного произведения. Мы хотели бы привлечь внимание читателя к этим страницам книги Пирсона не только потому, что они позволяют ощутить дух времени, но и потому, что изложенные на этих страницах и строго документированные автором данные никак не сопягаются с бытовавшей у нас вульгарной концепцией, сводившей все богатство и многообразие английской романтической поэзии конца XVIII — начала XIX века к примитивно трактуемой борьбе между так называемым реакционным и так называемым революционным романтизмом*. Факты показывают, что были разные поэты: разные по масштабам дарования, по темпераменту, по политическим взглядам, по эстетическим установкам. И были между этими поэтами соперничество, обиды, дружба, подозрительность, а то и прямая профессиональная зависть к более талантливым и удачливым собратьям по поэтическому цеху. Помимо всего этого была литературная склока на почве соперничества между тори и вигами, и здесь никого не интересовали ни эстетические установки, ни даже политические взгляды, а лишь номинальная принадлежность к одной из враждующих партий. Во всем этом кипении страстей требовалась феноменальная доброжелательность и кротость Скотта, чтобы одинаково ладить со всеми — от Байрона до Саути. Много было в английской литературе той примечательной эпохи, а вот чего не было — так это двух противостоящих романтизмов и борьбы между ними.

Если поэзия Скотта принадлежит романтизму, то его проза — качественно новое явление в европейской литературе той эпохи: исторический роман Скотта положил начало великому европейскому роману

* См.: История английской литературы. М.: Изд-во АН СССР, 1953, т. 2, вып. 1. Эта концепция, затормозившая критическое освоение и издание в Советском Союзе наследия таких выдающихся поэтов, как Китс, Вордсворт и Колридж, в настоящее время принципиально пересмотрена советским литературоведением. См., например: Елистратова А. А. Наследие английского романтизма и современность. М.: Изд-во АН СССР, 1960; Урнов Д. Живое пламя слов. — В кн.: Поэзия английского романтизма XIX века. М.: Худож. лит., 1975.

критического реализма. Пирсон, не будучи литературоведом и избегая литературоведческой терминологии, говорит, однако, о том воздействии, которое оказало творчество Скотта-прозаика на современников, и о том, что в своих лучших и наиболее исторических романах Скотт перерос романтизм: «Характеры и исторический фон его лучших книг — до этого не дотянулся ни один романтик». И не мог бы дотянуться, добавим мы, по той простой причине, что этот фон и эти характеры были созданы не романтиком, но реалистом.

Отдавая должное наблюдательности Пирсона-критика, не будем все же забывать о том, что его книга не критическая монография, а биография, причем ярко и увлекательно написанная и опирающаяся на большое количество источников. Источники же эти далеко не всегда говорят одно и то же, а нередко и прямо противоречат друг другу. Пирсон со свойственной ему методичностью и уважением к фактической стороне событий проделал огромную работу по сопоставлению и сверке материала. Сличение написанной им биографии с более поздним научным жизнеописанием Скотта, принадлежащим Эдгару Джонсону, показывает, что, за исключением незначительных расхождений в датировке, Пирсон допустил всего одну серьезную неточность: отнес тяжелое заболевание, пережитое Скоттом в ранней юности (кровоизлияние в область толстого кишечника), к 1784 г., когда Вальтер начал занятия в Эдинбургском городском колледже, вместо 1787 г., когда он приступил к обучению в отцовской конторе*.

Подчеркнем, однако, еще раз, что книга Хескета Пирсона не претендует на академичность, как не претендует на нее любая из созданных им биографий, в чем, на наш взгляд, заключается их особая прелесть. Автор стремился показать в полном смысле этого слова замечательного человека, что ему удалось, и в этом легко может убедиться русский читатель книги Пирсона.

Великого писателя и впечатляющую, интереснейшую и благородную натуру обрисовал нам биограф. Скотт не только оставил человечеству прекрасные книги. Согласно мудрости многих народов мужчине, чтобы исполнить свое предназначение в мире, надлежит выстроить дом, взрастить дерево и породить сына. Во всем этом, как видит читатель, Скотт щедро преуспел.

В. Скороденко

* См.: Johnson, Edgar. Op. cit., v. I, p. 64—65.

Именной комментарий*

Бедекер Карл (1801—1859) — немецкий книготорговец и издатель, составитель путеводителей по странам и городам мира и основатель издательства (1847), такие путеводители выпускавшего. Его имя стало нарицательным для обозначения популярных путеводителей — «бедекеров».

Бейли Джоанна (1762—1851) — шотландская поэтесса; писала лирические стихотворения и драмы в стихах, занималась обработкой народных песен.

Бергойн Джон (1722—1792) — английский генерал; командовал британскими частями во время Войны за независимость североамериканских колоний Англии.

Бёрни Фанни (по мужу д'Арбле, 1752—1840) — английская писательница, автор психологических романов из светской жизни.

Блюхер Гебхард Леберехт (1742—1819) — прусский фельдмаршал; был главнокомандующим прусско-саксонской армии, прибытие которой на поле боя в битве при Ватерлоо решило исход сражения.

Бомонт Фрэнсис (ок. 1584—1616) и Флетчер Джон (1579—1625) — английские драматурги, часто писали в соавторстве; им принадлежат комедии, трагикомедии и так называемые кровавые трагедии — драмы с запутанной интригой, в которых правит рок, а героев ждет жестокая и зачастую бессмысленная гибель.

Босуэлл — см. Джонсон С.

Брэкенридж (Брекенридж) Хью Генри (1748—1816) — американский прозаик и поэт, сын шотландского фермера-эмигранта, автор первого реалистического романа в американской литературе «Приключения капитана Фарриго...» (1792—1805).

Бюргер Готфрид Август (1747—1794) — немецкий поэт-романтик, создатель нового для немецкой литературы жанра серьезной баллады («Ленора», 1773 и др.).

Верто Рене-Обер де (1655—1735) — французский историк, аббат. «История рыцарского ордена на Мальте» была им написана в 1726 г.

Вилсон (Вильсон, Уилсон) Джон (1785—1854) — английский писатель и литературный критик; писал под псевдонимом Кристофер Норт. Известная драматическая поэма Вилсона «Город чумы» (1816) послужила источником для маленькой трагедии Пушкина «Пир во время чумы».

Вордсворт Вильям (1770—1850) — английский поэт, классик литературы XIX века, один из лучших лириков в истории английской поэзии. В 1798 г. совместно с Колриджем издал сборник «Лирические баллады»; предисловие ко второму изданию «Баллад» (1800) стало первым литературным манифестом английского романтизма.

Гаррик Дэвид (1717—1779) — английский актер, драматург, театральный деятель, популяризатор творчества Шекспира; руководил лондонским театром «Друри-Лейн»; прославился исполнением трагических ролей.

* Сведения о некоторых исторических событиях и деятелях см. в послесловии.

Георг III — см. Георг IV.

Георг IV (1762—1830) — король Великобритании (1820—1830). Будучи принцем Уэльским, в 1811 г. стал регентом при своем отце короле Георге III (1738—1820), который был признан невменяемым и отстранен от власти.

Годвин Вильям (1756—1836) — английский писатель и философ, представитель утопического социализма; автор знаменитого социально-психологического романа «Калед Вильямс» (1794).

Голдсмит Оливер (1728—1774) — английский писатель и эссеист, певец патриархальной сельской Англии. Наиболее известные произведения Голдсмита — поэма «Покинутая деревня» (1770) и роман «Векфильдский священник» (1776).

Дарвин Эразм (1731—1802) — английский натуралист и поэт, автор «естественнонаучных» стихотворений; дед Чарлза Дарвина.

Джонсон Бенджамин, или Бен (1573—1637) — английский драматург, создатель жанра бытовой сатирической комедии: «Вольпоне» (1605), «Варфоломеевская ярмарка» (1614) и др.

Джонсон Сэмюел (доктор Джонсон; 1709—1784) — английский поэт-сатирик, лексикограф; автор знаменитого труда «Жизнеописания наиболее выдающихся английских поэтов» (1779—1789) и составитель первого толкового словаря английского языка (1755). Наследие Джонсона, а также его оригинальные суждения, собранные его другом Джеймсом Босуэллом и опубликованные последним на страницах фундаментального жизнеописания Джонсона (1792), оказали существенное влияние на последующую английскую литературу.

Дизраэли Айзек (1766—1848) — английский писатель и критик, известный в истории литературы более своими статьями, нежели романами.

Дизраэли Бенджамин (1804—1881) — сын Айзека Дизраэли, писатель и политический деятель, премьер-министр Великобритании в 1868 и 1874—1880 гг.; автор социальных романов «Конингсби» (1844) и «Сибилла, или Две нации» (1845).

Драйден Джон (1631—1700) — английский поэт, драматург, эссеист, один из основоположников английского классицизма.

Ирвинг Вашингтон (Уошингтон; 1783—1859) — американский писатель, романтик и сатирик, основоположник жанра классической американской новеллы — сборники «Рассказы путешественника» (1824), «Альгамбра» (1832) и др.

Ирвинг Дэвид (1778—1860) — шотландский биограф и критик, автор «Жизнеописания шотландских поэтов» (1804), «Истории шотландской поэзии» (1861) и других работ.

Каннинг Джордж (1770—1827) — английский государственный и политический деятель-тори, с 1822 г. — министр иностранных дел; пользовался в стране большим влиянием, чем премьер-министр.

Карлейль Томас (1795—1881) — английский историк, писатель и философ; автор знаменитой «Истории французской революции» (1837), публицистической книги «Чартизм» (1840), сатирического трактата «Перекроенный портной» (1833—1834) и других произведений.

Кембл Джон Филип (1757—1823) — английский актер и драматург, знаменитый исполнитель ролей шекспировских персонажей.

Кин Эдмунд (1787—1833) — английский актер романтического плана, создатель ярких сценических трактовок образов в пьесах Шекспира.

Китс Джон (1795—1821) — английский поэт-романтик, классик литературы XIX века. Существует мнение, что травля Кита на страницах «Журнала Блэквуда» приблизила раннюю смерть поэта.

Коллинз Вильям (Уильям) Уилки (1824—1889) — английский писатель, автор остросюжетных романов «Женщина в белом» (1860), «Лунный камень» (1868) и др. Наряду с американским писателем Эдгаром По стоит у истоков детективной прозы в европейской и американской литературах.

Колридж (Кольридж) Сэмюел Тейлор (1772—1834) — английский поэт-романтик, классик литературы XIX века, автор фантастических поэм «Сказание о старом мореходе» (1798), «Кубла-Хан» (1798), «Кристалл» (1816) и др. Известен также как влиятельный критик.

Крабб (Крэбб) Джордж (1754—1834) — английский поэт, описывавший повседневную жизнь обитателей провинциальной Англии.

Кромвель Оливер (1599—1658) — деятель английской буржуазной революции XVII века, вождь индепендентов — политической партии, выражавшей интересы радикального крыла буржуазии. Выдающийся военачальник и лорд-протектор Англии в 1653—1658 гг. Кромвель после казни короля Карла I взял на себя всю полноту государственной власти и ответственности за судьбу страны.

Кэмпбелл Томас (1777—1844) — английский поэт и литературный критик, один из основателей Лондонского университета.

Кэстлери (Каслри) Роберт Стюарт (1769—1822) — английский государственный деятель-тори, в 1812—1822 гг. — министр иностранных дел. Политика Кэстлери была направлена на подавление революционных и национально-освободительных движений, преследовала цели укрепления в Европе феодально-абсолютистских режимов.

Ландсьер сэр Эдвин Генри (1802—1873) — английский художник, известный в первую очередь как анималист.

Лесли Чарлз Роберт (1794—1859) — англо-американский художник, прославившийся портретами писателей и иллюстрациями к литературным произведениям.

Лоуренс (Лоренс) Томас (1769—1830) — английский художник-самоучка, мастер портрета.

Льюис Мэтью Грегори (1775—1818) — английский прозаик и поэт, автор знаменитого романа «тайн и ужасов» «Монах» (1796).

Мак-Адам Джон (1756—1836) — шотландский инженер-строитель, разработавший технологию мощения дорог дробленным камнем.

Маккензи (Макензи) Генри (1745—1831) — шотландский писатель и критик, автор сентиментальных романов.

Маклиз Дэниел (1806—1870) — английский художник и график. Фрески Маклиза относятся к крупнейшим достижениям английской исторической живописи.

Маколей Томас Бабингтон (1800—1859) — английский историк и критик литературы, один из властителей умов Англии XIX века; автор

фундаментального труда «История Англии от восшествия на престол Иакова II» (1849—1861).

Метьюрин Чарлз Роберт (1782—1824) — английский писатель, автор авантюрно-фантастических романов, из которых в историю литературы вошел «Мельмот-скиталец» (1820), высоко оцененный А. С. Пушкиным.

Мур Томас (1779—1852) — ирландский поэт, автор знаменитого цикла «Ирландские мелодии» (несколько сборников, 1807—1834) и романтической поэмы «Лалла Рук» (1817). Перевод И. Козлова из Мура — «Вечерний звон» — получил в России всенародную известность.

Мэссинджер Филип (1583—1640) — английский драматург, автор комедий характеров.

Мэтьюз Чарлз (1776—1835) — английский, актер, прославившийся даром перевоплощения.

Мюррей (Мерри) Джон (1778—1843) — английский издатель, основатель знаменитой издательской фирмы.

Норткот Джеймс (1746—1831) — английский художник-портретист и автор картин на исторические сюжеты.

Остин Джейн (1775—1817) — английская писательница, классик литературы, автор тонких психологических романов, раскрывающих нравы и образ жизни преимущественно сельской и провинциальной Англии.

Пай Генри Джеймс (1745—1813) — английский поэт, эссеист и драматург; с 1790 г. занимал должность поэта-лауреата. Стихотворения Пая — образец поэтической посредственности.

Перси Томас, епископ Дроморский (1729—1811) — английский фольклорист; составил и подготовил к печати антологию «Наследие древней английской поэзии» (1765).

Пиль Роберт (1788—1850) — английский государственный деятель, в 1821—1830 гг. министр внутренних дел, в 1834—1835 и 1841—1846 гг. — премьер-министр Великобритании. В апреле 1829 г. Пиль провел через парламент билль, по которому католики получали пассивное избирательное право.

Пипс Сэмюел (1633—1703) — английский мемуарист, автор десяти томного «Дневника», блестяще воссоздающего быт и нравы Англии после реставрации монархий в 1660 г.

Питт Вильям (Младший) (1759—1806) — английский государственный деятель, в 1783—1801 и 1804—1806 гг. — премьер-министр Великобритании. Борьбу с революционной и наполеоновской Францией считал главным делом жизни.

Поп (Поуп) Александр (1688—1744) — английский поэт, автор сатир, элегий и философских поэм; перевел на английский язык «Илиаду» и «Одиссею» Гомера.

Рамзей Алан (1686—1758) — шотландский поэт, собиратель и издатель поэтического фольклора Шотландии.

Ричардсон Сэмюел (1689—1761) — английский писатель, классик литературы, автор знаменитых назидательных романов в письмах «Памела» (1740), «Кларисса» (1747—1748), «Грандисон» (1754).

Роджерс Сэмюел (1763—1855) — английский поэт, автор стихотворений и поэм, выдержанных в традициях классицизма.

Саути Роберт (1774—1843) — английский поэт-романтик; писал в различных жанрах — лирические стихотворения, поэмы, драмы, баллады. Наследие Саути далеко не равноценно в идейно-художественном отношении. Широкую известность в России получили переведенные В. А. Жуковским баллады Саути «Суд божий над епископом», «Доника» и др.

Сиддонс Сара (урожденная Кембл; 1775—1831) — английская трагическая актриса; прославилась игрой в спектаклях по пьесам Шекспира, особенно исполнением роли леди Макбет.

Спенсер Эдмунд (1552—1599) — английский поэт, автор пасторальных сатирических и любовных стихотворений и монументальной аллегорической поэмы «Королева фей» (1590—1596); существенно обогатил английское стихосложение.

Теннисон Альфред (1809—1892) — английский поэт; с 1850 г. поэт-лауреат. Крупнейшее произведение Теннисона — цикл поэм «Королевские идиллии» (опубликованы в 1859 г.), основанный на легендах о короле Артуре и его дворе.

Терри Дэниел (1780?—1829) — английский актер широкого амплуа и драматург; основал в Лондоне театр «Адельфи».

Тёрнер Джозеф (1775—1851) — английский художник романтического плана, преимущественно пейзажист. Мастер редких цветовых эффектов и колорита. Тёрнер во многом предвосхитил французских импрессионистов. Работал также как иллюстратор и гравер.

Уилки сэр Дэвид (1785—1841) — шотландский художник, крупнейший мастер шотландской жанровой живописи; выступал также как портретист и автор полотен на исторические сюжеты.

Флетчер — см. Бомонт Ф.

Фокс Чарлз Джеймс (1749—1806) — английский политический деятель, лидер радикального крыла партии вигов; был сторонником предоставления независимости североамериканским колониям Англии.

Хант Ли Джеймс Генри (1784—1859) — английский публицист, поэт и драматург романтического направления, друг Байрона и Шелли.

Хейдон Бенджамин Роберт (1776—1846) — английский художник и теоретик живописи; нищетой был доведен до самоубийства.

Хейли Вильям (1745—1820) — английский поэт и эссеист, автор известного жизнеописания Джона Мильтона (1794).

Хогг Джеймс (1770—1835) — шотландский поэт, автор сборников «Шотландские пасторали» (1801), «Горный певец» (1807), «Пробуждение королевы» (1813) и др.

Хук Теодор Эдвард (1788—1841) — английский писатель, автор нравоописательных семейных и «светских» романов.

Хэзлитт Вильям (1778—1830) — английский критик и публицист, теоретик романтизма; автор сборников эссеистики «Круглый стол» (со-

вместно с Ли Хантом, 1817), «Политические опыты» (1819), «Застольные беседы» (1821—1822) и др.

Чантри Фрэнсис Лигат (1781—1841) — английский скульптор, создатель статуй лорда Мелвилла, Веллингтона, Вашингтона, Георга IV и др.

Шеридан Ричард Бринсли (1751—1816) — англо-ирландский драматург, руководитель знаменитого лондонского театра «Друри-Лейн», автор комедий «Соперники» (1775), «Школа злословия» (1777) и др.

Шопенгауэр Артур (1778—1860) — немецкий философ-идеалист, идеолог крайнего социально-биологического пессимизма, теоретик искусства; крупнейшее сочинение — «Мир как воля и представление» (1819—1822).

Эверетт Эдвард (1794—1865) — государственный и политический деятель США, ученый и знаменитый оратор; биограф Вашингтона.

Эджуорт Мария (1767—1849) — ирландская писательница, автор романов, воссоздающих ирландский характер во всем комплексе семейных и социальных отношений, — «Замок Рэкрен» (1800) и др.

Эйнсуорт Вильям Харрисон (1805—1882) — английский писатель, автор остросюжетных исторических и так называемых ньюгейтских (по названию лондонской уголовной тюрьмы Ньюгейт) романов, рисующих романтические образы «благородных преступников», — «Руквуд» (1834), «Джек Шеппарт» (1839) и др.

Сочинения Вальтера Скотта и основная литература о нем

Скотт Вальтер. Собр. соч. В 20-ти т. М.; Л.: Гослитиздат, 1960—1965. Содержание томов: 1. Уэверли, или Шестьдесят лет назад; 2. Гай Мэннеринг, или Астролог; 3. Антикварий; 4. Черный карлик. Пуритане; 5. Роб Рой; 6. Эдинбургская темница; 7. Ламмермурская невеста. Легенда о Монтрозе; 8. Айвенго; 9. Монастырь; 10. Аббат; 11. Кенилворт; 12. Пират; 13. Приключения Найджела; 14. Певерил Пик; 15. Квентин Дорвард; 16. Сент-Ронанские воды; 17. Вудсток, или Кавалер; 18. Пертская красавица. Вдова горца. Два гуртовщика. Зеркало тетушки Маргарет. Комната с гобеленами; 19. Талисман. Стихотворения и поэмы; 20. Граф Роберт Парижский. Статьи и дневники.

Издание осуществлено под общей редакцией Б. Г. Реизова, Р. М. Самарина и Б. Б. Томашевского.

Елистратова А. А. Скотт. — В кн.: История английской литературы. М.: Изд-во АН СССР, 1953, т. 2, вып. 1, с. 153—198.

Левидова И. М. Вальтер Скотт. Библиографический указатель. М.: Изд-во Всесоюзной книжной палаты, 1958. 81 с.

Орлов С. А. Исторический роман Вальтера Скотта. Горький: Изд-во Горьковского гос. ун-та, 1960. 478 с.

Реизов Б. Г. Творчество Вальтера Скотта. М.; Л.: Худож. лит., 1965. 496 с.

Эйшишкина Н. М. Вальтер Скотт. М.: Детгиз, 1959. 100 с.

Оглавление

Глава 1. Овеяно славой	5
Глава 2. Оттенки тюремной жизни	13
Глава 3. Любовь, закон и стихи	22
Глава 4. О делах бранных и брачных	35
Глава 5. Чудаки	41
Глава 6. Первый бестселлер	49
Глава 7. Тревоги и поездки	55
Глава 8. Дела человеческие	63
Глава 9. «Лев» с берегов Твида	71
Глава 10. На мели и под парусом	77
Глава 11. Прекрасный человек по Байрону	85
Глава 12. Второй бестселлер	93
Глава 13. Уязвленный «лев»	106
Глава 14. В заколдованном замке	112
Глава 15. Отпрыски	123
Глава 16. В честь короля	136
Глава 17. Ширра	146
Глава 18. Женщины и дети не допускаются	153
Глава 19. Философ	159
Глава 20. Катастрофа	169
Глава 21. В поисках правды	182
Глава 22. Третий бестселлер	189
Глава 23. Orus Magnum	197
Глава 24. Последний удар	208
Глава 25. Прощальное путешествие	218
В. Скороденко. Вальтер Скотт и Хескет Пирсон	226
Именной комментарий	233
Сочинения Вальтера Скотта и основная литература о нем	238

Пирсон Хескет
П 33 Вальтер Скотт / Пер. с англ., послесл. и коммент.
В. Скороденко.—М.: Книга, 1983.— 240 с., ил.

Художественная биография классика английской литературы, «отца европейского романа» Вальтера Скотта принадлежит перу известного британского мемуариста и биографа Хескета Пирсона. В книге подробно освещен жизненный путь писателя, дан глубокий психологический портрет Скотта, раскрыты его многообразные творческие связи с родной Шотландией.

П $\frac{4703000000-011}{002(01)-83}$ 71-83

84(4Вл)

Пирсон Хескет
ВАЛЬТЕР СКОТТ

ИБ № 1131

Зав. редакцией Т. В. Громова
Редактор Э. Б. Кузьмина
Художник А. Г. Антонов
Художественный редактор Н. Е. Бочарова
Технический редактор Г. Е. Петровская
Корректор Т. Я. Бисерова

Сдано в набор 6.08.82. Подписано в печать 2.12.82. Формат 84×108 $\frac{1}{32}$.
Бум. тип. № 2. Гарнитура Таймс. Офсетная печать. Усл. печ. л. 12,60.
Усл. кр.-отт. 25,41. Уч.-изд. л. 17,65. Тираж 200 000 экз. Заказ № 1370.
Изд. № 3493. Цена 1 р. 80 к.

Издательство «Книга», 103009, Москва, ул. Неждановой, 8/10.
Ярославский полиграфкомбинат Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли, 150014, Ярославль, ул. Свободы, 97.

